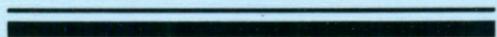


ГРАНИ

GRANI

186

1998



«ГРАНИ»

Ежеквартальный журнал литературы, искусства, науки и общественной жизни. Проза, поэзия, очерки современности, религия, философия, публицистика, литературная критика и пр.

Журнал считает своим долгом способствовать развитию свободной мысли, свободного слова, свободного творчества; почти полвека журнал способствовал публикации произведений, которые не могли быть изданы на родине из-за цензурных или политических ограничений. Из широко известных авторов в «Гранях» были опубликованы произведения:

А. Ахматовой, Д. Андреева, Л. Бородина,
М. Булгакова, И. Бунина, Г. Владимова,
В. Войновича, А. Галича, З. Гиппиус,
В. Гроссмана, Ю. Домбровского,
Н. Заболоцкого, Б. Зайцева, Е. Замятина,
Н. Коржавина, В. Корнилова, А. Куприна,
С. Левицкого, Н. Лосского,
В. Максимова, О. Мандельштама,
В. Набокова, В. Некрасова, Б. Окуджавы,
Б. Пастернака, К. Паустовского,
Р. Редлиха, А. Ремизова, Ф. Светова,
А. Солженицына, В. Солоухина, В. Тарсиса,
М. Цветаевой, И. Шмелева, В. Шульгина

и многих др. отечественных и эмигрантских авторов

* * *

И в новых условиях уже в самой России журнал будет следовать прежним принципам, в первую очередь способствуя публикации произведений, помогающих освобождению от остатков тоталитаризма в душах людей и восстановлению прерванных им традиций российской культуры.



Журнал основан в 1946 году
Основатель журнала Е.Р. Романов
Редактировали:
1946 Е.Р. Романов, С.С. Максимов,
Б.В. Серафимов
1947 – 1952 Е.Р. Романов
1952 – 1955 Л.Д. Ржевский
1955 – 1961 Е.Р. Романов
1962 – 1982 Н.Б. Тарасова
1982 – 1983 Р.Н. Редлих, Н. Рутыч
1984 – 1986 Г.Н. Владимов
1986 – 1995 Е.А. Самсонова-Брейтбарт

Номер издан при поддержке Русского исследовательского
Фонда (RRF) в США

Главный редактор
Татьяна Жилкина

Редакционная коллегия:
**Сергей Николаев, Борис Пушкарев,
Юлий Рыбаков, Екатерина Самсонова-Брейтбарт,
Валентина Синкевич.**

Г Р А Н И

ЖУРНАЛ ЛИТЕРАТУРЫ, ИСКУССТВА, НАУКИ
И ОБЩЕСТВЕННОЙ МЫСЛИ

Год LIII

№ 186

1998

СОДЕРЖАНИЕ

О русских шахтерах и о нашем миролюбии 6

ПУБЛИЦИСТИКА. ПУТИ РОССИИ

Андрей НУЙКИН. Россия и Запад: от “призрака коммунизма”
к миру демократии. (окончание) 8

ПИСАТЕЛЬ И ВРЕМЯ

Геннадий КАГАНОВСКИЙ. “Я найду себе своё прекрасное...”
Юрий Галаинов – уроки судьбы, служат времени. 46

Игорь МИНУТКО. Возвращение Анатолия Кузнецова.
(окончание) 97

Валентина СИНКЕВИЧ. Американские поэты и прозаики.
Американский классик Вашингтон Ирвинг (1783-1859). 126

ПОЭЗИЯ

Николай ПАНЧЕНКО. “Я верую Первому Слову...” 133

Лазарь ШЕРЕШЕВСКИЙ. “Страную Оз вль Изумрудным
городом...” 140

Светлана СОЛОЖЕНКИНА. “Загадочная Русь с убитыми
царями...” 144

АНТОЛОГИЯ СОВРЕМЕННОГО РАССКАЗА

Игорь КИСЕЛЕВ. Зверь. 147

Дарья ГУЩИНА. Не читать с Доминиканской республикой. 160

ДНЕВНИКИ. ВОСПОМИНАНИЯ. ДОКУМЕНТЫ.

- Александр КАРАМЗИН. Александр Николаевич и другие. Поколение девятое. Глава из трилогии “Карамзины. Семейная хроника”. 175
- Людмила САПОВА. Засохшее дерево. О благотворительности в России. 195
- Татьяна КАНДАУРОВА-ЧЕРНЫШЕВА. “Леониду – спутнику первых странствий...” Письма Максимилиана Волошина Леониду Кандаурову 213

РЕЛИГИЯ

- Священник Дионисий ПОЗДНЯЕВ. К истории о церковном расколе в Шанхае. 238

ЛИТЕРАТУРНАЯ КРИТИКА

- Борис СОКОЛОВ. Сергей Бабаин – последний реалист? 262

КНИЖНОЕ ОБОЗРЕНИЕ

- “Грусть мира поручена стихам...” Гарбер, Марина. “Дом дождя”. Стихи. Филадельфия. Побережье, 1996. 274

- Светлой памяти АГНИИ РЖЕВСКОЙ* 281

Коротко об авторах.

Обложка художника Н. Мишаткина

© 1998 Possev-Verlag. V. Gorachek KG
Flurscheideweg 15. D-65936. Frankfurt/M.
West Germany

Легко и радостно жить тому, кто ищет в других хорошее, ищет и находит. Исканием своим помогает он тем, в ком ищет, раскрыть и проявить светлые грани души. Но для этого он прежде всего в самом себе должен раскрыть их, должен стремиться к совершенствованию.

Каждый человек - часть органического целого; человечества. Совершенствуется часть - совершенствуется целое. Тот, кто становится на путь Правды, помогает всему человечеству стать на тот же путь. А необходимость этого, может быть, никогда так не была велика, никогда так не ощущалась всеми, как в наши дни.

В свете этого большая и ответственная задача стоит перед теми, кто служит Слову - Слову Правды.

*Е. Романов
"Грани" №1, 1946*

О русскихъ шахтерахъ и нашемъ міролюбіи

Приблизительно 20 января этого года въ воркутинской шахтѣ “Центральная”, на дальнемъ сѣвере Россіи произошелъ взрывъ, въ результатѣ котораго работавшіе тамъ 23 горняка были завалены живою. Когда еще оставалась малая надежда на спасеніе, въ выработкѣ начался пожаръ, привлекая къ себѣ всѣ силы спасателей. Какъ одинъ изъ крайнихъ способовъ ликвидаціи пожара государственная коммиссія разсматривала возможность затопленія шахты, что сдѣлало бы ее братской могилой для пропавшихъ безъ вѣсти. Хотя планъ затопленія не былъ приведенъ въ исполненіе, но никого изъ 23 шахтеровъ спасти не удалось.

Что дѣлали мы въ то время, когда русскіе шахтеры гибли въ шахтѣ “Центральная”? Можетъ быть были заняты своими повседневными обязанностями, думали о томъ, где провести отпускъ этимъ лѣтомъ или были обеспокоены болѣзнию любимой кошки? Но можемъ ли мы поставить переживанія, свои заботы этихъ дней, рядомъ съ темъ, что испытали погребенные живо русскіе горняки? Быть можетъ, какъ разъ въ тѣ минуты, когда погибали лютой смертію русскіе горняки мы сѣтовали на свою судьбу и занимались саможалѣніемъ?

Мы не знаемъ, кто они были: крещенные или нѣтъ, православно-вѣрующіе или нѣтъ? Но мы, тѣ кто считаетъ себя сознательными христіанами – причащаемся Св. Христовыхъ Таинъ, внимаемъ Священному Писанію, вычитываемъ утреннія и вечернія молитвы, – задумываемся надъ своей жизнью въ Церкви. Если мы дѣлаемъ все это только по обычаю, если не стараемся открыть сердце для Евангельской вѣсти, а исполняемъ все только внѣшне, то тогда понятно почему мы исполнены безпокойства и саможалѣнія. Но ведь эта реальность, о которой мы проявляемъ столько попеченія, лишь временная наша среда обитанія. Реальность же неизмѣнная, это та вѣчность, гдѣ пребываетъ Христосъ и Его небесная Церковь.

Поэтому, когда мы читаемъ утреннія или вечернія молитвы, то обращаемся непосредственно къ этой живой реальности – къ Спасителю, Матери Божіей, св. Ангелу хранителю. И если слова молитвъ станутъ для насъ реальностью, то пустыхъ страхованій

станетъ меньше въ нашей душѣ. Ведь чего намъ бояться, если Ангель хранитель всегда с нами. Зачѣмъ бояться смерти какъ таковой, бояться надо не ея, а того, что мы можемъ умереть недостойно, небогоугодно. Вѣдь Господь всегда взираетъ на насъ, значить и мы должны ходить предъ Нимъ подобающе, очищая свое сердце, вѣдь въ немъ, полномъ грязи, Онъ не сотворить вечерю.

“День тотъ да будетъ тьмою; да не взыщеть его Богъ свыше, и да не возсіяетъ надъ нимъ свѣтъ! Да омрачитъ его тьма и тѣнь смертная, да обложитъ его туча, да страшатся его, какъ палящаго зноя! Ночь та, — да обладаетъ ею мракъ, да не сочтется она во дняхъ года, да не войдетъ въ число мѣсяцевъ” (Иов. 3, 4-6). Хочется повторить этотъ крикъ святого многострадальнаго Юва по поводу того, что произошло въ Воркутѣ. Многие изъ насъ, смотря программы новостей по телевидѣнію, каждый день узнаютъ о нѣсколькихъ подобныхъ событіяхъ. И у насъ создается чувство — “увы, это жизнь, но у насъ-то здѣсь все спокойно, наша-то жизнь налажена, размѣренна и благополучна”. Но не будемъ обманываться братія, истинный покой будетъ только въ Царствіи Небесномъ. *“Земля проклята”* (Быт. 3, 17) и въ своемъ земномъ жизненномъ странствіи мы должны помышлять въ первую очередь о спасеніи души. А для сего намъ необходимо, по слову Спасителя, отвергнуться отъ себя, не впускать въ свое сердце благобытіе, быть готовыми къ скорбямъ и испытаніямъ, которыя есть лѣкарство для души. Притомъ будемъ помнить, что стабильность этого міра весьма и весьма условна. Сегодня мы отсюда, съ запада, наблюдаемъ войны, бѣды, мировые катастрофы, будучи отгороженными отъ нихъ, какъ бы толстымъ стекломъ, молъ “съ нами-то этого не случится”. Однако, не будемъ забывать, что христіане во всѣ времена не были друзьями міру. *“Кто любитъ міръ в томъ нѣтъ любви Отчей”* (1 Иоан. 2, 15). И всегда міръ быть полонъ развращенія, но не отличается ли наше время качественно отъ прошлыхъ вѣковъ? Вѣдь тогда грѣшники слыша слово Божіе обращались на стези покаянія, а теперь говорятъ: “Мы все это слышали, не мѣшайте намъ жить съ вашимъ Христіанствомъ”. Этимъ настроеніемъ міръ самъ ведетъ себя въ бездну. Но какая наша, христіанъ, часть и жребій съ этимъ катящимся въ пропасть міромъ?

*Редакция “Православная Русь”
Церковно-общественный Органъ
Русской Православной Церкви
Заграницей Orthodox Russia
№ 5 (1602), 1998*

ПУБЛИЦИСТИКА

Андрей Нуйкин

**Россия и Запад: от “призрака коммунизма” к
миражу демократии****5. Очередные задачи несоветской власти*

С осознанием необходимости разваливать преступную большевистскую систему власти все демократы и почти вся интеллигенция начали сначала постепенное, потом обвальное разрушение ценностей развитого социализма, псевдокоммунистической, тоталитаристской идеологии. Споры нет, сделать это было так же “неизбежно”, как и провести рыночные реформы. Во многом это удалось (особенно у молодежи), а дальше что? А дальше — ни-че-го! Ни разрабатывать, ни пропагандировать новую систему ценностей, новую (для России) демократическую идеологию никто до сих пор не считает нужным.

Получилось еще глупее, чем с переходом к рынку. Там освободили цены, а дальше все должно было якобы получиться само собой. Не получилось, приходится (и до сих пор без особого успеха) принимать аварийные меры. В деле формирования новой идеологии тоже попробовали положиться на мудрость стихии. Отменили цензуру, всякий контроль над СМИ, издательствами, учебными программами, открыли все шлюзы для любой пропаганды (в том числе и самой человеконенавистнической) и отошли в сторонку — понаблюдать: переродится ли овсюг в твердую пшеницу (как учил незабвенный Лысен-

* *Окончание. Начало № 185.*

ко), или все-таки надо какие-то семена для того разбрасывать? Пшеницы не получилось, а получился на идеологической ниве, как определили в своем исследовании социологи Б. Грушин, А. Кинсбургский и А. Рубцов, “близкий к шизофрении идеологический и политический плюрализм, приведший к широкой дезориентированности всех и вся относительно целей и перспектив развития общества”.

Человек — не пчела. Если насекомое строит свои соты инстинктивно, то человеку надо, чтобы построить дом, сначала создать мысленный проект. Понимаете, надо! Иначе ничего он не построит, только материал изведет.

Советский человек начал стихийно воспроизводить вокруг себя привычные ячейки развитого социализма. Совсем как пчелка — инстинктивно, не думая о результатах.

Как это “не думая?” Наши газеты не устают повторять, что теперь мы строим уже не коммунизм, а капитализм! Демократическим лидерам, не вылезавшим и не вылезавшим из-за границы, видимо, кажется достаточно такого “разъяснения”, но беда в том, что девяносто процентов нынешних строителей капитализма дальше Жмеринки за границу не выезжали и представления о том, что им предстоит построить, у них являются собой дикую смесь того, что им твердили о “загнивающем империализме” при Брежнев в школе и по радио, с тем, чем они любят сейчас в вечерних кровавых детективах и ночных эротических шоу.

В итоге — молодежная модель капитализма очень напоминает ту, что описана Высоцким:

*“А у психов жизнь — так бы жил любой!
Хочешь — спать ложись, хочешь — песни пой...”*

Молодежь такая модель соблазняет, в частности, тем, что “строить” ничего и не требуется, надо просто “расслабиться”. Для старших же поколений капитализм, увы, остается гнездилищем всех развратов. Обществом, где немногие

эксплуататоры целыми днями пьют виски и шоколад, кайфуют с красотками в бассейнах на гасиендах, а остальные собирают пропитание по мусорным контейнерам. Надеяться, что наши трудящиеся будут сносить безропотно все тяготы и лишения реформ ради *такого* будущего, очень странно и наивно. Не поэтому ли они и отдают в таком количестве голоса за последовательного борца с подобным развратом Зюганова?

Становится окончательно ясным, что соблазняя наших избирателей партийными программами, напичкав их словами: “монитаризм”, “приватизация”, “индексация”, “демилитаризация”, “дивиденды”, “консенсус”, “плюрализм” и т.д. — мы не увлечем за собой миллионы энтузиастов.

Особенно в долгу демократы перед понятием “собственность”. Оно ведь ключевое для всего, что происходит в стране. Без него и другие слова не наполнить жизненным содержанием.

Много лет уже мы ведем речь о приватизации, как “разгосударствлении собственности”. Но разве то, что мы именовали государственной собственностью, действительно, являлось видом собственности? У нас, если вдуматься, вообще в официальном обиходе никакой собственности не было. Ликвидация частной собственности большевиками отбросила нашу страну в то состояние, когда все “общее”, т.е. ничье. В этих условиях и государственная, и кооперативная формы собственности попросту перестали выполнять функции собственности. Государственные органы вполне могли обобрать кооператоров, закрыть их лавочку, преобразовать колхоз в совхоз, вырубить личный сад или обложить любого “собственника” поборами, налогами в таких масштабах, что это становилось равнозначным конфискации имущества. Все было “государственной собственностью”, говорят по этому поводу. Даже люди!

Не было. Собственность предполагает владельца, хозяина, лично, кровно заинтересованного в *сохранении и приумноже-*

нии ее! А за редчайшим исключением любой советский государственный распорядитель имущества ради тысячи долларов, положенных в личный карман, готов был без колебаний Аральское море превратить в соляную пустыню, все кедры Алтая спилить и сгноить в недоступных транспорту штабелях. Да, но ведь на Западе государственная собственность хотя и похуже частной, но работает! И акционерная работает. Среди крупных капиталистических предприятий — а именно они производят основную массу товарной продукции — частных почти не осталось! И коллективная собственность у них работает, а у нас почему-то нет. Почему?

В том-то и дело, что все существующие виды собственности исторически и функционально сформированы на базе частной собственности, порождены ею, продуктивны и защищены благодаря ее могуществу.

Только она способна воспитать хозяина, кровно заинтересованного в процветании его дела, она, и только она делает права любого собственника в сознании людей священными, без чего не формируется правовая культура, правовая психология, гражданское общество.

Частная собственность создает общественную атмосферу, где человек автономен, а личность суверенна и свободна, она запускает механизмы рынка и конкуренции, восставая против монополистического произвола, ибо тот во имя корысти нескольких ущемляет права на собственность сразу у многих.

Что нам нужно было сразу же с началом реформ осознать? То, что “институт собственности” — это не столько наличие самой по себе собственности у достаточно большого количества людей (“теневики” и казнокрады накапливали ее у нас в огромных размерах и до начала реформ), сколько инфраструктура ее обслуживания, обеспечения, защиты. Речь даже не о законах как таковых. Институт собственности — это коллективная власть собственников, осознавших общность своих самых фун-

даментальных интересов (от владельца концерна до обладателя крепких бицепсов и лопаты).

К чему я клоню? К тому, что любая правовая статья конституции, которой мы сейчас так гордимся, — пустой звук, если за ними не стоит реальная, организованная и способная ее защитить социальная сила. Частная собственность при капитализме не потому реальная, неотторжимая, что она провозглашена в каких-то хартиях и конституциях “священной”, а потому, что в соблюдении этого принципа заинтересована подавляющая часть народа. И народ, защищая свои интересы, выработал эффективные механизмы, позволяющие быстро пресекать любые попытки поставить под сомнение главный принцип капитализма. Попробовал бы американский парламент покуситься на него или хотя бы отобрать в “общий котел” больше общепризнаваемой нормы (через налоги, например) — только бы тот парламент и видели! У нас же с собственниками все еще можно делать все, что угодно, они — масса неорганизованная, аморфная, пугливая.

А как же мощные приватизированные гиганты индустрии? Нынешнее акционирование — это еще не создание собственников, а лишь промежуточный рубеж изменения юридического статуса предприятий, рубеж, создающий лишь возможность будущего формирования реальных собственников.

Государственная и групповая собственности в развитых капиталистических странах только потому и сохраняют эффективность, что функционируют в системе отношений, созданных частной собственностью, подчиняются правилам поведения и правовым нормам, ею сотворенным, потому что вынуждены конкурировать с нею. У нас же начавшаяся вроде бы стадия перехода от собственности корпоративно-бюрократической к частной, увы, пока достаточно обратима, являя собой не подлинное разгосударствление, а формирование всякого рода паллиативов, суррогатов, маскировку старых способов владения и управления под новые — якобы частнособственнические.

Акционирование крупных заводов или переоформление колхозов в “добровольные союзы пайщиков”, “кооперативы кооператоров” остаются пока “второй линией обороны социализма”, они не создают реально класса собственников, а только маскируют “рыночными” вывесками безответственное бюрократическое владение ничьей общей собственностью (и расхищение ее в особо крупных масштабах). Нельзя же всерьез уверять, что миллионы владельцев акций гиганта, стоящего миллиарды долларов, стали его хозяевами, капиталистами. Дивиденды их, в лучшем случае, будут напоминать советскую “тринадцатую зарплату”, а в худшем — просто перестанут выплачиваться в связи с нерентабельностью и банкротствами.

Нет, не нравственный уровень буржуазных правительств, не мудрость и строгость буржуазных законов, даже не опыт демократической жизни у народа — главные гаранты современной западной демократии, а частная собственность! Отберите ее, сделайте ничьей — и от “мудрых” законов, от “вековых” традиций, от накопленного опыта на второй день у самой цивилизованной страны следа не обнаружите. Разве наша Россия до семнадцатого года не была цивилизованной страной? Или Германия до 1933 года? Вот о чем нам надо думать и говорить, предлагая гражданам России и самим себе сделать важный судьбоносный выбор: капитализм или социализм.

Но, взяв курс на капитализм, мы оказываемся еще перед одной судьбоносной развилкой. И упаси нас Бог ошибиться, делая свой исторический выбор! Дабы слепая вера в частную собственность не сыграла с нами шутку не менее злую, чем слепая вера в вождей, фюреров, КПСС, неотвратимое светлое будущее и т.д.

Законы рынка сами по себе неморальны, как законы математики или химии. Но это не освобождает ни химиков, ни математиков, ни предпринимателей от необходимости соблюдать нормы этики и общежития. Вступая в основанные на

частной собственности рыночные отношения, мы вовсе не обязаны выкладывать на прилавки для распродажи свои ум, честь, вкус, совесть, любовь, достоинство, милосердие, доброжелательность, и прочие атрибуты человеческой духовности. Кесарю — кесарево, а Богу — божье.

Не следует превращать деловое уважение к частной собственности в ее обожествление, которое может помешать вовремя увидеть многие ее минусы, многие опасности, связанные с быстрой ломкой системы привычных для нас социальных отношений, ломкой, по сути и по масштабам равной социальной революции.

Торжество частной собственности *создает возможность* победы демократических принципов в сфере государственного устройства, политики, культуры. Но не гарантирует ее! Превратить же возможность в реальность могут только люди, осознавшие преимущества демократического устройства жизни, овладевшие демократической системой ценностей — демократической идеологией.

Крах коммунистических идей в странах “развитого социализма” вызвал жестко негативное отношение к самому слову “идеология”. Наверное, по этой логике следовало бы отвергнуть “мышление” из-за того, что неумные люди говорят глупости. Идеология — не коварное изобретение Маркса или Геббельса и к чисто политическим взглядам она не сводится. Идеология — ценностная сторона любого человеческого сознания. Духовность человека насквозь идеологична, соткана из пристрастий, предпочтений, устремлений, неприятий, любви и ненависти, из света и тени, как бы ни шокировало сторонников серого цвета такое настойчивое противостояние. Духовный мир состоит из противоречий, из непримиримой борьбы добра и зла, подлости и благородства, возвышенного и низменного, прекрасного и безобразного... Совокупность этих противостояний, сумма обусловленных ими целей, ценностей и есть идеология, вырваться из пут которой можно только в пустоту расчеловеченности.

Сталинская империя, развалившись, оставила нам в наследство не только деформированную экономику, не только

множество почти неразрешимых национальных конфликтов, но и *исковерканную, больную духовную сферу*. И нельзя вернуться в лагерь цивилизованных стран, создать эффективную рыночную экономику, демократическую государственность, не преодолев шока от развала изжившей себя идеологической системы, не воссоздав общезначимых для всего общества целей и идеалов, не преодолев накопившихся за годы советской власти нелепых убеждений, вздорных предубеждений, ненормальных привычек, опасных иллюзий. Развенчание коммунистических идеалов болезненно переживается многими нашими согражданами не потому, что слово “коммунизм” столь уж для них дорого (большинство населения, в том числе и члены КПСС, имело о нем более чем смутное представление), а потому, что вся система их духовных, социальных, жизненных ценностей, лишившись своего стержня, рассыпалась, и в результате возникла угроза полной дезориентации в том, что — хорошо, что — плохо, что — можно, что — нельзя, что — свято, что — грешно.

Частная собственность, повторим, — ключ к назревшим у нас реформам, фундамент демократического общества. Однако вовсе *не фундамент демократической идеологии*. Частная собственность — мощный стимул интереса, активности, но идеологическое обожествление ее было бы нелепым и опасным. В конкретных проявлениях она может быть и стимулятором преступной активности, источником безнравственности и пошлости.

Пассивный фатализм в построении цивилизованного капитализма не более оправдан и не менее опасен, чем фатализм былой — коммунистический. Если предоставить событиям развиваться своим ходом, мы можем обрести вовсе не шведскую или японскую модель, а пиночетовскую или хуже того — колумбийскую, при которой и собственность частная господствует, и рынок есть, а жить возле них не хочется.

Конечно, прежде чем подняться до высших пределов духовности (к чему душа россиян всегда рвалась самозабвенно), нам надо научиться “просто жить”. В конце концов, мы за многие десятилетия лишений и героизма стосковались по простому благополучию, устойчивости, нормальности, здоровой простоте!..

Однако, людям, привыкшим совершать непрерывные подвиги, “нормальность” может показаться чересчур пресной и обывательски-скучной. Послушайте речи приезжающих из-за кордона беглецов: лимоновых, зиновьевых и иже с ними — как же им плохо там, на самодовольном Западе! Как негероично и бездуховно! Кое-кто из них, похоже, готов свою глубокодуховную родину залить кровью и спалить огнем гражданской войны, только бы преодолеть скуку сытости и серой повседневности.

Для первобытной и средневековой психологии, остатки которой в душах советских людей причудливо сочетаются с истерическим модерном и притязаниями на “постиндустриальный образ жизни”, нормальность, повседневная упорядоченность, спокойное профессиональное исполнение своего дела в обстановке честности и доброжелательности — невыносимы. А вот тоталитаристские идеологии: фашистская, сталинская, экстремально-религиозная — фанатично подчиняющие все стороны жизни какой-то единой сверхзадаче, ради достижения которой допустимы любые жертвы, жестокости и преступления, любые отклонения от нравственных норм — кажутся более романтичными, праздничными, возвышенными, одухотворенными и привлекательными. На фоне этих “централизованных” идеологий спокойная демократическая кажется чересчур бесструктурной, релятивной, индивидуалистской, обезгероиченной, вялой.

Для воспитанного на истерическом героизме варвара демократическая система ценностей еще и тем “низка”, что не возносит его над жизнью, а учит уважению к ней самой,

несовершенной, но реальной, побуждает в нее вносить идеалы и высокий смысл. Вот о них — об общезначимых идеалах и высоком смысле жизни — и настала пора обществу озаботиться, не мешкая. Их надо выявить в глубинах сумбурной сегодняшней жизни, вычленив, понять, разъяснить. Само собой, из простого накопления бытовой устроенности, повседневных радостей, цивилизованности они не возникают. Каждому человеку остро необходим *высший смысл жизни* — то, ради чего он готов добровольно и осознанно поступиться и своим благополучием, и даже жизнью. И бытие щедро обеспечивает нас материалами, из которого он формируется, надо только иметь не заплывшие жиром глаза, уши и душу. Мир, человечество вступают в полосу глубокого трагического кризиса цивилизации, о котором благополучные страны стараются не думать. Ну, а нам сейчас как бы “не до того”, мы судорожно пытаемся выбраться из своего пусть не мирового, но тоже достаточно болезненного кризиса. Однако, можно не сомневаться — мировые проблемы нас не обойдут, обеспечивая нас целями куда более важными, чем любые вопросы нашего индивидуального бытия.

Прямо скажу, очень хочется побыстрее распрощаться с обрывками старых, но липких пут — в виде наскоков выползающих из могил дряхлых сталинистов, интриг наглеющих от безнаказанности юных нацистиков, рвачества нуворишей, лени и попрошайничества деклассированных элементов — и начать жить “нормально”, т.е. заняться наконец этими, достойными свободно, обретшего самоуважение и силу человека, проблемами. Сколько можно на всякую ерунду размениваться? Жизнь-то у каждого одна, и она прекрасна. Неужели не противно растрачивать ее на унизительные состязания с какими-то зюгановыми, бабуриными, жириновскими, которых в нормальном обществе — в микроскоп никто бы не разглядел?

Увы, чтобы обрести эту самую “нормальную жизнь”, мало о ней мечтать, ее надо созидать, к ней надо прорваться! В том числе и сквозь плотные ряды всех этих вставших на пути

зюгановых. А разве мы уже не прорвались? Мирный ход разво-
ровывания страны, похоже, убаюкал наше сознание. Устав от
перенапряжений и подвигов “во имя”, мы сами себе стараемся
внушить, что все помехи и трудности на нашем пути вполне
естественны и уже почти преодолены. Что стоит лишь еще
немного подтянуть животы, еще чуть-чуть потерпеть и... Опас-
ная иллюзия! И помехи на нашем пути далеко не все естествен-
ные, обязательные, и маниловские надежды наши, что кто-то
за нас все решит, во всем разберется и наведет нужный нам
порядок, ни на чем не основаны. Стоит просто перестать себя
обманывать для комфорта души — и это становится видным
невооруженным глазом.

6. Крах диссидентской демократии

Демократию не мечтатели-утописты выдумали. Она —
естественный этап и вектор общественного развития, кото-
рые получаются от свободного объединения усилий людей,
защищающих свои интересы, свою собственность, свое до-
стоинство. Но когда мы начали бороться за демократию в
условиях советской власти, у нас не было ни возможности
свободно объединяться, ни частной собственности. Вновь
пришлось идти своим особым, российским путем — сочи-
нять демократию в голове и внедрять ее в жизнь, где не было
ее материальной базы. В современных условиях (при нали-
чии рядом мощных зрелых западных демократий) подобный
идеологизированный путь, наверное, не невозможен, но в
любом случае чреват еще одним опасным отрывом идеоло-
гов и организаторов от “скучной” реальной действительности
с большевистским воспарением в мир розовых грез,
которые, как раз за разом демонстрирует история, заверша-
ются одинаково — крахом, разочарованием, кровью.

У нашей нынешней демократии два источника и две состав-
ных части — шестидесятничество и диссидентство. “Дети XX
съезда” — шестидесятники не стояли в *непримиримой* оппози-

ции к строю, власти, идеологии, ведь они не намеревались низвергать социализм как таковой, они лишь хотели увидеть его “с человеческим лицом”, вырастить это лицо из того, что есть в действительности. Шестидесятники считали себя лично в ответе буквально за все, что происходит в стране и в мире, верили в возможность постепенно разумного преобразования жизни и использовали для этого любую возможность. Они хитрили: притворялись, шли на компромиссы, сотрудничали с властью, если это помогало ее очеловечить. Некоторые сдавались, некоторые продавались (теряя право называться “шестидесятниками”), но в целом именно они не дали “реальному социализму” переродиться в социализм с фашистской мордой (а объективных предпосылок для этого было более чем достаточно). Именно они подготовили общество (идеологически и психологически) к демократическим реформам, развили у нескольких поколений советских людей жажду свободы, справедливости, гуманности. Что и превратило диссидентов в общественном мнении из изгоев, отщепенцев, “предателей родины” в главных героев, мучеников и непримиримых борцов за свободу.

В конечном итоге (на волне набравшего силу массового, но поверхностного антикоммунизма) диссидентство идейно подавило шестидесятничество, но при всем их внутреннем родстве, не стоит видеть в диссидентстве прямое продолжение и высшую форму шестидесятничества. За ними — разная философия, очень непохожие жизненные позиции. Диссиденты не собирались улучшать и совершенствовать то, что есть. Они с самого начала состояли в *непримиримой* оппозиции к строю, идеологии, образу жизни, власти. Они и шестидесятников в конце концов заклеямили за их компромиссы, готовность улучшать общественные отношения, государственные институты, формы управления (тем самым гуманизируя режим, “сея иллюзии”, “отдаляя крах системы”). Они стояли вне общественных процессов, над ними и не считали себя ответственными за происходящее в стране, испове-

дую зачастую лозунг: “Чем хуже — тем лучше!” Я не хвалю и не осуждаю, я просто квалифицирую, типологизирую.

Диссиденты совершили массу подвигов и безусловно способствовали краху советской системы. И хотя идеи шестидесятничества объективно сделали для этого несопоставимо больше и “пахали” глубже, крах лозунга о “социализме с человеческим лицом” (а именно эта попытка соединить несоединимое и раскрыла нежизнеспособность социализма) обеспечил в период перехода к реальным демократическим преобразованиям полное доминирование сугубо разрушительной, большевистской идеологии и психологии диссидентства у тех, кто встал под знамена происходящей у нас ныне буржуазно-демократической революции. И в этом корни большинства нынешних парадоксов и нелепостей ее.

Наша интеллигенция, наши демократы, добрый десяток поколений которых с тоской мечтали о свободе и демократии на западный манер, которые разуверились уже, что когда-нибудь хотя бы в отдаленном будущем их внукам удастся свергнуть кровавую большевистскую хунту, вдруг оказались на свободе — без КПСС, КГБ, цензуры, стукачей, судебных троек...

Но тут-то и выяснилось, что они совершенно к этой свободе не готовы, что у них нет реального понимания, к чему их обязывает ситуация, с чего надо начинать, к чему стремиться, как созидать это самое “демократическое общество”.

Чтобы разгромить тоталитарный тиранический строй достаточно выкинуть одну статью из конституции и поковырять ломом памятник Дзержинского. В нашем случае надо было менять все — систему власти сверху донизу, отношения собственности, идеологию, образ жизни... За несколько лет демократической интеллигенции необходимо было проделать то, что западным интеллектуалам совместно с деловыми людьми и политиками удалось осуществить лишь за несколько столетий. Надо было отстранить от власти активных сторонников старых порядков, разработать и принять демократическую конституцию, обо-

гатив ее массой законов, способных обеспечить правовую базу реформ, объединиться в дееспособные массовые партии, создать профсоюзы, наладить самоуправление, “разработать и внедрить в умы демократическую систему ценностей (идеологию) и одновременно направлять экономические реформы по мере возможности по цивилизованному, не людоедскому руслу...”

Энтузиазм, охвативший массы (в том числе и молодежь!) после разгрома путча в 1991 году и распада советской системы власти создавал достаточно благоприятные условия для радикальных преобразований всей жизни, но...

Диссидент способен на любой благородный подвиг, но там, где требуется долгое напряжение, кропотливый труд, тактическая гибкость — он пас! Это не его сфера, не его стихия. Да и нет у него опыта в сфере социальной созидательности, конструктивности. На львах поле не вспашешь, воды не привезешь! Из подрывника архитектора не получается.

Я долго не мог понять, как, почему, во имя чего доказавшие свою верность демократическим идеалам на митингах, в парламентах и на баррикадах люди начали переходить табунами в “непримиримую оппозицию”. Тут хочется привычно продолжить: “президенту-реформатору”. Если бы только президенту! В оппозицию уже самим реформам (реальным, какими они, наверное, лишь и могли быть в нашей стране, в нашей ситуации), тем самым демократическим преобразованиям, во имя которых они боролись, совершали подвиги, которые они приблизили, подтолкнули, так, чтобы “процесс пошел”...

Непонятно, на основании чего они вообразили, что тиранический режим свергнут, коммунистическая номенклатура в стране исчезла, а они — полные хозяева положения, гераклы, завершившие очистку всех авгиевых конюшен, и им теперь остается только одно — сесть в тени и наблюдать строго, чтобы все в жизни было точно так, как на Западе, один к одному, а если что-то начинает несоответствовать, то для наведения порядка достаточно немного погневаться, выразить свое неудо-

вольствие и разочарование, покапризничать (в стиле избалованных публикой примадонн) — и все встанет на свои места. Ну, а если нет, то полагается категорически отказаться “петь в темноте тенором”. И пусть потом мир пеняет на себя! Естественно, западных стандартов жизнь в результате такой деятельности не достигала, и капризы наших примадонн обретали все более истеричный характер.

Все им казалось не так, не туда, не по придуманной ими партитуре. Они словно выискивали нетерпеливо у обретших власть демократических лидеров свои ошибки, промахи, отступления, чтобы получить моральный повод отойти в сторонку, обидеться, разочароваться, встать в позу. А если не находили достаточно убедительных, начинали придумывать их.

“Не смейте мстить!.. Не ищите ведьм!.. Перестаньте преследовать за идейные убеждения!..” — начали вопить демократы и демократическая пресса на второй день после провала августовского путча. По всей стране изгоняли с работы в тот момент исключительно только тех, кто путч сорвал, ведьмы с веселым визгом открыто летали над нашими головами. Идейные сторонники сталинизма, не таясь, готовили второй путч, грозя не повторить ошибок первого, а радио и газеты все взволнованнее обличали диктаторские замыслы Ельцина и “его окружения”.

Боже мой, а что началось после второго путча! “Растоптанная конституция!..” “Расстрел парламента!..” “Ельцинский переворот...” Весь мир вместе с нашими демократами рыдал по поводу нескольких выбитых стекол в Белом доме. Сочинялись леденящие душу ужасы о тайном захоронении (в мешках! — это особенно впечатляет) тысяч кротких защитников парламентаризма в России... И никто не хотел в упор видеть, что “кроткие” народные избранники прежде, чем их припугнули танками, шайками рыскали вместе с фашистскими штурмовиками и просто уголовниками по Москве, стреляли в прохожих, громили правительственные учреждения, провоцируя погро-

мы, расправы (по заранее заготовленным спискам), а в реальности — полномасштабную гражданскую войну...

А ведь суть происшедшего, а также вероятные последствия событий и в первом, и во втором случае легко мог бы понять даже ребенок, если он не безнадежный двоечник. Что же произошло с нашими прославленными интеллектуалами? Чего ради начали они гробить “дело своей жизни”, помогать красно-коричневым повернуть ход событий вспять?.. Столь массовое поглупление людей историей еще не фиксировалось! Но все-таки дело, видимо, не в глупости. У всех таинственных явлений, стоит в них разобраться, причины весьма прозаичны и мало эффектны. Просто нынешняя популяция демократов как была, так и осталась диссидентской по своей природе.

И поэтому они способны только обличать, ниспровергать, состоять в оппозиции. А для оправдания своей деловой несостоятельности в ситуации, когда надо именно засучить рукава и работать, они начали творить миф о стремлении Ельцина стать диктатором, возрождая для теоретической солидности замызганный российский лозунг насчет того, что интеллигенция обязана быть в оппозиции “к любой власти”.

Мне, одному из тех, кого не столь уж давно тоже именовали “прорабами перестройки”, горько оглядываться вокруг в момент, когда все, о чем грезилось, за что сражались, что оплачено не только великими тяготами народа, но уже и человеческими жертвами, может рухнуть россиянам на их глупые, ленивые головы.

Где вы, проверенные, закаленные бойцы — прорабы, разведчики, знаменосцы? Почему не видно вас в этот трудный для России миг на поле боя?

“Начиналась рукопашная, где победителей не предвиделось. Перебрасываться комками грязи со своими обидчиками в условиях парализованного судопроизводства смысла не было. Редактировать журнал, зависящий от благоволения того или другого вождя, выпрашивать дотации не хотелось. Мне до сих

пор кажется, что я сделал хорошее дело и ушел вовремя — в отличие от многих верховодов перестройки...”

Это ответ Виталия Коротича, который подобрал себе страну, где “судопроизводство” не “парализовано”, с выгодой вложив там свой политический капитал, нажитый в годы горбачевского “ускорения”. Ну, а кто будет в его стране создавать “непарализованное” судопроизводство?!

Где-то невдалеке на американском же континенте поэтически и ностальгически обслуживает славистов и эмигрантов вождь писательской перестройки Евгений Евтушенко. Его организаторская мощь выразилась в том, что он привел к власти в реорганизованном союзе писателей ряд мелких вороватых дельцов, передал им все имущество своих коллег, по возрасту не способных ломать замки и выбрасывать портфели, вручил им печать и укатил на заработки. Теперь изредка прилетает, чтобы облить гневно рифмованными куплетами тех, кто тянет бурлацкую лямку реформ, и, очень довольный собой, упаркивает обратно в Америку — рассказывать молодежи о своем революционном прошлом.

Любимец всех демократок, главный цицерон межрегиональной депутатской группы, пытавшийся когда-то соперничать за лидерство с самим Ельциным, Юрий Афанасьев получил в подарок за революционные заслуги роскошный комплекс бывшей ВПШ, но, видимо, счел плату недостаточной и сейчас скорбит публично лишь о том, что не ушел в жесткую оппозицию к власти еще во времена Горбачева, из-за чего “мы получили не демократический режим, а чиновничий и авторитарный”, при котором стало “невозможным делать честную политику”.

И Гавриил Попов недолго побывал в структурах новой власти, добровольно ушел из них и сразу же почувствовал себя “на месте” в рядах декоративно-оппозиционного блока РДДР. Когда-то он покорила меня на митинге гордой фразой: “Нас можно убить, но заставить замолчать уже нельзя!..” Где он, Попов, сейчас — не видно, не слышно. Где РДДР?.. Оказывает-

ся, чтобы пламенные реформаторы диссидентского разлива “замолчали”, не требовалось ни убивать их, ни даже “заставлять”. Сами выдохнутся, подышав пустотой неконструктивной “непримиримой” оппозиционности.

Вот и Бэлла Курковá, неплохо поработавшая для раскрепощения сознания телезрителей, что делать дальше с этим раскрепощенным сознанием, не знает. “Мы уходим в оппозицию к Президенту. Мы подаем в отставку...”

Мавр сделал свое дело?.. Если бы “сделал”, то о чем разговор? Уходи на здоровье, пиши мемуары, выступай перед пионерами по юбилейным датам. Так ведь только разломали, разворошили. И смену не вырастили! Как радовались мы появлению на политической арене новых фигур, таких, как Станкевич, Явлинский и другие. Молодые, образованные, без комплексов... Душа радовалась. Но недолго. Даже не на час оказались “калифы”, на пять минут. Не вожди выковались, а дамская бижутерия...

Вслед за вождями, лидерами, генералами, идеологами демократизации в оппозицию, в отставку толпами устремились и младшие лейтенанты, оставляя доверчиво шедших за ними рядовых бойцов один на один с прежней номенклатурой, коммунистами зюгановско-анпиловского призыва, националистами всех мастей.

“Наиболее честный вариант для человека социально ориентированного, но мыслящего — вернуться в себя, как домой. Может быть, в виде отдельной, самостоятельной личности он перестанет быть рабом политики и социальности...” — красиво словесно оформляла сие дезертирство Людмила Сараскина. А среди писателей родилось даже очень творческое течение, предлагавшее сосредоточить внимание инженеров человеческих душ на воспевании “облаков и бабочек”.

Страстность же, с которой начали вдруг защищать коммунистов, фашистов и “старое доброе время” диссиденты, вышвырнутые разными способами в то “доброе” время за рубеж,

разгадке не поддается. С трудом, издержками, лишениями, но их страна, сбросив большевистское ярмо, ползла к демократии и рынку. Что этот путь будет праздничным и лучезарным, мог предполагать разве что полный глупец. Диссиденты же были, вроде бы, один другого умнее, но...

“Нужно любыми путями сбрасывать эту власть. Иначе страна погибнет!” — взывал из-за рубежа А. Зиновьев. Одну власть народ с его помощью сбросил. Теперь зовет эту сбрасывать. Во имя какой “третьей”? Уж не ради той ли, которая так приятно поразила А. Синявского и М. Розанову, побывавших во время очередного своего вояжа в Москве, в гостях у коллектива газеты “Завтра”. То, что они видели за пределами этих стен (“гайдаровские реформы”, толпы нищих, старух, торгующих сигаретами...) ввергло их в тоску, а тут... “В страшной — ужасной (улавливаете иронию? — А. Н.) редакции газеты “Завтра” я испытывала чувство доброты христианской и христианской жалости к ближнему...”

Видимо, боевики, коловшие в мае 1993 года заточками юных милиционеров или расстреливавшие в октябре с крыш прохожих, сняли ради встречи с прославленной диссиденткой свои мундиры со свастиками и щедро помазали волосы лампадным маслом.

Да шут с ними, боевиками, малограмотными сопляками, куражающимися в меру своего интеллекта в условиях “парализованного судопроизводства”.

Что случилось с нашим цветом нации, элитой мирового уровня, “отцами русской демократии”?.. Мечтали, сопротивлялись, сплачивались, боролись, поднимались, отстаивали героически... Отстояли с большим трудом — и в рассыпную, за границу, в “себя”, в оппозицию, в союзники с бывшими врагами?..

Да, рая на второй день после изъятия из Конституции шестой статьи не наступило; да, старые хозяева жизни ни вешаться от стыда за прошлое, ни бежать за границу не захоте-

ли, остались у кормил власти на всех ее этажах и даже стиль руководства менять не торопятся; да, судопроизводство до сих пор “парализовано”; да, “режим” получился во многом “чиновничий”... Но, господа, кто же всем этим должен был заниматься после августа 1991 года, если не мы с вами? Кто должен был “исправлять”, “переделывать”, “совершенствовать”, когда пришла долгожданная пора, когда стало “можно”. Кому мы все это отдали? Кому доверили? Никого же не оставалось на поле боя, кроме чиновников брежневской выпечки, после того, как вы так дружно попрятались в кусты!

Ах, да, мы это доверили сделать Ельцину, а он не справляется? Мало того, окружил себя всякими коржаковыми, барсуковыми, лифшицами, а нас с вами к себе не приблизил, не вложил в рот сладкую халву власти, разжевав ее для облегчения пищеварения? Пробовал приблизить и не раз. Только сколько демократов первой волны оказались пригодными не для критиканства, а для реального дела? Пальцев одной руки на всю великую страну достанет. Так ведь и их вы бросили, лишили Среды, поддержки в структурах власти. Ельцин — не бог, не волшебник. А жизнь — не цирк, кролика демократии и процветания из пустой шляпы никто вынуть не сможет. Его надо сначала где-то вырастить.

К тому же, чего это нам все на Ельцина рассчитывать? Мы же все Демосфены, вожаки, стратеги... Есть избиратели — давайте бороться за них! Есть телевидение, газеты, есть свобода объединения в партии и блоки — давайте брать ее, власть, как положено в демократическом обществе (если уж мы хотим на Запад походить!), пока Ельцин в какой-то мере своим постом еще это обеспечивает. Нет, господа, не нужна нам с вами реальная власть, слишком она хлопотна, ответственна и строга к дилетантизму. Не по Сеньке оказалась шапка! Извините за резкость, но пора признать горькие истины, не щадя нашего демократического самолюбия, поскольку речь идет о вещах куда более значимых.

И вот эта неспособность к делу, к конструктивной государственной, экономической и идеологической работе и превратила большую часть демократов диссидентского разлива в непримиримых оппозиционеров, в озлобленных критиков Ельцина — почему он не может сделать то, чего они не умеют и не хотят делать?!

На их беду, худо-бедно реформы все-таки шли, ситуация по чуть-чуть улучшалась, свет в конце тоннеля отдаленно мерцал... И позиция оппозиционеров становилась все более не обоснованной, не убедительной, ход событий отодвигал их все дальше на обочину, делал присутствие их не необходимым. Вот-вот никчемность диссидентства в ходе реформ могла стать очевидной всем.

В этих условиях чеченская война стала буквально подарком судьбы и за нее ухватились все теснимые на обочину, утратившие идеологический кураж, сбежавшие с поля боя.

Пролитая кровь дала основания для взлета пафоса, для картинных поз, для праведного гнева. Не случайно сплотившиеся на этой базе все обличители российской “агрессии” плотно затыкали уши, когда кто-то пробовал объяснить суть трагедии, неизбежность применения силы, толковал о катастрофических последствиях бездействия или капитуляции перед мятежниками, подвергнувших геноциду сотни тысяч россиян на территории российского государства! Очень уж выигрышной в глазах народа, в глазах избирателей представлялась им эта “карта”.

Для тех, кто готов был хоть на гражданскую войну, хоть на развал России лишь бы “свалить Ельцина”, она действительно, могла стать выигрышной. Ну, а для тех, кто ставил, вроде бы, целью жизни построение демократического, процветающего экономически общества? Для них эта “карта” стала гибельной. Народ безусловной поддержки террористов-уголовников не понял. Те, кто сделал на нее ставку, потерпели полное фиаско на выборах, и это довершило развал демократического движения, и без того доведенного до критического состояния диссидент-

ской оппозиционностью его лидеров к реальной жизни, реальному процессу демократизации.

Когорта демократических партий шла на выборы, как “тридцать витязей прекрасных”. Вспомним эти дерзкие имена и названия: ПРЕС (С: Шахрай), “Социал-демократы” (Г. Попов), “Партия самоуправления трудящихся” (С. Федоров, А. Казанник), “Общее дело” (И. Хакамада, Р. Быков), РПРФ (Э. Памфилова, В. Лысенко), “Яблоко” (Г. Явлинский, В. Лукин), “Партия экономической свободы” (К. Боровой), ХДС (В. Савицкий)... Какие имена! Какая непримиримость к Ельцину и его “преступной войне с собственным народом”! Какая уверенность в беспроигрышности такой позиции!.. И где они все теперь? Если уж продолжать вспоминать формулы Пушкина, на язык просятся: “За прялкой сидит его старуха, а перед ней разбитое корыто”.

Не выдержали демократы первого призыва испытания жизнью, сами в тупик зашли и ведомые ими массы активистов туда завели.

“Период розовых грез и гимназических представлений о благодности и праздничности процесса построения демократического государства, в ходе которого все нравственно просветляются, братаются и любят друг друга, исчерпан до доньшка”, — писал я несколько лет тому назад. Надеюсь, тем не менее, что процесс построения российского государства без розовых грез и подростковых восторгов продолжится все равно в сторону демократии. Сейчас все чаще в душу закрадываются сомнения: не заканчивается ли на наших глазах крахом еще одна попытка России пробиться к демократии? И что самое обескураживающее — не по объективным причинам, а благодаря глупости и самоуверенности тех, кто поспешил назвать себя демократами.

Прежде всего нам придется попытаться развеять прочно утвердившееся мнение, будто в России в 1991 году власть перешла в руки демократов. Брежневская номенклатура, кото-

рая и была, и осталась почти у всех кормил реальной власти, охотно поддерживает в общественном мнении такое убеждение. Ей более чем выгодно всю ответственность за происходящее взвалить на “демократов” и “рынок”. Теперь, какой бы произвол в стране ни творился, у них есть чем оборониться от народа: “Вы же сами хотели демократии и рынка? Вот и кушайте их на здоровье!..” Так что вопрос: “Пришли ли в России демократы к власти?” — не такой уж абстрактно-академический. Давайте приглядимся.

7. Пришли ли в России демократы к власти?

В своей предвыборной программе Геннадий Зюганов поведал избирателям, как у него изболела душа при виде всего, что натворили демократы, придя к власти: “Никогда прежде, даже в послевоенные годы, я не видел столько горя, не слышал столько просьб о помощи, сколько сегодня!..”

Когда кончилась война, Гене Зюганову еще и годика не было, не мудрено, что тогда трудящиеся реже, чем сейчас, обращались к нему с “просьбами о помощи”, но не о писательских талантах Зюганова у нас речь. Очень хотелось бы, чтобы Геннадий Андреевич внес ясность, о какой именно стране он толкует, когда разоблачает антинародный, “оккупационный” и никчемный “режим демократов”? Уж не о России ли? Если так, то должен его разочаровать — в России демократы пока не приходили к власти ни на один день! Шучу? Вот видите, как нам с вами задурили коммунисты головы — долго и безуспешно приходится доказывать то, что видно невооруженным глазом каждому, у кого есть глаза. Что ж, давайте анализировать.

Как известно, власть подразделяется на четыре вида: законодательную, исполнительную, судебную и информационную (“власть прессы”). Начнем с законодательной. В прежней Думе демократов было от силы одна четвертая часть. Господствовали в ней жириновцы, аграрии и коммунисты. Вряд ли кто-то даже спьяну рискнул бы назвать их демократами. В нынешней Думе

С. Юшенков с трудом насчитал 13 депутатов (из 450!), которых можно было бы считать демократами в полном смысле этого слова. Принятое думой провокационное решение о “денонсации” Беловежских соглашений красочно продемонстрировало, кто в ней сегодня полновластный хозяин. Остальные законодательные органы страны “демократичны” не более. Совет Федерации под завязку набит бывшими партийными функционерами-номенклатурщиками.

Судебная власть... О ней один из крупных чинов прокуратуры как-то сказал: “Мы хотели получить независимый суд, а получили бесконтрольный!” А знакомый юрист со вздохом признал, что у нынешних судей на все виды неправосудия (скидка срока, оправдание, отпуск бандита под залог и т.д.) выработалась уже определенная такса. Рынок победил в судах идеологию? Не совсем. Наши органы следствия и правосудия раз за разом берут под защиту бесчинствующих фашистских молодчиков и их вождей. “Нет, — говорят, — статьи в ”УК”, по которой можно было бы наказывать за политические убеждения, и нет юридически безукоризненного определения понятия “фашизм”!” Наказывать же тех молодчиков полагалось вовсе не за взгляды и названия, а за преступные действия, четко предусмотренные “УК”: за призывы к насильственному изменению конституционного строя, за разжигание межнациональной вражды, проповедь насилия, беспорядки на улицах, избиения, оскорбления и т.д. и т.п. Только дважды за всю нашу историю суды в России вынесли обвинительные приговоры фашистам. Один раз — за выявленное убийство, когда оправдать было просто немыслимо. А второму судье, давшему срок небезызвестному погромщику Дома литераторов Осташвили, пришлось спешно менять профессию — такую атмосферу травли создали вокруг него коллеги по цеху. Так что судебную власть причислить к сфере, где верховодят демократы, у нас никак не получится!

Исполнительная власть... Прокуратура наша, как отмечалось в печати, “борется не с фашистами, а с антифашистами”,

а она ведь есть важнейшее звено исполнительной власти. В аппарате правительства и даже в президентских структурах людей, открыто сочувствующих КПРФ и саботирующих реформы, если прикидывать на глаз, то разве что чуть-чуть поменьше, чем в нынешней Думе. Относительно же периферии... Помните газетные заголовки после августовского путча, провал которого якобы и привел демократов “к власти”? “Путч окончен, пособники путчистов — у власти”. “Пучьте дальше, господа!”, “Победил ГКЧП?”, “Коммунисты за сутки переродились в демократов...” Может быть, это вот последнее и дало повод делать заявления о “приходе к власти демократов?” А ведь именно эти мутанты и сидят в аппаратах власти по всей стране сверху донизу, крестятся на Пасху левой рукой и твердят о победе демократов.

“В новых справочниках областных администраций 1993 и 1994 годов — сплошь и рядом те же имена, что и в справочниках 1990”, — констатирует политолог Г. Костин. Похоже, что демократию нам еще при Сталине с помощью КГБ внедрили!

Ну, а что же четвертая наша власть? Нет нужды подозревать в господстве демократов в коллективах 150 газет, открыто пропагандирующих фашизм. А так называемая “местная пресса” взята под жесткий контроль местной прокоммунистической номенклатурой. На последнем пленуме лидер КПРФ сообщил, что откровенным рупором партии служат почти 130 изданий. Демократическая пресса? Во-первых, она сейчас до девяносто процентов россиян практически не доходит. А во-вторых... Писатель Л. Жуховицкий обвинил ее в том, что именно она (а вовсе не коммунистическая пресса) обеспечила победу коммунистам на выборах в Думу. И я с ним согласен. Когда коммунисты или жириновцы поносят президента, правительство, реформы, “оккупационный режим” — их можно заподозрить в предвзятости, но когда этим круглолицуто занимаются почти все демократические СМИ, избиратель вынужден делать вывод, что такой режим терпеть дальше не полагается. Увы, даже

в собственных газетах демократы, похоже, не хозяева, раз те работают на их политических противников.

Тогда что же получается? Ни в одном из всех четырех видов власти демократы не пришли к власти! А если так, то с кого г-н Зюганов должен спрашивать за то, что стоны и рыдания разносятся над необъятными просторами России? За “распад страны”, “обнищание народа”, “грабительскую приватизацию”, “массовую безработицу”, “деградацию культуры и морали”, “развал армии”, “бедственное положение здравоохранения и науки”?.. Не его ли идейные сподвижники и товарищи по партии (временно попрытавшие свои партбилеты “в холодильники”) должны держать ответ не только за семьдесят пять лет террора, грабежей и насилия, но и за все тяготы и жестокости реформ, ответственность за которые они с ловкостью классных шулеров переложили на демократов, якобы находящихся у власти?

Особая грусть сложившейся ситуации состоит в том, что некому в нашей стране за все это с Зюганова спросить. Народ еще не скоро станет достаточно организован и политически грамотен для того. А радость ситуации в том, что, хотя коммунистическая номенклатура от власти у нас ни на один день никуда не уходила, она принципиально раздвоилась. Те номенклатурщики, которые вовремя сориентировались, не только у власти, но и при собственности! Так что, хотя они и держат на всякий случай свои партбилеты в укромных местах, но к старым порядкам возвращаться не собираются. Геннадию Андреевичу и всем его опоздавшим к разделу пирога сподвижникам (а в этом суть всех их недовольств “оккупационным режимом”) передавать ни власть, ни собственность они не захотят. Самое большее, на что Зюганову и К^о можно рассчитывать — отступит ему лично и группе наиболее настырных соратников по борьбе с капитализмом от щедрот своих “отступного”. И возьмут, не упустят момента, можно не сомневаться. Потому что понимают: после провала на одних из выборов им уже ничего не светит.

Впрочем, кому что светит на выборах — тоже не столь простой вопрос. Скорее всего одно из главных достижений российской демократии и чуть ли не главный ее гарант — институт всенародных свободных выборов тоже уже во многом “приватизирован” новой (созданной почти целиком из “старой”) номенклатурой, успевшей надежно объединить (пока народ не успел разобраться в ситуации и не организовался для защиты своих интересов) власть и капитал.

Резюме. Как это ни прискорбно, но пора признать: попытка внедрить в России демократию сверху потерпела фиаско. И виновны в этом прежде всего мы сами — так называемые “простые люди”, те, кто “внизу”, поскольку те, что “сверху”, ее и не собирались никогда внедрять, она им без надобности! Мы проблагодушествовали, пропрекраснодушничали, пробездельничали более десяти лет, когда надо было засучивать рукава и взваливать на себя все заботы, всю ответственность за происходящее. А демократия — это такое сооружение, которое сверху в принципе не строится. Но, может быть, поражение демократов первого разлива — это все же не поражение самой демократии? Может быть, еще не поздно засучить рукава и пошевелить мозгами? Тем более, что если наших “новых русских” под контроль общества как-то взять, то они на демократию и поработать все-таки смогут? Должны же они наконец осознать, в чем их главная, самая долгосрочная общая выгода, понять, в чем их коллективный классовый интерес. Явно же он не в новых революциях и кровавых переделах, а наоборот — в спокойствии, стабильности, порядке, соблюдении законов, разумных налогах, высокой производительности труда, свободе конкуренции, росте покупательной способности населения и прочих скучных вещах, из совокупности которых и складывается в конце концов демократия. Ее во всем мире, в общем-то, не демократы, как какая-то особая каста рыцарей

равенства и справедливости везде создавали, а зачастую весьма далекие от безупречных манер частные собственники, увы. Но за этим обстоятельством и проглядывает грустная надежность процесса! Как выразилась недавно Татьяна Заславская: “В политике циник лучше романтика”.

Существующие в мире реальные демократии не случайно в исходном своем варианте именовались “буржуазными”.

Обретая частную собственность, а вместе с нею и независимость, и силу, люди формировали ее весьма прагматически — добиваясь порядка, устойчивых общеобязательных норм жизни, защищенности собственности и достоинства, эффективности государственных и общественных механизмов, реализующих коллективную волю людей, защищающих их интересы, позволяющих вовремя приспособиться к меняющимся условиям жизни. Никаких особых нравственных и эстетических норм демократические убеждения не содержат. И демократ может оказаться жуликом. Другое дело, что демократическая организация общества, давая максимум (по сравнению с другими) возможностей личности для реальной независимости, для реализации ее убеждений, целей, создает и максимум возможностей для сохранения высоких моральных качеств, реализации благородных порывов души. В пику обычно приводят “честных тружеников” из числа колхозников и рабочих в эпоху развитого или недоразвитого социализма. Они ведь были высокоморальными людьми! Это смотря какие требования предъявить к “высокой морали”. На их глазах отправляли в ГУЛАГ миллионы людей, расстреливали невиновных, разворовывали “общенародную” собственность, затыкали рты правдолюбцам, а они... “А что они могли! — восклицают обычно в ответ. — На плаху предлагаете им добровольно идти? Но что бы это изменило? К тому же, у каждого ведь мать, отец, да и самим жить хочется!..” Все верно. О том и речь, что одни социальные системы позволяют оставаться

нравственным (при желании), а другие не дают для того ни малейших возможностей, вынуждая даже хороших людей действовать “применительно к подлости”, говоря словами Щедрина.

Так что нам необходимо с трезвым пониманием и, если хотите, юмором (спасительным для сохранения здоровья и чувства достоинства) вступить во второй этап построения демократического общества, где решающее слово должны сказать люди далекие от наших представлений об идеальном герое, самоотверженном борце за народное счастье. Собственники, предприниматели, прагматики, люди дела, заботящиеся не о равенстве и братстве, а, увы, о собственной прибыли, сохранении и приумножении собственности. Да, большая часть их свои палаты каменные нажила не трудами праведными, многие — просто жулики. Это не может и не должно нравиться, с этим в меру сил надо бороться, но из-за этого не стоит стреляться. И биться с утра до полуночи в истерике тоже не стоит. Надо принять, за отсутствием выбора, их эгоизм как грустную данность сегодняшнего дня, как внеморальность движущих сил истории и постараться эгоизм этот загнать в цивилизованные рамки, сделать “разумным”, как советовал Чернышевский. И не стоит становиться в третью балетную позицию, изображая тем, что мы по сравнению с нашими джентльменами удачи, нуворишами и воришками есть эталон добродетелей.

Мы, если честно говорить, непредприимчивы, ленивы, неорганизованны... У себя в подъезде не можем чистоту обеспечить, а с кого-то капризно требуем, чтобы он страну своими руками от дряни, накопившейся во всех ее закоулках, к очередному воскресенью очистил!

Чудес не бывает. С историческими неизбежностями жизнь нас все равно заставит примириться. А пока нас не господство частной собственности должно заботить, а его отсутствие.

— Раздел собственности у нас уже произошел, — слышал я не раз от весьма знающих ситуацию людей. — Поэтому новые хозяева жизни передела ее не допустят!

Хорошо бы. Но странное у нас сформировались новые “хозяйства жизни”. Финансовое могущество, вроде бы, у них по логике почти беспредельное, терять им с приходом “передельщиков” есть что, но сколько-нибудь ощутимого и скоординированного противодействия неблагоприятному ходу событий, проявления твердой воли не позволить еще раз шариковым устроить всероссийский погром совершенно не ощущается.

Класс собственников у нас все еще не сложился и коллективного своего интереса не осознал (в отличие от мафии), партиями, палатами, гильдиями, клубами, печатными органами не структурирован, идеологию свою и не вырабатывает, и в умы населения не внедряет.

У собственников наших денег уже пропасть, но властвовать они не научились, они умеют только приспособливаться к любым, самым диким и противоестественным обстоятельствам, хапать и убегать, хапать и прятаться.

Тут умудренным жизнью западным учителям нашим и помочь бы им обрести цивилизованность, объяснить, что есть зрелый капитализм! Да и народу российскому, по описанным выше уважительным причинам остающимся пока неорганизованным и люмпенизированным, учителям этим, закаленным трехсотлетней шлифовкой столь желанной издавна “модели”, стоило бы, наверное, подходчивее каждодневно растолковывать, что к чему. И не столько про то, как у них там хорошо, а про то, какими путями, за счет каких механизмов к этому “хорошо” постепенно, поэтапно подобраться можно. Когда-то нам казалось, что таким образом и выстроятся наши отношения. Запад так давно и страстно ждал краха “империи зла”, так много сил и средств в это вложил, что мы, боровшиеся с этим “злом” изнутри, привыкли воспринимать его как своего надежного союзника и единомышленника, верили, что не бросят нас зрелые демократии, как слепых котят, барахтаться в сточной канаве

истории. Все распахнули мы им навстречу сразу же, как начались реформы: и границы, и сейфы с военными секретами, и души наши доверчивые до идиотизма. Похоже, поторопились. И с тем, и с другим, и с третьим. Или Запад, как и российские демократы, оказался совершенно не готов к столь скорому крушению коммунистических режимов, или мы сильно завывали всегда его мудрость и доброжелательность. На данную тему мне пришлось немало уже желчи истратить. Хорошо еще, что это восстановимый продукт, и диалог с Западом есть возможность не прерывать “по техническим причинам”.

8. Бойтесь данайцев, советы дающих!

Прогрессивное человечество потрясено! Оно наконец-то узнало подлинную правду о нашей псевдодемократической России и тех ничтожествах, которые “должны были вывести страну из коммунизма”. И поняло, что ЭТИ ничтожества ЭТУ страну ниоткуда не выведут, нужно срочно отыскивать какие-то другие. Откуда же снизошло счастливое просветление на многострадальное прогрессивное человечество? Оно прочитало книжку Коржакова! В результате чего суровая правда открылась ему во всей своей наготe. И очень-очень оно теперь обескуражено тем, что в России даже люди, “причисляющие себя к демократической интеллигенции”, не толпятся взволнованно возле книжных киосков, не вырывают друг у друга из рук бессмертный сей шедевр, не конспектируют его срочно, не переключивают на музыку, а совсем наоборот — даже не прочитав (ай-яй-яй, как не стыдно!), заявляют: “Какая гадость!”

Московского корреспондента итальянской газеты “Ла Stampa” г-на Джульетто Кьеза такая безответственность россиян чрезвычайно огорчает, ведь “для многих эта книга могла бы стать спасительным лекарством”, ибо “КОРЖАКОВ НАПИСАЛ ПРАВДУ”! И ее надо знать, “даже если от знания болит сердце”. Какие же именно мрачные тайны Кремля открылись

г-ну Къеза на страницах коржаковского труда? Надо полагать, в своей статье “Хотите смеяться, хотите плачьте, но Коржаков написал правду” (“Общая газета”, № 38, 97.), он выбрал самые страшные из них. И действительно, мороз по коже пробирает, когда вдруг узнаешь, что Президент России “приказал приобрести” не только джип с автоматической коробкой передач, но и водный мотоцикл. Это подумать только — какой ужас! — мало того, что мотоцикл, так еще и водный! Сверх того итальянский журналист узнал наконец-то, что в окружении президента ведутся интриги и организуются застолья, в ходе которых пьют, страшно сказать... водку!

Чем, интересно, занимался все последние годы в Москве г-н Къеза, если подобные, всем хорошо известные, придворные сплетни произвели на него впечатление разорвавшейся бомбы? Ведь стоило ему просто полистать любую подшивку любой нашей газеты, хоть “Сегодня”, хоть “Завтра”, и он без всякого соглядатая в эполетах открыл бы для себя сотню-другую “тайн” похлеще. Обличения Коржакова достовернее, потому что он “постоянно находился на первом плане рядом с президентом”? Спору нет, находился, но...

Лев Толстой заметил как-то, что для лакея нет героя. Потому что у лакея особые представления о благородстве и величии. У него, например, может вызвать презрительную ухмылку аристократ (граф!), своими руками выносящий за собой утром ночной горшок. Лакеев и авторов разоблачительных мемуаров понять не трудно — подняться до тех высот мысли и духа, которых достигают те, кого они обслуживают (или обслуживали), им не дано, поэтому констатация, что горшки аристократов заполнены абсолютно тем же, что и их горшки, радостно их возбуждает, позволяя преодолеть ощущение собственной мизерности.

Труднее понять в этом вопросе прогрессивное человечество. Впрочем, оно сейчас толстых графских романов не читает, ну а то, что с утра до ночи изливается на мир с экранов телевизоров,

вполне способно уравнивать “Войну и мир” с ночным горшком, а Льва Толстого с Коржаковым. Упаси бог! Я не против критики великих писателей и политиков. И со Львом Толстым есть о чем поспорить, и первого президента — за что пожурить. У меня самого накопилось к нему уже немало серьезных претензий. И одна из главных — слишком покорно старается он воплощать в жизнь наставления и инструкции этого самого “прогрессивного человечества”.

“Прочитайте эту книгу! — взволнованно взывает к россиянам итальянский журналист. — Это бесценный портрет целого правящего класса... Нравится это вам или нет, именно эти люди правили и продолжают править вами!” Большое спасибо за подсказку, г-н Кьеза! А то мы так бы и не сообразили обратить внимание на то, в какой стране мы живем и кто нами правит. Только... а не лучше ли было бы вам прежде, чем давать новые советы, припомнить, о чем писали, чему учили нас, темных, ваши “Ла Стампы” и “Свободы” в 1991 году?.. Свою нынешнюю демократию вы, помнится, начинали создавать с Нюрнбергского процесса, с роспуска фашистских партий, денацификации, запрета на профессии, чистки кадров, отлова тех, кто совершил преступления против человечества и человечности (не признавая срока давности при этом)? Когда же мы у себя в стране после подавления военного коммунистического путча пробовали робко заикнуться хотя бы об отдаленно похожих мерах, на нас вы обрушивали лавину гневных обличений и строгих поучений: “Не смейте заниматься ловлей ведьм!”, “Не опускайтесь до постыдной мести!”, “Не ограничивайте политических свобод для оппозиции!” и т.д. и т.п. И наши собственные либеральные СМИ — ваши старательные ученики (все сплошь — отличники!) на этот счет тоже такие плачи и стенания подняли, что растерялись мы, ступевались, ни одного из преступников кровавой хунты пальцем не тронули, кресла не лишили! Чего же вы, радетели и благодетели наши, сейчас-то круглые глаза по поводу отвратительности нынешнего нашего “правящего класса”

делаете? С неба он на нас не свалился. Тот же, что был при Сталине и Брежневе. С вашей помощью он уцелел и остался у кормил власти. Сейчас вот заканчивает раздел нашей собственности, приватизацией и структурной перестройкой промышленности это называется, с вашими правящими классами дружеские контакты налаживает... Что ему, этому “правлящему классу”, теперь помешать может делить — как хочется, жить — как нравится, то есть красиво, пить — сколько душа принимает? Ваши прекраснородушные статейки, что ли? Рассусоливания про то, как там у вас все чинно и благородно совершается, в отличие от нас, где все наоборот?

“Он рассказывает чудовищные вещи, которые в любой цивилизованной стране привели бы к немедленному аресту действующих лиц...” “В любой!” Так вот изящно выводят нас за рамки цивилизованности. Хотя мы тоже не одну газету “Завтра” почитываем. Знаем, что там, у цивилизованных, “рассказать про чудовищные вещи” еще не означает доказать их на суде, и тысячи гангстеров, о преступлениях которых всем хорошо известно, свободно гуляют у вас на свободе, интригуют в политике и устраивают пьянки не хуже наших.

Но все же не так открыто, нагло и удручающе безнаказанно это делают? Конечно. Однако не по вашим ли советам, не под вашим ли нажимом те, на кого выпала тяжкая миссия “вывода страны из коммунизма”, не получили ни недели для решительной очистки авгиевых конюшен и вместо выработки мер, *ведущих к демократии*, начали в угоду вам *имитировать* ее апогей? Вместо того, чтобы найти ее живые зерна в нашей почве и начать бережно выращивать из них плодоносное дерево, начали торопливо лепить декоративный муляж, мертвый манекен в смокинге с чужого плеча, с прилизанным пробором на пустой башке?

Уж лучше бы вы молчали, г-н Къеза, про “немедленные аресты” обнаруженных кем-то преступников! Суды наши срисовывались с фотографий ваших судов. И чтобы в одну минуту утвердить в России торжество правопорядка не хуже

западного, тех, кто вчера еще по указке сверху заполнял бездонные тюрьмы ГУЛАГа невинными людьми, разом наделили “независимостью”, “несменяемостью” и “неприкасаемостью”. Теперь ими управляют не КГБ и политбюро КПСС, а взятки и страх перед уголовниками. И выборы в парламент у нас, как в Европе — по партийным спискам! Закононосители наши тут оказались на высоте поставленных вами задач. Партий в стране нет, а народ заставили голосовать за их этикетки. Этикетки же у наших партий хорошие, проверенные, как у приличных людей. Вот и голосуют крестьяне — за Стародубцева, либералы — за Жириновского, а любители фруктов — за Явлинского.

Можно, конечно, народ за такое стыдить и презирать, только где ему, все еще не вышедшему из крепостного состояния, разобраться в практической бессмысленности и вредности ваших красивых рекомендаций! За вами ведь, вроде бы, стоит многовековой опыт демократии и сытости, которых всем хочется отпробовать прямо сейчас, здесь и полной ложкой. Вот и помогли вы, господа советники, нашему старо-новому правящему классу обдурить этих затюканных доверчивых горемык в очередной раз новыми лозунгами. А теперь еще и носом их тычете — смотрите, кто вами правит! Как вам не стыдно! Какие вы дикари!..

Что ж, гордиться нам собой пока трудно. Мы (как ваши предки когда-то, когда они только начали разламывать средневековые тиранические оковы, потом и кровью добывая для вас ваши нынешние правопорядок и изобилие) лишь начинаем продираемся сквозь колючую проволоку, которой в сто рядов огородила нас сталинская хунта, оставляя на ней, увы, не лоскуты фраков, а клочки кожи с мясом. Даст Бог, продеремся, если (кроме всего прочего) наши зарубежные доброхоты меньше мешать будут, добавляя к внутреннему разграблению еще и “наружное”, хватая нас в решительные минуты политической борьбы за руки и досаждая бессмысленными, раздражающими советами.

Ну как, спрашивается, не раздражаться, когда вы, к примеру, в очередной раз высокомерно обливаете нас презрением за пресловутый “расстрел Белого дома”, приводя это как образец нашего одичания. Может быть, вам, г-н Къеза, напомнить, сколь легко и весело небольшая шайка уголовников Муссолини промаршировала в свое время сквозь вашу прекрасную страну? А ведь в самом начале прихлопнуть их можно было одной ротой верных долгу и знающих свое дело солдат! Увы, не нашлось тогда в Италии решительных командиров, которые взяли бы на себя эту “грязную работу”, как вы изволите выражаться. В итоге грязью и кровью в три слоя вы покрыли всю Европу. И лишь наш малоцивилизованный народ, заплатив непомерную цену, сумел поставить в этом сюжете цивилизованную точку.

Тут вот еще что приходит в голову. Навязывая россиянам (из самых добрых побуждений, разумеется) свой образ жизни, свою мораль и принятые стандарты порывов души, западные наши коллеги должны, думается, не быть столь непоколебимо уверенными в том, что ценности их массовой культуры это и есть те “общечеловеческие ценности”, торжество которых и составляет высший смысл бытия. Западная пресса, например, может годами мусолить вопросы: похлопал ли президент одной из великих держав когда-то в молодости по заднице свою секретаршу или все-таки нет?.. Что предпочитает на завтрак, сидя в тюрьме, знаменитый убийца пятилетних девочек — бифштекс с кровью или спагетти по-сицилийски?.. У меня, прошу прощения, такая пресса и такие читатели вызывают не больше чем снисходительную брезгливость. Но если нравится публике разгонять скуку подобным образом, то на здоровье. Пусть разгоняет. Ничем страшным убогость ее интересов стабильному обществу не грозит. В наших же условиях, в нашей стране, где очумевший от непонятных ему политических катаклизмов и шараханий народ способен и Жириновского в президенты избрать только для того, чтобы Чубайсу досадить, и Ростроповича в экстазе борьбы с “оккупационным

режимом” на фонарном столбе повесить, эта сосредоточенность на поисках фактов с душком и шокирующей экзотики, этот увод общественного мнения от скучных серьезных социальных и экономических проблем реальной жизни в сферу интриг и скандалов, где пусть на заплеванных, но пьедесталах неизбежно оказываются не герои, а лакеи, чреват большими бедами и потерями.

Приглядитесь, на каких именно политических тусовках пается сейчас наш новоявленный “обличитель” пороков правящей верхушки и открыватель “спасительной правды”? Возле еще одного “обличителя” и “открывателя” экс-демократа Льва Рохлина! Как, вспомним, назывались в газетах статьи, посвященные этому “правдолюбцу”? “Генерал Рохлин благодарит коммунистов за доверие”... “Рохлин соединяется с Ачаловым и Тереховым”... “Антисемиты поддерживают Рохлина”...

Вот и получается, что, поднимая на щит книги, типа той, что так взволновала г-на Къеза, мы не только их авторам создаем рекламу, мы активно работаем на всю эту гоп-компанию: на рвущихся к реваншу коммунистов, политических террористов, антисемитов и т.д.

Все наши экстремисты, гэкачеписты, путчисты, жириновцы, сепаратисты не обрели бы, наверное, в нашей стране и трети своей пагубной влияния на ход событий, если бы западная общественность не держала их все эти годы в центре внимания, не рядила политическую шантрапу (порой — откровенных уголовников) во фраки политических деятелей, уютливо предоставляя трибуну для изложения их “взглядов”, устраивая им бесчисленные гастроли, беря бесконечные почтительные интервью по вопросам, в которых “шантрапа” смылит не более моего кота Тимоши, подкармливая их финансово, поддерживая морально и юридически (путем давления на руководство страны, например), создавая рекламу...

Не ведает “прогрессивное человечество”, что творит? Ему там, в его стабильном далеке, слишком сытно и скучно! Ему

надо подогревать себя “жареным”, шокирующим и устрашающим? Может быть. Но тут-то, живя по пять-десять лет среди нас, не пора ли начинать хоть немного “ведать”, чем для великой замученной экспериментами страны оборачивается стремление поразвлечься нашими бедами?

* * *

Это лишь маленький фрагмент из того постоянного диалога, который ведется нами с Западом каждодневно. Наш любовный роман с ним продолжается, хотя состояние восторженной увлеченности миновало. Даст Бог, до ненависти дело не дойдет.

Должны ли мы брать за основу всей своей жизни “западную модель”? Ну, всю-то уж зачем? Да и не получилось бы все равно, душа-то у нас та же осталась — русская. Тем паче “все” заимствовать — занятие странное. Иначе, перенимая у поживших людей их накопленную мудрость, нам пришлось бы обрести и их лысины с геморроем. Разумного на Западе много, перенимать у него есть что, поучиться есть чему. К примеру сказать, мы убедились, что каспийская нефть США и Европе куда важнее вопросов: победит ли в России демократия? Будем ли мы благоденствовать или передохнем с голоду?.. Вот этому у них пора научиться — уменю свято блюсти свой интерес, а благотворительностью заниматься лишь по утрам в воскресенье. К сожалению, у нас такое не получится. При всем желании. За то, “чтоб землю в Гренаде крестьянам отдать”, мы всегда готовы головы свои сложить по модели художника Верещагина, а вот чтобы своим крестьянам в своей России ее отдать — пальцем не пошевелим! Такие вот мы широкие и горячие. Нам бы еще поумнеть чуть-чуть. Но этому уж точно ни у Запада, ни у Востока не научишься. Это надо самим попробовать сделать — без заморских инструкций и “моделей”.

ПИСАТЕЛЬ И ВРЕМЯ

Геннадий Кагановский

“Я найду себе своё прекрасное...”**Юрий Галансков — уроки судьбы, силуэт времени***От автора*

Предлагаемый вниманию читателя историко-биографический очерк написан в 1989 году — в условиях уже пошатнувшейся, но все еще однопартийной, все еще “социалистической” системы. От Бреста до Владивостока “Союз нерушимый республик свободных” был по-прежнему озарен неотразимым прищуром Ильича и едва-едва начинал высвобождаться из-под пяты железного Феликса. Очерк посвящен Юрию Галанскову, одному из первых наших правозащитников, бесстрашному подвижнику вольного русского слова.

Я не внес сегодня в текст никаких коррекций — в надежде, что здесь и не требуется “поправка на время”, тем более что главенствующее место на этих страницах занимают высказывания самого Галанскова: фрагменты его писем, статей, посланий в правительственные и другие инстанции.

Январь 1998

“Разве я корчусь от боли? Нация — больна, а я только мгновенное ее выражение”. Эти слова пришли ко мне в одном из последних его писем из мордовского лагеря. Год спустя я взял эту фразу эпиграфом к стихотворению: оно родилось откликом на черную весть о гибели Юрия. Вскоре стихотворение попало на Запад и было напечатано в русском журнале “Посев”, о чем мне стало известно при собеседовании в КГБ, куда я был по такому случаю приглашен. В последующие годы крылатая фраза Юрия обрела самостоятельную жизнь, отдельно от его письма и от стихотворения, посвящен-

“Я НАЙДУ СЕБЕ СВОЁ ПРЕКРАСНОЕ...”

ного его памяти. Спрашиваю себя: в чем магнетизм этих слов? Никакой загадки тут нет. Речь идет о полном слиянии судьбы человека, его мученичества¹ с судьбой Родины. Это не просто фраза: она выверена всей жизнью и самой смертью Галанскова, его срезанной на корню поэзией, его идеями, казалось бы похороненными вместе с ним, но воскресающими теперь на новом витке истории.

I

Сейчас все мы вдруг прозрели, ни для кого не секрет: нация до того “занебудила”, что она уже не на грани катастрофы, а в пучине ее. Но в конце 50-х — начале 60-х об этом мало кто подозревал, а догадливые и прозорливые предпочитали помалкивать. Юрий Галансков был из тех немногих, кто, приняв на себя страшный болевой синдром России, силился поведать людям об угрозе, нависшей над страной. Он поднял свой голос — и был за то исключен из жизни, нещадно замучен, с кляпом во рту. Он сознательно пошел на самозаклание, как бы желая унести с собой все муки за МОРДОВанного Отечества. Погиб ради исцеления народа, который, однако же, хладнокровно переступил через его агонию. И по сей день, чуть не двадцать лет спустя, “на устах его печать”. Пришла эра гласности, а он по-прежнему безвестен и нем.

“Возвращенные имена” — у нас в большом ходу сегодня это выражение. У Юрия Галанскова и не было “имени”. Его слово и дело были изначально обречены на попрание, на безысходность. Фельетоны в московской и центральной печати (разумеется, инспирированные “органами”) клеймили его “отщепенством”, судебная экзекуция над ним получила резкий резонанс в прессе многих стран Европы и Америки, а спустя шесть лет, когда его не стало, прокатился новый вал возмущения и гнева: но — как поэт, публицист, автор глобальных замыслов и проектов — он все же не обрел “имени”. Кто он — Юрий Галансков?

Неистовый сторонник свободы — в урочный час он как должное воспринял стальную решетку и застенки. Влюбленный в

жизнь, он дорожил каждым ее мгновением, и — расстался с ней не колеблясь. Он был поэт, самобытный, яркий, но — наступив на горло своей песне, ушел в политику, в гражданское сопротивление тоталитаризму. Верный любящий сын — заодно с собственной жизнью он принес в жертву жизнь матери и отца, осудив их на самое страшное: пережить его. Можно спорить теперь — в чем он прав и в чем неправ, достиг ли чего своим подвигом или заведомо ожидали его не только гибель, но и бесплодие. Можно назвать его наивным мечтателем, но, как видно из новейших откровений и зигзагов истории, он был и удивительный реалист-провозвестник. Его мечта всегда сопрягалась с конкретным действием. От стихийного бунтарства, мятежности своих поэтических опытов он неуклонно шел к осмысленной и организованной борьбе с беззаконием, бесчеловечностью, с воинствующей тиранией лжи и демагогии. В последние месяцы перед арестом (случилось это 19 января 1967 года) его духоборство вылилось в намерение создать “второй полюс” — так назвал он предполагаемую структуру политической оппозиции. Чистая цельная душа, гармоничная личность, но не икона, не образец для подражания. Противоречия, недостатки, слабости у него как у всякого смертного — он плоть от плоти нашей обыденности. И все-таки похоже на то, что он шел единственно приемлемым для него, уготованным ему путем: *на голгофу*.

Люди испокон веков панически шарахались от всяческих привидений. Маркс и Энгельс, зачиная свой манифест фразой “Призрак бродит по Европе, призрак коммунизма”, вряд ли могли вообразить, каким и в самом деле кошмарным пугалом может обернуться для человечества этот фантом. Причем пугалом не мистического ряда, а самым что ни есть воплощенным, ставшим причиной гибели миллионов рабов Божьих.

Воскрешая ныне к новой жизни забытые и полузабытые имена тех, кто был отлучен от нас и загублен, мы должны сознавать: есть немало и таких духовных подвижников, страстотерпцев, которым при жизни вообще не довелось по-настоящему раскрыться, их

“Я найду себе своё прекрасное...”

подбили на взлете. Нам предстоит не “вспоминать”, не “возвращать” в культурный и общественный обиход их творения и деяния, а заново находить их (где это еще возможно) и отзывать из небытия. Юрий Тимофеевич Галансков не успел проявить и десятой доли своих способностей, а мы — за многие годы после его гибели не удосужились и не отважились открыть для себя хотя бы то “малое”, в чем он осуществился. Смее утверждать: по сути своей это *великое для нас наследство*.

Он не наживал себе политический капитал дешевыми и самоочевидными спекуляциями. Арсенал антикоммунизма, как и прочие “анти” и “контра”, был ему ни к чему. В школьные свои годы убежденный и активный комсомолец, штудировавший Ленина, Плеханова, Короленко (“История моего современника”), да и позднее выступавший вроде бы с позиций социализма, он интуитивно сознавал: корень социальной жизни не в тех или иных “измах”, а в глубинной и конкретизованной сущности идеологий, политических режимов, экономических систем, нравственных канонов. С недавней поры у нас провозглашено новое политическое мышление, мы пытаемся строить правовое государство, допускаем создание самостоятельных организаций, радикально преобразуем экономические структуры, ищем и находим общий язык с Западом, налаживаем взаимовыгодное сотрудничество, начинаем разоружаться... А ведь Юрий Галансков отстаивал все это еще четверть века назад. Именно за это и была отобрана у него свобода, а с ней и жизнь.

II

Когда-то в озорной прибалтненной песенке из кинофильма “На графских развалинах” прозвучали примерно такие слова, вышедшие из-под пера юного Евтушенко:

*Зубы мои клёвые,
Зубы молодые.
Вырву я здоровые,
Вставлю золотые.*

Наша история последних десятилетий — это как раз процедура вырывания здоровых молодых корней и вживления взамен этих корней золоченых “фиксов” блатного пошиба. Галанскову было 27 лет, когда железные клещи Лубянки выдернули его из наших “стройных рядов”. Это была не случайная, не единичная акция. Это был тщательно подготовленный фронтальный погром, попытка полного искоренения инакомыслия, правозащитного движения, Самиздата. Причем любые поползновения интеллигенции к протесту против бесчинства самовластья подлежали нещадному корчеванию, нередко с помощью коллег-“интеллектуалов”, руками “собратьев по перу”. Чтобы не быть голословным, беру в руки “Литературную Россию” от 1 мая 1968 и нахожу в ней официальную, без подписи, информацию под заголовком “Осуждение беспечности, беспринципности и клеветы”. Позволю себе привести несколько выдержек из этой анонимки.

17 апреля с.г. секретариат правления московской писательской организации обсудил на своем заседании вопрос о литераторах, подписавших заявления в защиту осужденных неких Гинзбурга, Галанскова и других...Подобный поступок со стороны ряда членов московской писательской организации вызвал у членов секретариата единодушное суровое осуждение...Секретариат отметил, что добровольные защитники отщепенцев дали пищу идеологической пропаганде злейших противников Советского государства, так как, будучи переправленными нелегально за рубеж путем предательских действий прямых организаторов этих писем и напечатанные там в различных буржуазных изданиях, они распространяются иностранными радиостанциями в специальном вещании на нашу страну с целью дискредитации советского образа жизни и желая спровоцировать неустойчивых и политически незрелых отдельных представителей советской интеллигенции, вызвать их на какую-либо антисоветскую акцию...

В связи со всем сказанным, а также исходя из того, что рассматриваемые письма и заявления свидетельствуют о нарушении их авторами устава Союза писателей СССР, который вменяет в обязанность его членов идейную борьбу против буржуазных и ревизионистских влияний, секретариат правления заявил, что он не может дальше мириться с подобной практикой безответственного поведения членов писательской организации... В решении секретариата говорится: “Не может называться советским писателем тот, кто не понимает всей полноты своей ответственности перед народом в период бескомпромиссного столкновения двух идеологий — социализма и капитализма”. Секретариат

“Я НАЙДУ СЕБЕ СВОЁ ПРЕКРАСНОЕ...”

постановил запросить объяснения от членов Союза писателей, связавших себя с делом Гинзбурга, Галанскова и других путем подписи всяческих заявлений. К рассмотрению этого вопроса секретариат вернется в индивидуальном порядке. Решение принято единогласно. В его обсуждении приняли участие С. Михалков, М. Алексеев, В. Росляков, В. Тельпугов, Б. Галин, Е. Книпович, В. Розов, С. Наровчатов, В. Ильин, Ю. Корольков.

Даже не верится сегодня, чтобы подобный бред мог звучать где-либо вне стен сумасшедшего дома. Впрочем, почему “вне”? Страну как раз и превратили в дурдом, стяжавший себе окаянную славу. Вот почему так чурались нас на планете: буйно помешанные обычно бывают дьявольски сильны и крайне опасны. Самое изумляющее в приведенном тексте то, что всю эту дубоязычную пачкотню творят писатели (!!), вершащие судилище не над бандой изуверов и кровопийц, а над своими же “союзниками”.

Но нельзя пройти мимо и такой приметы того времени: уже тогда в недрах самой КПСС нашлись “мутанты”, не только не пожелавшие молчать, но и сумевшие найти весомые аргументы в защиту свободы слова. Широкое хождение в Москве получило адресованное в ЦК партии письмо дотоле безвестного председателя колхоза из Латвии. Поводом для этого письма послужила опять-таки псевдосудебная расправа над Галансковым и его друзьями. Думаю, будет здесь нелишним пространное цитирование и этого документа.

...Я не могу судить о степени виновности лиц, так или иначе подвергшихся или подвергающихся репрессиям, ибо не располагаю достаточной информацией. Но в чем я твердо убежден и знаю — огромный вред причиняют партии и делу коммунизма в нашей стране, и не только в нашей, подобного рода судебные процессы, какой состоялся в Московском городском суде с 8 по 12 января с.г.

...Со времен Радищева суд над писателями в глазах передовых мыслящих людей всегда был мерзостью. Что думали наши доморощенные деятели, затыкая рот Солженицыну, придуриваясь над поэтом Вознесенским, наказывая каторгой Даниэля и Синявского, впуская КГБ в спектакль с “внутренними врагами”?.. Не шаркуны, не поддакивающая публика (о господи, сколько ее развелось!), не маменькины сынки будут определять судьбу нашего будущего, а именно бунтари, как самый энергичный, мужественный и принципиальный материал молодого поколения. Глупо в них видеть противников советской

власти, архиглупо гноить их в тюрьмах и издеваться над ними. Для партии такая линия равносильна самоудушению. Горе нам, если мы не сумеем договориться с этой молодежью. Это создаст, неизбежно создаст новую партию. Загляните немного в историю и вы убедитесь в этом. Нельзя идеи убивать ни пулями, ни тюрьмами, ни ссылками. Кто не понимает этого, тот не политик, тот не марксист...

Московский городской суд в последнем деле допустил грубейшие нарушения процессуальной законности. Прокурора Терехова, судью Миронова, коменданта суда Циркуненко следует должным образом наказать — в основном за болванизм и за злоупотребление властью. Нельзя добиться законности, нарушая законы. Мы никому не позволим протестировать наш советский суд, наши законы и наши права. Гнать таких “судей” в три шеи надо, ибо они причиняют советской власти больше вреда, чем НТС, Би-Би-Си и пр. вместе взятые. Пусть “Новый Мир” снова напечатает произведения Солженицына, пусть Серебрякова издаст в СССР свой “Смерч”, а Е. Гинзбург — “Крутой маршрут”, все равно их знают и читают, чего греха таить...

Я не хотел бы, чтобы это письмо обошли молчанием, ибо дело партии не может быть частным делом, личным делом и тем более второстепенным делом. Я считаю своим долгом коммуниста предупредить ЦК своей партии и настаиваю, чтобы с содержанием этого письма были ознакомлены все члены ЦК КПСС. Письмо адресовано тов. Суслову именно с этой целью.

С коммунистическим приветом!

23 января 1968 г.

И.А. Яхимович

Нетрудно представить, какую судьбу уготовил себе автор письма, хотя он и опирался в своих доводах на Ленина, на Декларацию прав человека, на Конституцию СССР, на “Памятную записку” Пальмиро Тольятти, опубликованную у нас при Хрущеве.

Началась брежне-андропо-щелоковская “эра”. Никита Хрущев, смело вызвавший к жизни брожение умов, вспоровший и всколыхнувший целину сталинщины, был еще жив, но пребывал уже в роли безучастного наблюдателя, нелегального мемуариста. Новая клика приступила к завинчиванию гаек на всех палубах, по всем отсекам и трюмам многоярусной тяжелогрузной посудины, шедшей без руля и без ветрил, но строго “к намеченной цели”. Тысячам и тысячам эзков, “нового призыва” суждено будет много лет отчаянно биться “решеткой о решетку” — грудной своей клеткой о клетку тюремную. Режим резко ужесточил-

“Я НАЙДУ СЕБЕ СВОЁ ПРЕКРАСНОЕ...”

ся вновь — как в Большой зоне (“на свободе”), так и в рассеянных по великой стране островках гулаговского архипелага. Ново-явленный шеф корпуса нежданармов развернулся во всю ширь и мощь своих возможностей. Он “зарекомендовал” себя еще в 1956 году при подавлении восстания в Венгрии, но это не помешало западным крутам в 1967-ом приветствовать его назначение на пост председателя КГБ и аттестовать его как высококультурного либерала, ценителя искусств, чуть ли не мецената.

Кстати говоря, после его кончины (ближе к середине 80-х, уже в ранге генерального правителя страны, под тяжестью увенчавших его лавров: вслед за венгерскими — лавры Чехословакии, Афганистана...) нашей публике с умилением была приоткрыта еще одна ипостась его многогранности: оказывается, он был еще и “поэт” — писал стихи о любви, природе, чести и достоинстве. В практической же работе, в делах государственных ему пришлось каждодневно рифмовать оголтелую демагогию с варварской дичью, изощренное лицемерие с многоходовыми провокациями, зачастую кровавыми, во всемирном раскладе. При нем карательные функции правящего клана были вновь возведены в узаконенный принцип и самоцель. В местах заключения к политическим “уголовникам” применили целый ряд новых дискриминаций, ущемлений, уже давно доведенных до садизма. То есть по воле могущественного стихотворца был взят прежний курс на прямое морально-физическое уничтожение оппонентов, только без “скуловорота”, без лишнего шума, экономя патроны и максимально используя рабский труд. Машина власти оказалась настолько инертной и безумной, что сама себя направляла под откос. Власть имущие не видели и не желали видеть: чем жестче режим, тем сильнее подспудный процесс его разложения, а чем интенсивней идет разложение, тем неизбежней еще более жесткий режим. Безудержная цепная реакция.

В жерновах этой чудовищной мельницы оказался и Юрий Галансков.

III

Мы именуем действовавшую у нас до сих пор структуру власти и управления *командно-административной* системой. Галансков трактовал ее гораздо более точно и откровенно — как *военно-полицейскую*. Военщина и жандармерия держат подвластные им народы в сатанинской летаргии, сковывая и тормозя развитие, парализуя духовные начала, высасывая соки, мгновенно подавляя любые очаги возмущения и неповиновения. В противовес этому монстру Юрий Галансков и его друзья выдвинули требования конституционных свобод, правового государства (лишь сегодня мы осмысливаем построение такого как первоочередную свою задачу). Правосознание, идеалы гуманизма и безусловной морали, принципы самостоятельных инициатив — все это очень рано завладело помыслами и намерениями Галанскова. Но был и кратковременный срыв в тупиковую идею силовой борьбы. Юра тогда уже успел “додуматься до той простой истины, что человек должен быть сильнее силы и умнее насилия”, и тем не менее примкнул к небольшой группе самоотверженных молодых людей (знакомство и дружба с ними завязались на знаменитом “Маяке”), решивших вступить на тропу политического террора. Я знал их всех, но не подозревал о тех “актах” (на верхнем уровне союзно-партийного руководства), которые готовились ими к исполнению. Как мне стало известно чуть позднее (от самого Юры), один из участников стовора, усомнившись в правомерности кровавой затеи, поделился своим сомнением с кем-то из родственников, и — на этом все было кончено. Если не считать “стукнувшего”, ареста избежал только Галансков. Желая как-то облегчить участь товарищей и заодно “искупить” свою свободу, Юра решил предостеречь чекистов от скоропалительных, чересчур жестоких мер и написал в КГБ письмо, примечательное во всех отношениях. Вот его фрагменты (я вообще постараюсь в данных заметках побольше давать слово самому Галанскову).

“Я НАЙДУ СЕБЕ СВОЁ ПРЕКРАСНОЕ...”

...Людей слишком много насильовали — ответной реакцией было сопротивление. Людей слишком много обманывали — и они привыкли ничему не верить. Самые благородные идеи потеряли всякую привлекательность, потому что эти идеи исходили из лживых уст плеяды мерзавцев и убийц. Чтобы правильно понять характер всякого нелегального, в том числе и террористического движения, необходимо правильно определить причины, породившие его... Широкое нелегальное движение невозможно, а отдельные, не связанные между собой организованные группы не могут достигнуть необходимого эффекта. Тогда людьми овладевает отчаянье, и они прибегают к последнему средству — террору...

До самого последнего времени об Органе у меня были представления, если и не такие, что там бьют и расстреливают борцов, то, во всяком случае, что там не очень-то станут разбираться, а будут сажать всех подряд...

Этим письмом Юра предпринял попытку повлиять на КГБ, поддержать в его работе ростки здравого смысла, свежие веянья, чтобы не упустить шанс на смягчение режима. В конце 50-х действительно ощущалась “законная” струя в действиях Комитета, в обновлении его кадров. Но инерция политического сыска, увы, сохранялась. Тогда же и мне, впервые, довелось испытать привод на Лубянку — по поводу моего рукописного памфлета “Золотая клетка”. Меня взяли прямо с занятий в техникуме. Помимо памфлета, разговор коснулся также моей пьесы “Живая радуга”, незадолго перед тем взятой у меня Роланом Быковым для Ленинградского театра имени Ленинского комсомола, где он был тогда главным режиссером. Пьесу еще и не репетировали, а органы уже ее знают и беспокоятся! Беседу, без какого-либо нажима и угроз, вели со мной двое сотрудников свежей хрущевской ротации. Они признались мне, что пришли в органы “с производства”, из инженерного корпуса, на смену прежней гвардии. После трех часов дружелюбной “разборки” я был с миром отпущен, обошлось без оргвыводов.

Но уже очень скоро, в новой расстановке сил на макушке власти, особенно после свержения “нашего дорогого Никиты Сергеевича”, репрессивный задор расцветет вновь пышным цветом. А пока — Галансков пишет на Лубянку о том, что арестованным надо дать возможность “не только признать

свои ошибки, но и самое главное — осознать их”; надо “показать, что в стране действительно восстановлены конституционные свободы”; надо “разбить предрассудок о тиранах из КГБ”; надо “нанести неотвратимый удар по терроризму” и в то же время требуется подтвердить, “что в стране действительно уважается человеческое достоинство, даже в таких тяжелых случаях”.

...И такие шаги нужно делать один за другим самым решительным образом. Нужно: но некоторые факты дают основание полагать, что люди и органы, от которых целиком и полностью зависит правильное решение данных вопросов, не имеют на этот счет твердого и принципиального убеждения. Например, сейчас среди молодежи появились слухи, что КГБ и какой-то орган при ЦК КПСС считают площадь Маяковского “рассадником антисоветчины” и что в связи с этим будут приняты “суровые меры”...

Почему на площади Маяковского создается ненормальная атмосфера? Причина всех ненормальностей кроется в неправильных действиях со стороны работников горкома ВЛКСМ и дружины. С их молчаливого согласия и по прямым указаниям зав. отделом пропаганды и агитации Харламова, а также начальника отряда Агаджанова, дружинники постоянно, без каких-либо на то оснований, задерживают людей, выкручивают руки, подвергают унижительным допросам, производят личные обыски, избивают... Но я не просто констатирую факты, я задаю себе вопрос: “Что делать?” — “Бороться”, — отвечаю себе я, и не только я. И нас никто не остановит. Организованно и планомерно мы нанесем удар за ударом не только по Харламовым, но и по всем, кто их будет поддерживать...

Напомню: это свое предупреждение Юра адресует без обиняков прямо в КГБ. Ну, а “слухи”, о которых он упомянул, подтвердились: “суровые меры” не заставили себя ждать. Продвинулся новый ледниковый период. Пресса ни словом не обмолвилась, даже не заикнулась о деле террористов, зато, как с цепи сорвавшись (конечно, по команде с Лубянки), дружной сворой накинулась на “смутьянов” — юных вольнодумцев и безбидных бузотеров, чуть не заходясь в бешеном лае и разухабистой брехне. Первые, пока еще робкие политические заглыванья сделали тогда психбольницы. На короткое время загребли туда и Галанскова. По выходе на волю он сдержал свое обещание — продолжил борьбу и боролся до конца, невзирая на травлю и разгул “психотерапии”.

IV

Еще в 1960–1961 годах он задумал создать независимую пацифистскую организацию. Ему было тогда чуть больше 20 лет. Это детище он вынашивал долгие годы, хотел даже начать выпуск антимилиитаристского журнала, что, конечно, стало бы вызовом тогдашней официозной доктрине. Готовя проект программы ВССВР (Всемирного союза сторонников всеобщего разоружения), он коснулся лозунга, выдвинутого американским генералом Дугласом Макартуром — объявить мировую войну вне закона. Вот что писал Юра по этому поводу.

...Закон, объявляющий мировую войну вне закона, имеет смысл только в том случае, если за ним незамедлительно последует *полное и всеобщее разоружение*. В противном случае этот закон превратится в пустую юридическую формальность, которая нисколько не устраняет возможности ядерной катастрофы, ибо, как и всякий закон, он может быть роковым образом нарушен...

Мы считаем, что не может быть дальнейшего развития цивилизации, пока мировая война не будет отменена. Запрещение ядерной войны и последующее незамедлительное полное и всеобщее разоружение приведут к коренным изменениям в структуре современного общества. Военный вопрос является узловым моментом современной международной политики, в силу чего он должен стать предметом исследования первостепенной важности...

В настоящее время стремление к максимальному наращиванию уничтожающего потенциала переплетается с тенденцией его концентрации на враждебно противоположных полюсах. Возникают блоки... В связи с этим нам кажется своевременной постановка вопроса о создании *нейтрального блока*, военный потенциал которого был бы полностью ликвидирован или доведен до величины, мало отличной от нуля... Нейтральный блок будет фактически клином, все более разъединяющим враждебные блоки...

Мы приступаем к практической деятельности... Мы должны способствовать формированию новейших общественных сил, которые навсегда покончат с войной. Наша деятельность должна послужить началом *международному институту разоружения*...

Галансков видел: движение сторонников мира в Советском Союзе носит сугубо бюрократический характер и “нацелено на выполнение узко специфической функции в общем пропагандистском механизме государства, что, естественно, обрекает это движение на бесплодность”. Он прекрасно сознавал, что уже сама попытка провозгласить любого рода самостоятельную структуру будет подвергнута административной расправе. В редакци-

онной статье собранного им альманаха “Феникс-66” (отпечатанного на машинке в нескольких экземплярах и послужившего вскоре прямым поводом для ареста) Юра писал:

...Создание такого союза в условиях тоталитарного государства равносильно прорыву в системе глобальной монополии на право организации... Система *глобальной монополии* теряет всякий смысл, превращается в систему *глобального торможения* и в силу этого, в зависимости от комбинаций общественных отношений, подлежит постепенной или ускоренной ликвидации. Так что создание *свободных организаций* в России — это процесс сложный, но исторически неизбежный...

Нетрудно убедиться, сколь актуальны сегодня эти соображения 25-летней давности. Но Галансков не останавливался на умозаклчениях, лежащих как бы на поверхности истины. В своей статье “Организационные проблемы движения” он затронул весьма тонкие и существенные вопросы сохранения мира.

...Сторонники всеобщего и полного разоружения должны ясно понимать, что разоружение и мир во всем мире не могут быть достигнуты в результате только политических усилий правительств, что всякие переговоры, соглашения и частичные уступки в вопросах мира и разоружения создают только иллюзию деятельности: дезориентируя, таким образом, общественное сознание, и что действительное полное и всеобщее разоружение и мир мыслимы и возможны только как *социально-психологический продукт экономического и нравственного развития человечества*...

На сегодняшний день жизнь человеческая слишком греховна, чтобы рай на земле мог быть утверджен в результате каких-либо переговоров и соглашений между прекрасодушными болтунами. Может быть, прекрасодушные политиканы и рады бы в рай — да грехи не пускают, поэтому все их демагогические призывы оказываются на деле лишь сентиментальной болтовней. И не случайно вся официальная и неофициальная политика ходит вокруг проблемы мира и разоружения, как кот вокруг горячего молока. Обычно говорят, что разоружение — гарантия мира, но это пустая фраза. Ибо только в международном масштабе организованная работа ради мира и крайнее напряжение всех миролюбивых сил являются единственной гарантией разоружения и мира. В мире современных противоречий разоружение просто не может быть достигнуто без соответствующей... *готовности жить в разоруженном мире*...

Никто не пожелал выслушать Галанскова. Только теперь начинают сбываться его идеи: натиск народной дипломатии, в смычке с подъемом общественных, религиозных, культурных, экологических, благотворительных и чисто миротворческих ор-

“Я найду себе своё прекрасное...”

ганизаций, сопрягаются наконец с усилиями державных правительств. Разоружение перестает быть сугубо военно-политическим аспектом.

Особую роль в деле разоружения Галансков отводил Организации Объединенных Наций как важнейшему инструменту народной дипломатии.

...ООН должна преодолеть ограничивающие ее деятельность рамки международного парламентаризма и пустить жизненные корни во все слои населения всех государств... Полное и всеобщее разоружение и мир во всем мире — основной вопрос современности. Поэтому в сфере международной деятельности ООН организационные и теоретические проблемы, связанные с этим вопросом, необходимо выделить особо.

В настоящее время работа ради мира организована совершенно неудовлетворительно и носит, в основном, или бюрократически-официозный, или стихийный и часто случайный характер. Организационный примитивизм сковывает возможности движения, не позволяет наладить связь и информацию, мешает разработке стратегических и тактических вопросов этого движения. В этом смысле прежде всего необходимо четко определить исходный принцип организации движения.

Движение за полное разоружение и мир во всем мире может быть организовано в форме единой массовой организации, непосредственно подчиненной Генеральной Ассамблее ООН или какому-либо другому главному органу ООН и, в силу этого, обладающей специфической организационной автономией и специфическим организационным иммунитетом... Обеспечить разоружение и мир, создать *общество разоруженных государств и умов* — задача чрезвычайно сложная. Для этого необходима работа, организованная в соответствии с масштабом и важностью поставленной задачи... Если мы позволим себе быть всего лишь “свидетелями” бесплодных разговоров о разоружении, то... мы вполне будем свидетелями, участниками и жертвами всеуничтожающей термоядерной войны...

V

Антивоенный настрой был обращен у Галанскова не только в область международных отношений. Гражданская война, развязанная после Октябрьского переворота, по существу так и не прекращалась все эти десятилетия, лишь изменяя свои масштабы, формы и степень питавшей ее ненависти. Хрущевская передышка, лишенная фундаментальной доктрины, оказалась бесперспективной, хотя и внесла в господствующий режим необратимые коррективы. Галансков органически не мог смириться с тем, что

“подонки времен культа”, “головотяпы в отставке” вновь захватили бразды правления, вновь взялись “тащить и не пущать”. Стремясь придать своей упряжи подобие законности, новая камарилья изловчилась подгонять Уголовный кодекс под свои воскрешенные тиранические амбиции. Галансков и другие *дети XX съезда* отважились бросить перчатку вызова этим апологетам и реставраторам сталинщины. Родилось, в частности, молодежное движение *5-е Декабря*, один из его лозунгов звучал так: “Требуйте принятия новой, демократической Конституции, после предварительного референдума!” Но ни выступления юных подвижников, ни ходатайства мировых звезд науки и культуры (А. Сахарова, Д. Шостаковича) не могли воспрепятствовать “законотворчеству” Ильича-2 и К^о. Галансков поместил в своем “Фениксе-66” заметку насчет Указа от 16 сентября 1966 года, который подводил “юридическую основу” под новую модель безостановочного конвейера репрессий.

...Власть упорно стремится создать правовую базу для обуздания стихийно развивающегося демократизма... Сам факт издания настоящего журнала уж, конечно, достаточный повод для применения какого-нибудь антидемократического закона или указа. Можете начинать!.. Вы можете выиграть этот бой, но все равно вы проиграете эту войну... Войну, которая уже началась и в которой справедливость победит неотвратимо, и никакие заведомо ложные измышления законов и указов не спасут предателей и мошенников.

В этой вызывающей по тону и смыслу заметке Галансков сделал также акцент на том, что “Феникс-66” содержит “криминальную статью недавно осужденного писателя А. Синявского “Что такое социалистический реализм”... и ряд других нежелательных для власти материалов”. Ключевое место среди “нежелательных для власти” текстов занимает “Открытое письмо делегату XXIII съезда КПСС М. Шолохову”, принадлежащее опять-таки перу самого Галанскова.

Поводом для этого послания послужила речь Нобелевского лауреата с трибуны съезда — “о месте писателя в общественной жизни”. В связи с недавним уголовным процессом над Синявским и Даниэлем венценосный “инженер человеческих душ” взял на

“Я НАЙДУ СЕБЕ СВОЁ ПРЕКРАСНОЕ...”

себя роль одиозно-махрового певца “памятных двадцатых годов, когда судили, не опираясь на строго разграниченные статьи Уголовного кодекса, а руководствуясь революционным правосознанием”. Развязно и нахраписто вдалбливал Шолохов в сознание многомиллионной аудитории братоубийственную психологию классовой ненависти, уже обескровившей и обездолившей народные массы, лишив их не только милосердия, но и здравого смысла. “Гуманизм, — возглашал Шолохов, — это отнюдь не слюнтяйство”. Галансков обратил внимание на то, что призывы Шолохова к новым и гораздо более суровым приговорам (в отношении непослушных интеллектуалов) проходили на съезде “под сплошные аплодисменты”.

...Я надеюсь, что вместе с позорной речью Шолохова историей не будут забыты и эти позорные аплодисменты... М. Шолохов не может представить себе советское государство иначе как в виде военной казармы, а Синявского и Даниэля он хотел бы, в свою очередь, выставить как предателей, вдруг появившихся в одном из подразделений этого государства-казармы, а именно — в Союзе советских писателей:

Михаил Шолохов отнюдь не случайно сползает на административно-полицейские аналогии... в то время как “революционно-гуманистические взгляды партии” перестали быть гуманистическими, народ низведен до скотского состояния, а мифический советский человек не удался в той же мере, в которой не удалась и сама советская власть... Сползая на военно-казарменные аналогии, М.Шолохов выдает себя с головой, обнаруживая психологию литературного кантониста...

То, что Шолохов мыслит Россию как единый всеобщий кантон, где люди с самого рождения принадлежат военному ведомству на основе крепостного права, и то, что в представлении Шолохова Союз советских писателей является одним из подразделений этого кантона, еще можно как-то понять. Однако совершенно непонятным является обвинение Синявского и Даниэля в предательстве, выдвинутое Шолоховым в его речи. Ведь Синявский и Даниэль в шолоховские кантоны никогда не записывались и никогда не давали присяги на верность военно-полицейской машине, которая по сей день занимается удушением свободы в России. Но истина не интересует Шолохова. Ему просто нужно обвинить Синявского и Даниэля в предательстве. Почему? Вероятно, потому, что у государственного обвинителя не хватило для этого морального авторитета. И вот, бросив на чашу весов всю массу своего авторитета, Нобелевский лауреат произносит свою позорную прокурорскую речь...

Чувствуя, вероятно, свою ничтожность в безнадежной борьбе с истиной, он обратился за помощью к делегатам от “парторганизаций родной Советской Армии”, объявляя расправу с “предателями” по законам военного трибунала

образом, достойным подражания... Вот уж поистине патологическое мышление! И, я бы сказал, социально опасное...

Вы, гражданин Шолохов, уже не писатель... Теперь вы просто медалист, прикрывающий своим сомнительным авторитетом кучку обанкротившихся политиков. И не примащивайтесь к величию и благородству русского народа. Вы позорите и его величие, и его благородство. К сожалению, таких писателей, присосавшихся к изможденному телу России, еще много... У людей вроде вас нет под ногами никакой социальной почвы, кроме аппарата насилия... Из-под ног аппарата насилия уплывает почва... Ни вам, ни аппарату насилия не на чем будет стоять, как только в России будут восстановлены свободы...

Процесс над Синявским и Даниэлем показал, по мнению Галанскова, что в лагере сторонников свободы творчества оказалось абсолютное большинство интеллигенции. Юра ссылается, в частности, на обращение Лидии Чуковской к Шолохову по поводу той же его трибунно-трибунальной речи. Вот ее слова:

...Литература уголовному суду неподсудна. Идеям следует противопоставлять идеи, а не лагеря и тюрьмы... Литература сама отомстит за себя, как мстит она всем, кто отступает от налагаемого ею трудного долга. Она приговорит вас к высшей мере наказания, существующей для художника, — к творческому бесплодию. И никакие почести, деньги, отечественные и международные премии не отвратят приговора от вашей головы...

Шолохов назвал Синявского и Даниэля клеветниками, которые “оболгали Родину и облили грязью самое святое для нас”. Галансков противопоставил этому обвинению еще один человеческий документ — “Письмо к старому другу”. Он при этом не раскрывал имен, но многим в то время был известен текст ходившего по рукам письма В. Каверина, адресатом которого был К. Федин.

...В мужестве Синявского и Даниэля, в их благородстве, в их победе есть капля и нашей с тобой крови, наших страданий, нашей борьбы против унижений, лжи, против убийц и предателей всех мастей. Ибо что такое клевета? И ты, и я — мы оба знаем сталинское время, лагеря уничтожения небывалого сверхгитлеровского размаха, Освенцим без печей, где погибли миллионы людей. Знаем растление, кровавое растление власти, которая, покаявшись, до сих пор не хочет сказать правду, хотя бы о деле Кирова. До каких пор! Может ли быть в правде прошлой нашей жизни граница, рубеж, после которого начинается клевета? Я утверждаю, что такой границы нет, утверждаю, что для сталинского времени понятие клеветы не может быть применено. Человеческий мозг не в силах вообразить тех преступлений, которые совершались...

“Я НАЙДУ СЕБЕ СВОЁ ПРЕКРАСНОЕ...”

Повесть Аржака-Даниэля “Говорит Москва”, с его исключительно удачным гоголевским сюжетом “дня открытых убийств”, вряд ли в чисто реалистическом плане может быть поставлена рядом со стенограммами XXII съезда партии, с тем, что было рассказано там. Тут уже не “день открытых убийств”, а “двадцать лет открытых убийств”...

VI

Пригвождая к позорному столбу “выразителя антикультурных и антилитературных устремлений существующего в России антидемократического режима”, Галансков провидчески заявил:

...Продавший душу дьяволу не может служить богам. А литература требует от писателя божественного откровения, искренности, истинности. И в какую бы бравую позу ни становился Шолохов, как бы ни изощрялся он симулировать откровение, — он никуда не уйдет от самого себя... И пусть никто не думает, что о деле Синявского и Даниэля поговорят-поговорят и забудут. Этот узел придется развязывать или разрубать... потому что без свободы вообще и без свободы творчества в частности дальнейшее успешное развитие России невозможно. Это придется сделать или это сделается само, какие бы препятствия тому ни чинили...

Попытки Шолохова оправдать прежние и новые жесточайшие репрессии (“слишком дорогой ценой досталось нам то, что мы завоевали, слишком дорога нам советская власть, чтобы мы позволили безнаказанно клеветать на нее и порочить ее”) Юра парирует метко и остроумно:

...Да, да — именно так! Миллионы замученных и убитых людей в сталинских лагерях уничтожения — это слишком дорогая цена за шолоховские казармы, в которых свободно можно только пальцем в ботинке пошевелить... этого-то уж фельдфебель не заметит...

При этом он делает резкий и неожиданный выпад против “некоторой части либеральных литераторов”. Они, по выражению Шолохова, “предлагают свои услуги и обращаются с просьбой отдать им на поруки осужденных отщепенцев”. Сознывая, что это “всего лишь тактический шаг” — ради освобождения товарищей по перу, — Галансков все-таки не скрывает своего презрения:

...Просить взять на поруки Синявского с Даниэлем — это все равно что просить взять на поруки справедливость и талант. Да ведь это же такое нищенство духа, такая затурканность и такая плебейская робость, мыслимая

разве что для страны, в которой почти начисто умерщвлено человеческое достоинство... Во всякой другой стране... известная часть литераторов в знак протеста просто вышла бы из "Союза советских писателей"... А у нас, видите ли, пишут жалостливые письма и спрашивают разрешения у насильников взять на поруки свободу и справедливость, как каких-нибудь мошенниц...

Но он не может не признать в этом "либеральном" жесте обнадеживающий симптом:

...Это протест пока еще рабов, но уже протест. Это пока еще рабые, но уже движение защитить свободу и справедливость...

И, кроме того, он неллицеприятно комментирует поведение Запада:

...Русская интеллигенция... подвергшаяся физической расправе и политическому угнетению во время сталинской диктатуры, интеллигенция, которая и в настоящее время ведет самоотверженную борьбу с военно-полицейским режимом, борьбу за минимальное обеспечение творческой свободы, эта интеллигенция никогда не простит западной культуре присуждения Нобелевской премии Шолохову, который, используя свой чрезмерно преувеличенный авторитет, встал на позиции, враждебные культуре и творческой свободе...

Не касаясь вопроса о том, в самом ли деле Шолохов был автором "Тихого Дона", Галансков берет на себя смелость утверждать, что Шолохов является

...лишь литературным отростком той идеологии, которая убивала литературу в двадцатые, тридцатые и пятидесятые годы и которая пытается душить ее сейчас. И вот, пожалуйста, литературный отросток идеологии, умертвившей отечественную литературу, увенчанный Нобелевской премией, с удвоенной энергией принимается за дальнейшее ее умерщвление, посмеиваясь над наивными представителями западной культуры, мол, "с этим уже привыкли считаться", "именно это и уважают всюду". Разве это не так?

В связи с приездом в Москву секретаря Европейского сообщества писателей Вигорелли, Галансков говорит: чтобы защитить свободу творчества в России, совсем не нужно ждать случая, "когда обнаглевший жандарм потащит в тюрьму очередную жертву". Здесь, конечно же, Юра предвидит и собственный удел.

...Современной молодой русской литературе (речь идет о свободной неофициальной словесности... Самиздате и Тамиздате. — Г.К.) необходимо систематически оказывать организационную, техническую, моральную и материальную поддержку. Западная культура не должна оставлять без внимания даже самые незначительные проявления произвола и насилия по отношению к представи-

“Я НАЙДУ СЕБЕ СВОЁ ПРЕКРАСНОЕ...”

телям русской литературной интеллигенции. Западная культура должна помнить, что в современной России литератор обречен на безграничный произвол властей.

С позиций присущего ему нравственного максимализма Галансков не приемлет фигур умолчания, намек, иносказания, доминирующих в лучших образцах легальной литературы; и, тем более, он не может пройти мимо неприкрытой фальши, полуправды, прямой лжи.

...До тех пор, пока в России не будет обеспечена на деле свобода творчества, свобода слова и свобода печати, литература может развиваться только минуя душегубки вроде ССП и официальные публикации, т.е. подпольно, ибо других возможностей у нее нет. А “при свете дня” в сегодняшней России может развиваться только мошенническая литература, начиная от примитивизма Михалкова (между прочим, он заявил: “Хорошо, что у нас есть органы госбезопасности, которые могут оградить нас от людей вроде Синявского и Даниэля”) и кончая более утонченными, модными псевдописателями и псевдопоэтами, получившими наконец-то возможность говорить полуправду и, таким образом, более утонченно симулировать истину.

Развенчивая главарей Союза писателей, цепных церберов литературы, которые под натиском свежих и здравых идей взывают с мольбой к режиму подавления (“Дорогая наша диктатура, не спеши слабеть и отмирать!” — из стихков С. Смирнова), Галансков подмечает:

...Это же визг литературной проститутки, насмерть перепуганной угрозой закрытия публичного дома... Дайте этим жуликам рычаги диктатуры, и она будет подлее сталинской. Они зарежут и задушат все живое... Для насильственного утверждения своей идеологической состоятельности фашизм непременно нуждается в фашистской диктатуре... Для торжества марксистской идеологии, видите ли, непременно нужна диктаторская дубинка, именно в стране, где эта идеология является официальной и единственной. Как странно все это, не правда ли?

По убеждению Галанскова, нельзя всерьез считать представителями русской литературы

людей типа С. Смирнова и С. Михалкова, когда один из них тянется к диктаторской дубинке, а другой выкрикивает проклятья, спрятавшись за спиной КГБ. И дико вообразить себе, что весь Союз советских писателей, как гнилой гриб, набит подобными червяками... Ей-богу, для отечественной литературы было бы гораздо безопаснее переместиться из Союза советских писателей прямо в КГБ, в архивах которого она, на мой взгляд, только и существует.

Итак:

— Можете начинать! — сказал властям Галансков, отсекая и завязывая пуповину своего новорожденного альманаха “Феникс-66”. Этот букет стихов, прозы, публицистики Юрий собирал по всей Москве среди молодежной пишущей братии, компоновал, организовывал машинопись, сам выстукивал дуперстно... И началось...

VII

Несколько последних лет, вплоть до ареста, он был разнорабочим в Литературном музее, что помещался тогда на Большой Якиманке. Я жил во дворе музея, мы виделись иногда по нескольку раз на день. Как-то в январе я шел домой, а Юра с Аликом (А.Гинзбург, ныне в эмиграции, сотрудничает в парижской газете “Русская мысль”) сбрасывали лопатами уголь с тротуара в полуподвальное окно музейного здания. Юра сказал мне, что у него и у Алика проведены обыски. Помимо других бумаг, у Юры был конфискован “Феникс”.

Примерно за неделю до этого, сидя за огромным старинным письменным столом, занимавшим половину его каморки в родительской трущобе, я познакомился с окончательным текстом альманаха. Жена Оля затеяла в тот вечер блины, вышло очень вкусно, обжигаяще нежно. У них был медовый месяц... И вот, похоже, всерьез запахло жареным, уже отнюдь не блинами. Расставаясь с Юрой и Аликом возле убывающей кучи угля, я сказал полушутя: “Может, еще свидимся”. Свидеться больше не пришлось. Медовый месяц был прерван...

Условно говоря, мы все-таки свиделись. Я дважды побывал на его могиле в мордовской глубинке. Мы ездили туда с его мамой — тетей Катей — и двоюродным братом Анатолием Викторовым. Среди сотен и тысяч безымянных оплывших могил, вроде волнистых диких дон, пристанище Юры выделялось огромным крестом, поставленным кем-то из заключенных еще в день похорон. Мы врыли по углам столбики, изготовив их в ближнем

“Я найду себе своё прекрасное...”

перелеске, и соорудили ограду из шпакетника, взятого с собой из Москвы. Крест проолифили, покрыли лаком... Но еще до того как увидеть этот крест, я услышал о нем — сразу после гибели Юры, от его сестры Лены и тети Кати: им была дана возможность срочно выехать в Мордовию для последнего прощания. Этот запавший в мое воображение крест продиктовал мне стихи, о которых я упомянул в самом начале. Позволю себе привести здесь дорогие мне строки.

Памяти друга

*Разве я корчусь от боли? Нация — больна,
а я только мгновенное ее выражение.
(Из письма Ю.Т. Галанскова)*

*В глухой Мордовии
есть малый бугорок.
Его еще трава
украсить не успела.
Нет имени на нем,
и нет к нему дорог.
В нем спрятано
измученное тело.*

*Березовый
топорный светлый крест,
луной облитый,
мягко стелет тени.
На комья глины
сеется с небес
слепое
безысходное смятенье.*

*Был человек —
и сын, и муж, и брат.
Он в Колокол Любви
сзывал весь мир на Вече..
Вдруг смолкло все.
Руинами скорбят
родные переулки
Москворечья.*

*Он из дому ушел
не волею своей.
Не волею своей
в земле чужой остался.
Уже в ночи
не щелкнет соловей —
в стальные рифмы,
как в силки, попался.*

*Был человек —
и сын, и муж, и брат.
А ныне — крест,
как изваянье птицы.
Вчера на том кресте
ты был распят,
а завтра —
будут на тебя молиться.*

19–20 ноября 1972 г.

По просьбе тети Кати, исходя также из собственных побуждений, я написал однажды Юре в лагерь, что он должен сохранить свою жизнь и что истинным подвигом в его положении будет не жертвенность, а обращение к властям о помиловании — не из покаяния, а только из-за крайнего нездоровья. Я рискнул заметить при этом, что, быть может, кому-то улыбается его гибель, ею можно будет козырять в политической игре, но родителям, друзьям и себе самому он нужен живой и только живой. Он ответил мне довольно резкой отповедью, в которой были, между прочим, уже приведенные выше слова о больной нации. Через какое-то время, когда его состояние стало явно критическим, я вновь написал ему о том же. На этот раз мой призыв остался вовсе без ответа (или ответ не дошел до меня по “капризным” почтовым каналам)...

А вначале, когда Юру только-только взяли, я не мог принять этот арест всерьез. Верней; не арест, а целую серию арестов. Казалось... это для острастки — ребят припугнут, подержат немного и отпустят. После Хрущева никак не верилось, что возможен возврат к тотальному зажиму и большой посадке. Но уже

“Я найду себе своё прекрасное...”

осуждены Синявский и Даниэль, снова выныривает Сталин, все идет вспять. И все-таки думалось: недоразумение, вот-вот разберутся, принесут извинения, пожмут руки, развезут по домам. Дни шли за днями, никаких вестей, и все больше ситуация стала походить на кошмарный сон. Спустя два месяца, в марте 1967, у меня родилось “Возвращение Лермонтова”, произносимое как бы от лица воскресшего поэта:

*Опять, распятая Россия,
тобою правит желтый сброд!
Опять мундиры голубые
гипнотизируют народ.*

*От Бреста до Владивостока
над каждым домом, каждым сном
горит недремлющее око
подозревающим огнем.*

*И каждое живое слово,
оброненный случайно вздох
тотчас становятся уловом
невидимых казенных блох.*

*Свободный Демон, дух сомненья,
давно, с подрезанным крылом,
чай гоняет, жрет печенье
за царским продувным столом.*

*Мне на ночь приткнуться негде
и некому в глаза взглянуть.
Передо мной, в подлунной неге,
кремнистый чешутся путь.*

*Тарантулов лощеных стая
над Родной моей парит.
И шепотом, дрожа и тая,
звезда с звездой говорит.*

*Затянутые маской лица
вновь жаждут в ступе кровь толючь.
И длится, длится, длится, длится
Варфоломеевская ночь.*

Вразрез всем процессуальным лимитам, следствие длилось целый год. Дело шло туго. Ведь непременно нужно было приправить это блюдо уголовщиной. На Западе шумели — и

по поводу арестов, и особенно в ходе судебного шоу (январь 1968). Один из общественных комитетов, выступавших в защиту Гинзбурга и Галанскова, возглавлял знаменитый старик, английский философ Бертран Рассел. В своем последнем слове на суде Алик просил об одном — чтоб ему дали срок не меньше, чем Юрию, а тот, в свою очередь, заявил... “Что касается Гинзбурга, то его невиновность настолько ясна, что решение суда по этому поводу не может вызывать сомнений”. После вынесения приговора (7 лет Галанскову, 5 — Гинзбургу) мы с А.Викторовым пошли на Центральный телеграф и послали свой протест на имя Генерального прокурора Руденко (того самого, что обвинял в Нюрнберге военных преступников — приспешников Гитлера). Таких телеграмм слетелось со всего света, думаю, немало, но вряд ли их кто и читал из высоких чинов, не говоря уж о том, чтоб это возымело какое-то действие.

Приговор вступил в силу, началось уничтожение неудобных на медленном огне. Получалось так, будто Родина-Мать не без сладострастия сживала со света собственных сыновей, любящих ее, беззаветно ей преданных.

VIII

Правозащитные выступления никогда не были для Галанскова чем-то отвлеченным, из области пресловутого “абстрактного гуманизма”. Так и в концлагере, за колочей проволокой. По ту и по эту сторону “запретки” — причин и поводов для отвоевывания человеческих прав хватало с лихвой.

В 1969 году Алику в очередной инстанции было отказано в бракосочетании с его фактической женой Ариной Жолковской, он объявил голодовку, присоединились товарищи по заключению, а Галансков, кроме того, направил пространную “телегу” в Прокуратуру СССР. Невзирая на свою тяжкую болезнь, рискуя навлечь на себя новые репрессии, а то и добавочный срок, он бичует “логику... извращенных бюрократически-полицействующих мозгов, готовых играть челове-

“Я НАЙДУ СЕБЕ СВОЁ ПРЕКРАСНОЕ...”

скими судьбами”, прибегающих к “мерзким издевательствам над правом каждого человека иметь и созидать свою семью”.

От частного случая дискриминации гражданских прав Гинзбурга (он к тому же “незаконно арестован и бездоказательно осужден”) Юрий переходит к общим вопросам содержания политзаключенных. Им запрещают зимой надевать что-либо, кроме спецодежды, их кормят гнильем и тухлятиной, обворовывая нагло и бесцеремонно, систематически подвергая явному и скрытому голоданию — белковому, витаминному, также и морально-духовному: они безбожно ограничены не только в получении продуктовых посылок, но и в переписке. Помимо того, администрация имеет возможность по своему произволу всячески ограничивать или вовсе отменять личные их свидания с родными, и без того сведенные до вопиющего минимума. Лагерный режим всецело направлен на подрыв здоровья заключенных, на воспитание в них ненависти к власти и правопорядку. Далее Галансков ставит закономерный вопрос: какая есть необходимость держать под дулами автоматов писателя Ю. Даниэля, преподавателя В. Платонова, бывшего директора школы Л. Бородина, историка и филолога В. Калниньша, инженера В. Ронкина?

...Если руководство страны находит, что наши действия для него нежелательны, как, например, действия марксистской группы “Колокол”, то после вмешательства органов КГБ оно могло бы осуществлять функции надзора по месту жительства, а не бросать нас за колючую проволоку... Мы не преступники. Мы — проявление существующей в стране оппозиции. Политическая оппозиция — естественное состояние всякого общества, необходимое состояние всякого социального развития, но когда инакомыслящих и политическую оппозицию вынуждают вставать на путь неофициальных и полулегальных действий, а потом, пользуясь трагизмом ее положения, репрессируют — это уже противоестественно.

Если бы Запад подавлял всех инакомыслящих и всякую политическую оппозицию и тем самым вынуждал ее встать на путь неофициальных, полулегальных и нелегальных действий, то вся коммунистическая оппозиция оказалась бы за колючей проволокой под дулами автоматов. Компартии Италии, Англии, Франции, Австралии и скандинавских стран отлично понимают это. Поэтому не случайно они все настоятельнее ставят вопрос о демократизации жизни в России. Анализ показывает, что в настоящее время компартии стран

Западной Европы фактически являются свободной оппозицией в системе международных коммунистических отношений...

Все большее количество коммунистов западных компартий начинают понимать, что от их принципиальности и бескомпромиссности... в значительной мере зависит характер эволюции правящей партии в России. От характера эволюции этой партии в значительной мере зависит судьба России, а от судьбы России сейчас решающим образом зависят судьбы мира.

Надо ли говорить, что ответом на это заявление, на голодовки и другие меры самозащиты заключенных были новые преследования, гонения? В июле шестьдесят девятого Ю. Даниэль и лидер “Союза коммунаров” В. Ронкин были переведены из мордовского лагеря во Владимирскую тюрьму. Такой вид наказания применим в особых случаях. Поведение Даниэля и Ронкина никак не “тянуло” на эту кару. По такому поводу Галансков написал новое обращение в одну из правительственных инстанций; оно непроизвольно переросло в острейший и весьма весомый трактат. Подробно обрисовав “дела” и личности обоих “провинившихся”, Юра приступил к прямому вскрытию всей системы политического насилия. Он сделал попытку обнажить природу и подоснову этой системы, объяснить механизм ее действия.

Он обратился далее к событию, потрясшему весь цивилизованный мир... вторжению войск пяти стран Варшавского пакта в Чехословакию и удушению “пражской весны”. Он писал свой трактат спустя почти год после вторжения, то есть мы имеем дело со взвешенным, всесторонне осмысленным подходом, подкрепленным еще и самим развитием политической реальности. (Именно “политической реальностью” назвал Людвик Свобода, президент республики, ввод союзных войск и призвал соотечественников к выдержке, дабы избежать кровопролития.) События в Чехословакии, констатирует Галансков, позволили вновь всплыть на поверхность российской политической жизни и обрести доминирующие позиции крайним догматическим элементам. †

Спекулируя на чешской “бузе”, наши ортодоксы пролезают к рычагам власти на всех ярусах бюрократической пирамиды. Они

“Я НАЙДУ СЕБЕ СВОЁ ПРЕКРАСНОЕ...”

пытаются вновь блокировать (пишет Галансков) легализацию нравственно-эстетического потенциала нации, затевают возню вокруг журнала “Новый мир”, ввергают общество в состояние нервозности, неуверенности, проводят и санкционируют бессмысленные аресты. Основной узел проблем нашей жизни сопряжен, по мнению Галанскова, с тем, что Россия сегодня — это страна единой государственной идеологии (“идеологии административной борьбы с идеями”), страна единой централизованной власти, тяготеющей к декларативности и доктринерству, чтобы и впредь сохранять свою монополию в ущерб национальным интересам.

Говоря о необходимости пересмотра дела “Союза коммунаров”, а также и собственного дела (“В свое время оно потрясет юристов!”), мечтая о том, что “когда-нибудь в России перестанут болтать о строгом соблюдении законности и начнут законность соблюдать”, Галансков делает решительный вывод: бессмысленно ставить вопрос о пересмотре отдельных дел — нужен пересмотр всей карательной политики, нужны демократические и личные свободы, нужна полная амнистия для лиц, осужденных по политическим и религиозным мотивам, нужен диалог с Западом, нужна эволюция КПСС, нужна наконец новая Конституция, над которой уже свыше 10 лет потеет конституционная комиссия, являя собой “потрясающий пример правового бесплодия”.

...Режим подавления и ограничения демократических и личных свобод означает подавление политической и экономической активности национальных сил, он давит и душит всякую творческую инициативу, убивает в человеке веру, лишает его надежд. Растерянность человека, потерявшего веру, его задавленность под обломками рухнувших надежд — есть распад магического кристалла мировоззрения и растрепанность души. Вот опасность, которая угрожает России изнутри.

Иногда говорят, что Запад разлагается от свободы. Вряд ли это так. Я бы сказал, что даже свобода не является достаточным средством, чтобы преодолеть те трудности, перед которыми оказался Запад сегодня.

Нам нужна свобода, чтобы развернуть национальную самоорганизацию. Нам нужна свобода, чтобы привести в движение

все необходимые механизмы, обслуживающие выполнение этой задачи. Нам нужна свобода, чтобы выполнить свои обязанности перед Россией и жизнью.

IX

Что пресекало его дыхание? Вроде бы ответ однозначен: его стубила неволя, надломил принудительный труд, изъязвила боль за Отечество. Но... Когда перечитываешь его мордовские письма последнего года, — становится как-то не по себе от нарастающей щемящей особой сквозной нотки.

Дело в том, что красный угол в своей жизни Галансков отвел дружбе. Включая и женскую дружбу-любовь. В тюрьме и лагере чувство дружбы, очной и заочной, обрело для него новую остроту, новую значимость и священный смысл. Ведь в заточении, по словам Юрия, человек понимает жизнь до ее последних глубин. “Отсюда, как с вершины, видишь человеческую трагикомедию и ее социальные формы”. Личность, вырванная из родного гнезда, внедряется здесь, через дикую боль и страшное напряжение, в сложнейшие пограничные ситуации. Компас совести проходит здесь крайнее испытание. Приводя в пример парадокс: “как легко можно носить тяжести и как трудно порой нести самую легкую ношу”, — Галансков полагал, что все тяготы каторжной жизни можно преодолеть, если сберечь от растленья святыни, пронести их в себе через эти круги ада. Здесь-то и подстерегал его, как мне видится, тот душевный надрыв и надлом, что в немалой мере предрешил и физическую катастрофу.

В лагере и в больничной зоне, куда его не раз отвозили при сильнейших обострениях болезни, ему довелось найти много новых друзей. Не просто активное общение, не только солидарность в противостоянии “административному восторгу”, но и взаимная забота, поддержка, помощь — продуктами, табаком, книгой, одеждой, зачастую отрывая от себя необходимое, последнее, — все это было нормой в отношениях друзей-политзаклю-

“Я НАЙДУ СЕБЕ СВОЁ ПРЕКРАСНОЕ...”

ченных. Они как могли старались доставить друг другу радость. Вот пример из письма Юры.

...Мой день рождения прошел здесь хорошо. Мы сделали салат из крапивы, одуванчиков, петрушки, укропа, ромашки. В эту зелень мы положили рыбные консервы в томате и залили всю эту прелесть подсолнечным маслом. Было очень вкусно... Мне сделали подарки. Леша подарил мне банку стуженного молока еще из лефортовских запасов и кисет табаку из тех же запасов... (Июль 1968.)

С нежной заботой и беспокойством думал Юра о матери. Достаточно сказать, что в 1972 году, уже в тяжелейшем состоянии, он нашел в себе силы отложить долгожданное свидание — с первых чисел августа на середину сентября, когда “не будет этой ужасной жары и духоты”: он не хотел, “чтобы мама задыхалась в дороге”. Не мог он не волноваться и о друзьях. Вот характерная фраза из письма родным: “Боль мешает писать и не дает собраться с мыслями... Досадно, что Алик заболел. Ему нужно своевременно лечиться, а то потом будет мучиться. Прошу писать о нем еще и подробнее”. (25.02.1971.) А вот слова из его письма на первом лагерном году: “Когда я ложусь спать... я говорю спокойной ночи всем, кого уважаю и люблю. Так что многие даже не подозревают, что ежедневно несу их в сердце своем:...” (16.07.1968.)

И каково же было ему убеждаться — чем дальше, тем все чаще и горше — в охлаждении, ослаблении многих прежних связей. Они стали вдруг подводить его, стали ржаветь, давать трещину. Даже и те друзья, кто делил с ним нары и баланду, те, с кем заодно он держал голодовки, бастовал, — даже и они, выходя на волю, втягиваясь в нелегкую суетную повседневность, очень быстро, причем незаметно для самих себя, погружались в тину беспамятства. Они, как правило, вновь отдавались борьбе за гражданское достоинство, вновь рисковали своей свободой, но конкретные судьбы оставшихся в неволе каторжан зачастую ввергались в забвение:

А началось это с любимой жены. После многомесячного следствия и псевдосудебной процедуры, уже в ритме “исправительно”-принудительного трудового режима, Юре суждено было

узнать... Оля отказалась от него. Перестала ему писать, ни разу не была на свидании*. О причинах не мне гадать. Как бы то ни было, судя по многим оттенкам его писем, и это исподволь убивало его.

Небезразличным было ему и то, что в тогдашнем климате всеобъемлющего страха кое-кто из друзей и близких просто не решался ему писать; правда, боялись обычно не столько за себя, сколько за семью, за детей, но, в общем-то, это была ущербная, малодушная перестраховка. Другие, конечно, и писали ему, и делали для него подписку на газеты и журналы, и старались добыть нужные книги, лекарства или, скажем, бульонные кубики, не раз буквально спасавшие его, но — при его редкостной чуткости и проницательности, да еще в кризисном состоянии — с некоторых пор он уловил с их стороны душок отчуждения, как если бы он становился им в тягость. Сперва он не принимал это близко к сердцу, находя их поведению разного рода естественные и психологические причины.

Чудаки вы... скромничаете и мало пишете. Пишите о жизни... о здоровье, о радостях и бедах, о любви, о винах, о кино, о погоде, о природе, о детях, о науке, о литературе, о религиозной философии, о театре. Можно подумать, что у нас здесь сидят не цензоры, а тигры, которые того и гляди вцепятся вам в руку... Да вы что, живете в лохматом веке!? Цензуру не интересуют человеческие вещи. Цензура, она для того, чтобы люди не писали ничего противозаконного. А ничего противозаконного я и слышать не хочу! Меня интересует жизнь во всем своем многообразии...

* Если кто-нибудь когда-либо наткнется в архивах МВД или КГБ на документ, который прямо или косвенно свидетельствовал бы о лагерном свидании Юры с женой, надо иметь в виду следующее. Свидание и в самом деле состоялось, но не с женой, а с Аидой Топешкиной... она поехала к Юре с паспортом его жены, и, что самое интересное, этот "номер" прошел. Надо сказать, Аида была наиболее доверенным и надежным другом Юры... Мне запомнилось, как однажды, "на заре туманной юности", мы по обыкновению встретились поздним вечером в Голутвинском переулке, и Юра в радостном возбуждении рассказал мне о девушке, с которой только что познакомился в компании друзей... у нее изумительные стихи, и вообще они сразу друг друга поняли. Это была Аида... Теперь она живет во Франции, но каждый год навещается в Россию. — Г.К.

“Я НАЙДУ СЕБЕ СВОЁ ПРЕКРАСНОЕ...”

Со временем, видя, что его “вольные” друзья по-прежнему пассивны, и все же рассчитывая на их содействие и помощь, он старался объяснить: от них¹ требуется очень немного — лишь капля внимания и капля участия.

...Только плохо очень, что наши знакомые почему-то друг на друга сердятся, не доверяют друг другу, не уважают и не любят друг друга. Я говорю им всем, что это очень досадно и в конце концов вредно. Я хотел бы сказать им всем без исключения: самые трудные ситуации, которые кажутся неразрешимыми с точки зрения индивидуального сознания, чаще всего разрешаются совокупностью быстрых и энергичных действий каждого. Чаще всего человек думает, что он не может сделать *всего*, поэтому не делает *ничего*, в то время как именно необходимо, чтобы каждый делал что-то посильное и доступное для него, не обременяющее его лично и не осложняющее его жизненного положения. Плохо, что люди не понимают, что это *нужно*. И еще хуже, что люди не понимают, что это *можно*. И даже *только это минимальное* необходимо и достаточно.

Письма к нему шли все реже и реже. Некоторые друзья и вовсе умолкали. Иные, продолжая писать, несли порой такую околесицу, что лучше бы и вовсе отложили перо. Одно такое письмо требует особого разговора. Галанскову с трудом дался на него ответ, и не только потому, что жить оставалось всего семь месяцев. Может, как раз он жил бы и жил, если бы не подобные объяснения с друзьями.

Х

В своем ответном письме, весьма пространным и крайне резком, он обращается к конкретному человеку (тезке — Юрию К.), но это *отповедь всему поколению*, а в первую очередь — *садистскому режиму*, изуродовавшему миллионы обманутых и насильно завербованных душ. На чистую воду Галансков выводит не имярек, а обобщенного субъекта, который взялся учить людей уму-разуму, развязно иронизируя насчет того, что ему совершенно неведомо.

Этот шут гороховый (здесь и ниже пользуюсь лексиконом и стилем юриного письма) не хочет знать той простой истины, что живая жизнь умнее его и кого бы то ни было. Его грязная

писанина преисполнена глупости, хамства и скотства, мерзких домыслов о поверженных гладиаторах. Она всецело сплетена из дубовых фраз и куцых мыслишек о “системе нормативных актов”, о том, что “закон есть закон” и что существует “порядок, единый для всех”. Эти призрачные ажурные сети призваны завуалировать и оправдать систему-западню, которая отказывает людям в праве иметь собственные чувства, принципы, убеждения, свою совесть, не дает им элементарной возможности совершать самостоятельные поступки, определять свою судьбу.

Моральный калека, невменяемый монстр, пещерный человек, кретин с высшим образованием (галансковские эпитеты и ярлыки вызывающе хлестки, но, ей-богу, по-дружески незлобивы — это знают отлично все приятели Юры), К. мыслит шутовскими категориями и пошлыми штампами, куражась между “двенадцатью стульями” и вокруг “золотого тельца”, в жалкой претензии на остроумие и просвещенность. Все его “разоблачительные” выпады раздевают его самого и никого более. Употребив его манеру “образной” эксплуатации ильфо-петровских романов, Галансков говорит: ты, стоящий на лестничной клетке перед собственноручно захлопнутой дверью, ставишь себя в стыдное положение — ты совершенно голый и твое пошлое шутовство не прикрывает твоей позорной наготы, и спрятаться тебе некуда, при чтении твоего письма возникает ощущение грязи, хочется вымыть руки.

Стремясь найти хоть какое-то объяснение стряпне К., перечитывая его письмо вновь и вновь, Галансков продолжает: твой мозг — разбитое зеркало, он не в состоянии усвоить и отразить полноценный образ реальности; ты наглеешь, пытаешься поучать людей, которые ничуть не глупее тебя, ты оскорбляешь людские чувства, выстраданные в невзгодах и лишениях; ты, должно быть, очень вырастаешь в собственных глазах, когда пытаешься принизить других; сказав одну пакость, ты так и норовишь ляпнуть другую; над тобой не смеются только потому, что люди не жестоки, но, извини, тебя не могут не одернуть, хотя морду бить, может быть, не станут:

“Я НАЙДУ СЕБЕ СВОЁ ПРЕКРАСНОЕ...”

А в конце этого страстного монолога, несмотря ни на что, Галансков легко и просто переходит вдруг на истинно дружеский, поразительно человеческий тон.

...Милый Юра. Подумай, пожалуйста. Это трудно, конечно, но ты уж постарайся. И вот еще просьба. Это письмо не исключает возможности ответной полемики... мысль об ответной полемике пугает меня до ужаса. Ты уж, пожалуйста, пожалей меня. И воздержись от пикирования... спокойно пиши, не увлекайся, не входи в раж... Да и отвечать мне трудно. Болею я. Ваш Ю. Галансков. Пос. Озерный, 31 марта 1972 г.

Получал он и пострашней удары от тех, кого считал своими друзьями. Я имею в виду, в первую очередь, Лешу Д. (того самого, что подарил Юре в день рождения банку сгущенки и кисет табаку из лефортовских запасов), чью роль в аресте Галанскова и во всем этом “деле” будущим историкам еще предстоит раскрыть и как следует изучить. Пока же — приведу кусочек свидетельства из первых рук (письмо самого Галанскова).

...Теперь о Леше... он безусловно дрянь, и от таких людей нужно держаться подальше... На войне жертвы не останавливают, на войне очень часто обрекают людей на мучения и гибель. А он, безусловно, мыслит логикой войны, хотя и кривляется при этом в духе самой низкопробной бесовщины... И более, чем вывихам его мышления, нужно удивляться времени, когда эти вывихи, это кроважидное извращенство кажутся нормой, имеют свою логику вещей и свою мораль. И его позиция не просто абсурд, не будем строить иллюзий на этот счет...

Это очень показательно у Юры: за всеми пороками, слабостями, противоречиями людей он усматривает облик времени, эпохи, общий нравственный климат в данной геоисторической реалии. Он не винит друзей и знакомых в равнодушии — его тревожит и удручает чуть не повальное, почти закономерное *расчеловеченье* человечества. И все-таки: если внимательно перечесть письма Юры последних месяцев (разным адресатам), в них проступает отпечаток глубокой уязвленности *холоднокровием* некоторых друзей. Не буду вдаваться в подробности, здесь им не место. Обозначу пунктиром развитие этой боли.

...никаких писем из Москвы нет. Досадно. Только от мамы милые закорючки с открытками... Меня, кроме мамы с папой, особенно-то никто не ждет...

...Я сейчас, к сожалению, болею. Это весьма досадно и больно. Но я стараюсь поправиться. Во многом мое здоровье зависит от вашей помощи... Почему от Алика нет писем?..

...Мама, конечно, беспокоится, и это огорчает меня более всего. Но... даже написать письмо для нее не так-то просто. Написать адрес на конверте она должна попросить кого-то. Поэтому ее беспокойство всегда мучительно сознавать. И совсем другое дело — друзья, знакомые. Нельзя сказать, чтобы я был зол на них... Скорее, пожалуй, мне невозможно думать о них без чувства некоторой досады, возмущения и раздражения. Проходят вспышки возмущения, но постоянно остается общий фон досады и безнадежности... Лежу почти месяц здесь... Я просил прислать прямо в письме, растерев, черники сухой. Это нужно было сразу же... Даже в малых количествах это было бы мне нужно. Я очень ждал. И просил об этом не просто скуки ради... а в связи с крайней нуждой. Я знал, что ты достанешь те травы, которые есть в аптеках. Но я знал и другое. Я знал, что появится сотня всяких препятствий и проволочек с получением их. И я не ошибся. Травы будут лежать, я буду болен:

...Алик писал, что у него есть желание сопровождать моих (*на свидание*. — Г.К.). Сможет ли он? Я в этом не очень уверен... Кстати сказать, за все время я получил от него несколько открыток, но никаких писем от него не получал. Теперь он совсем обо мне забыл. Вот уже четвертый месяц — ничего! Ни одной открытки...

...Я вот ругался, а сам думаю, у Алика скоро ребенок родится. Своих забот и хлопот прибавится. Не до меня ему сейчас. Я уж как-нибудь доживу свое. И, пожалуй, не стану ему морочить голову. И пусть он не обижается. У нас все жарко. Хочется прохлады. Со здоровьем терпимо...

Со здоровьем терпимо, — пишет Юра и не знает: жить ему два месяца с небольшим. Впрочем, так ли уж не знает? Разве не сквозит обреченность в его словах: “как-нибудь доживу свое”? Отчаянье, безнадежная подавленность — такое состояние было чуждо ему, жизнелюбу и оптимисту, но родилось оно не вдруг, и связано оно не только и не столько с кризисом здоровья. Да и отдаление друзей было скорее не причиной его крушения, а лишь новым штрихом и сигналом большой *катастрофы*.

XI

Раньше, на втором году заточения, Юра констатировал четко и убежденно: “мы потеряли градусник нашей нравственности, мы нравственно больные люди, не знаем, что с нами происходит,

“Я найду себе своё прекрасное...”

верим в термометр, но не верим друг в друга, в добро, а ведь добро абсолютно, оно для всех добро и ничем другим ни для кого быть не может” (26.04.1969)¹. Теперь, на шестом году лагеря, на последнем году жизни — напомним: ему шел 33-й год — нет-нет да и охватывает его смутное беспокойство, тесня и сковывая привычную убежденность в том, что скоро он вернется домой живым и свободным. В одном из писем той поры он приводит стихи великого Гельдерлина:

*Там повстречают меня
голос Родины,
матери голос
Звук, произвизвший меня
и стародавнее вновь
мне воротивший!
Вы живы, родные.
Да, все цветет, что цвело,
но любящих всех и живущих
верности вечный закон
свято хранит от беды
И единственный дар,
под священной радугой мира
явленный,
всех наградит —
юношей и стариков.
Речь бессвязна моя.
Но это от радости.
Завтра
выйдем мы снова бродить
в наши живые поля.
Там, под цветами дерев,
в дыхании праздников веших,
заговорю...*

И добавляет... “Да, завтра... Заговорю ли? Иногда это меня беспокоит, даже невероятным кажется. И в то же время есть вера и уверенность. И как мне знать, что значит беспокойство и вера, какая в этом связь? Что беспокоит веру?” Потом такая реплика... “Сегодня 20 января. Завтра еду в больницу. 19 января — оста-

лось два года. Сегодня уже меньше, а с весной на лето останется еще меньше:” Он считает каждый свой лагерный день — которые позади и которые впереди. Осталось два года, полагает он. Два года — до *свободной жизни*. Но, как покажет судьба, оставалось уже не два — меньше одного: до *свободы без жизни*. Он предчувствовал это — вот и беспокойство, и разуверенье. А между тем — *“верности вечный закон и священная радуга мира”* живут в его душе, он устремлен в завтра. Но сегодня... Беспокойство неуклонно сползает в смятение. Подчас он и слов теперь не находит нужных, чтоб хоть как-то выразить свое новое состояние, новое миропониманье. “Беда в том, что нет человека, — сетует он в одном из последних писем. — Головы я найти не могу...” В том же письме (самом, пожалуй, отчаянном, пиковом, переломном) есть и такие исповедальные слова:

...Иногда в жизни завязывается столько мучительных узлов, и уже не в человеческих силах их развязать или разрубить. И тогда отвлечься от всех этих хитросплетений судьбы — наилучший, может быть, выход из чертовщины. Участие — не всегда истина. Часто истина в неучастии. К сожалению, человек не всегда в состоянии убежать от очередной вспышки чертовщины. Она наступает его, душит, окружает, и он стораает, как лань в огне лесного пожара...

Вряд ли есть смысл подвергать здесь дешифровке эти высказыванья. Что он имеет в виду под “чертовщиной”? О каком “участии”-“неучастии” говорит? Несомненно одно... он прикасается к некоей *сердцевине*, балансирует над *бездной*, ведет речь о *самом сокровенном*. И главное для нас — понять весь накал и трагизм его внутреннего настроя. “Как все изменилось за эти годы... Бог мой, как все стало сложно!”, — восклицает он. Можно подумать, что изменилось не “все”, а прежде всего он сам. Можно предположить, что он надорвался, сломлен, усомнился в своей правоте, в правоте того дела, которому себя посвятил. Но, как бы предвосхищая подобные версии, он говорит (в том же письме, хотя вроде бы в иной связи)... “В своих чувствах я человек постоянный:” Несмотря на все свое смятение, при неотступных физических страданиях, погружаясь по спирали в новые и новые глубины ада и пекла, — он до конца

“Я НАЙДУ СЕБЕ СВОЁ ПРЕКРАСНОЕ...”

так и остался верен самому себе, своим близким и друзьям, своим идеалам. А мы?..

Он очень хотел жить. Будучи в гибельном тупике, он обратился к Международному Красному Кресту и в Комиссию по правам человека, призывая мировую общественность привлечь внимание государственных и судебных органов СССР к невыносимости его положения.

...Я болен язвенной болезнью двенадцатиперстной кишки... Условиями строгого режима я фактически лишен какой-либо реальной возможности получать необходимые мне продукты питания от родных и близких... Каждый мой день — мученье... Я молчал пять лет... Но пошел уже шестой год мучений. Мое здоровье непрерывно ухудшается. В результате систематического многолетнего недоедания, недосыпания и нервного перенапряжения процесс язвенной болезни осложнился заболеванием печени, кишечника, сердца и т.д. Пять лет меня мучили в заключении — я терпел и молчал. Оставшиеся два года меня будут убивать... Не могу об этом молчать...

Дойди это обращение вовремя до кого бы то ни было — быть может, голос гибнущего поэта прозвучал бы сильно и широко и вызвал бы эхо спасения. Но вопль о помощи был поглощен ватной стеной всеобщего отчуждения, безразличия. Агония длилась еще более восьми месяцев. Никто не пришел на помощь, если не считать нож хирурга, положивший конец всему... и мучениям, и жизни...

XII

Мы не знаем почти ничего о самых последних днях Галанскова, когда вконец истощенного сверхзатяжным двойным голодом (от скудости рациона и от невозможности из-за болезни воспринять хотя бы одну треть непотребной казенной пищи), истерзанного пыткой бессонницы из-за постоянных страшных болей, сгибавших его в три погибели... — его дважды подряд, с минимальным интервалом, кинули на операционный стол под наточенный скальпель, который уже заведомо не мог спасти, а мог стать лишь дополнительной пыткой, впрочем последней. Мы не знаем — был ли Юра в сознании, о чем он успел в эти дни и мгновенья передумать, что смог выкрикнуть и прошептать...

Он был один на один с болью и смертью, никого рядом из родных и близких. Все это невозможно нам даже вообразить. Но все-таки мы должны и обязаны представить себе — что он завещал нам, какой урок преподнес: и словом своим, и судьбой. Пока я не вижу хотя бы намек на то, что этот урок пошел нам впрок. Вот один пример.

В книге “Юрий Галансков”, старательно собранной и хорошо изданной в ФРГ в 1980 году, есть в числе прочих воспоминания Е.Вагина, одного из бывших политзаключенных, осужденного в 60-х годах на 8 лет строгого режима за принадлежность разгромленному в Ленинграде ВСХСОНу (Всероссийскому социал-христианскому союзу освобождения народа). Воспоминания яркие, емкие, искренние, однако не во всем бесспорные. Один абзац не только насторожил, но и сокрушил меня. Даже не весь абзац, а последняя его фраза: “Как я слышал еще в лагере, вскоре после смерти Галанскова Шурер был досрочно освобожден и, кажется, восстановлен в прежнем воинском звании”. Меня поразила и потрясла та легкость, с которой мемуарист (сам подвергшийся незаконному преследованию, обвинению и бесчеловечному наказанию) обрушивает на этого Шурера страшное публичное обвинение.

Сперва он представил нам Шурера как одного из заключенных, бывшего подполковника (“или даже полковника”) медицинской службы, хирурга с многолетним стажем, осужденного по обвинению во взятках и сидевшего в “бытовой” зоне с уголовниками; надзиратель приводил его в хирургический барак больницы зоны, где он делал операции, с которыми справлялся успешно. Вагин свидетельствует, что именно Шурер оперировал Юру (с летальным исходом) и что Юра был не только знаком с этим хирургом, но и “досконально знал его дело и давал ему ценные советы касательно пересмотра приговора”.

Вслед за тем, без малейшего обоснования, лишь ссылаясь на то, что он “слышал”, и на то, что ему “кажется”, Вагин запросто и как бы походя приписывает Шуреру чудовищное ампула пред-

“Я НАЙДУ СЕБЕ СВОЁ ПРЕКРАСНОЕ...”

намеренного корыстного убийцы на операционном столе — ради собственного досрочного освобождения и восстановления в воинском звании...

Галансков никогда не позволил бы себе такое... огульно и принародно обвинить человека в кровавом и гнусном преступлении, опираясь на ничуть не проверенные, ничем не подтвержденные, а главное — совершенно неправдоподобные домыслы. Ни психологически, ни политически, ни ситуационно эта версия не выдерживает критерия истинности. Она (версия) играет на дешевых струнах обывательского политиканства да еще на трепетном и ранимом инструменте русского национального чувства, поскольку Шурер — слишком “подозрительная” фамилия. Галансков никогда не опускался до подобного рода низкопробных, да и любых, инсинуаций. Да, он был настоящим русским патриотом, но всю жизнь он был и гражданином мира, великим гуманистом, отвергавшим малейшие подвижки к шовинизму.

Я не знаю ни Шурера, ни Вагина, ни обстоятельств и подробностей гибели Галанскова, но таким вот образом, как это делает Вагин, мараť окровавленным дегтем кого бы то ни было — это ведь уподобленье тому “правосознанию”, которое уже загубило у нас миллионы ни в чем не повинных душ. Это та же зараза и эпидемия, которой Галансков и его сотоварищи, в том числе Вагин, бросили самоотверженный вызов; а теперь, выходит, кто-то из них не прочь стать разносчиком, проводником, наследником этой поразившей их черной силы, черной немочи?! Нет, Галансков тут ни при чем, его в эту компанию вы уж, пожалуйста, не зачисляйте, пользуясь тем, что сам он теперь возразить не сможет. Такие и подобные “умозаключенья” о кончине Галанскова — лишь новые удары ему в сердце, да еще со спины, “благородным манером”.

Юра боролся и дрался за жизнь — свою и нашу всеобщую, а мы, своим моральным склерозом, неразборчивостью в средствах,

зачастую прямой подлостью, сперва подталкивали его в яму, а теперь еще и добиваем его, уже обращенного в прах.

Еще уточнение. Отводя нарек от Шурера как бездоказательный, безответственный и недостойный памяти Галанскова, я вовсе не пекусь о том, чтобы избавить от лишнего позорного пятна репутацию КГБ, единственно вероятного и возможного инициатора хирургической “акции”, если бы таковая и впрямь имела место. Сей Комитет в любом случае, с Шурером или без Шурера, несет ответ за гибель Галанскова. Однако ж не будем умалчивать и о том, что все мы — и те, кто держал в руках обращение узника в Красный Крест, но не дал хода этому документу, и те, кто попросту забывал черкнуть лишнее письмецо заточенному другу, — все мы соучастники убийства.

Мы и сейчас продолжаем ранить и убивать его. Убиваем тем, что его могила в мордовской глуши — в запустении*. Тем, что и в пору гласности не можем и не пытаемся дать ему право голоса, пусть с опозданием на четверть века. Его идеи, проекты, стихи всё еще под сукном, в долгом ящике — вместо того чтоб работать на дело мира и братства, на нашу свободу и достоинство. Убиваем его нашей разобщенностью, междоусобными дразгмами, взаимными обидами, подковырками, подчас и враждой, а больше всего — нашей пассивностью, хроническим бездействием.

Говорю об этом не для того, чтоб каяться, рвать на себе волосы. Поздно. Мы не вправе сегодня даже и оплакивать его. И не только потому, что поздно и лицемерно. Его нельзя и не надо оплакивать хотя бы потому, что он *нашел свое прекрасное*. В стране, повисшей, так сказать, над пропастью во лжи, — *нашел*. Через удел великомученика, борца, мыслителя, проповедника,

* Теперь это уже не так: в конце августа 1991 (спустя несколько дней после бесславного большевистского путча) останки поэта-политзаключенного вместе с надгробным крестом удалось доставить из Мордовии в родную Москву, состоялось отпевание в храме Ильи Пророка, а на площади Маяковского был проведен многолюдный митинг, после чего Ю. Галансков нашел последний приют на Котляковском кладбище. — Г.К.

“Я НАЙДУ СЕБЕ СВОЁ ПРЕКРАСНОЕ...”

поэта, изгоя, каторжника, через неустанные искания, сквозь строй противоречий, сомнений, заблуждений, разочарований и ошибок — *нашел*. Его предчувствие прекрасного, надежда на прекрасное — все это *сбылось*. Потому что он ни на миг не изменил этой мечте и цели. Он верил в это и, значит, обладал этим. Впрочем, *только он сам и ведает — сбылось или не сбылось*.

XIII

Оказавшись на острие раскаленного времени, корчась от нестерпимой и непрестанной боли, он видел спасительную нить (для себя и для человечества) на пути к божественной вере, к идеальной нравственности. Но всей полноты веры как таковой, чисто религиозного упования он в себе не находил.

“*Всякая религия, — писал он, — это гигантская величественная проекция гигантского величия человеческого духа. Развернутый атеизмом уже не может верить в это величие... Нам недоступно то гармоничное состояние, которого достигает обыкновенная старуха в церкви. Никакие наши речи не могут сравниться с молитвой, ибо все наши речи — формализм, не опирающийся хоть на тысячную долю той веры, на которой основаны все молитвы...*” Он говорил о том, что торжество прагматизма в отношениях между людьми “разбивает магический кристалл мировоззрения, растлевает личность, ввергает ее в хаос суетной конъюнктуры”. Люди в этом “очумевшем мире” хватаются за все и не могут насытиться ничем, бездумно и невольно предаваясь стихии “животных реакций и рыночных комбинаций”.

Говоря о том, что мы вновь обращаем свои взоры к Богу, Галансков выделяет два варианта боговосприятия: “Или Бог есть и Он постоянно постигается людьми, или Бог есть потому, что он создан законами человеческого мышления и психики. Материализм и атеизм легко могут игнорировать первое, но второе просто отрицать — невозможно. Ведь невозможно отрицать законы человеческого мышления...”

Похоже на то, что живой образ Бога остался все-таки вне прямого восприятия Галанскова. “К сожалению, я вряд ли могу писать о Боге и христианстве, — признался он однажды, — ибо я, если и не атеист, то в своем роде язычник, что ли...” И добавил тут же: “Я, конечно, и христианин, ибо наша культура сложилась в лоне христианства. Только в этом смысле”. То есть он расписывается в своем безверии, хотя и явно сокрушаясь об этом. “Мы уроды в изуродованном мире, — говорит он. — И самое удивительное в том, что все это для нас так естественно, так близко, что мы начинаем думать... вот она, жизнь настоящая... А жизнь ли это? По-моему, это скорее распад и умирание; по-моему, это кошмар жизни, в котором мечется раздавленный и распадающийся человек. Человек-несчастье. Человек без веры и надежд”.

Постоянно возвращаясь в своих рассуждениях к проблеме веры, Галансков задается резонным вопросом... “Почему эта вера или есть, или ее нет, почему одним дано верить, а другим нет? Как это получается?”

В поисках причин массового отупения, утраты духовных высот и глубин Галансков приходит к довольно-таки крамольным для того времени посылам (а кому-то и ныне его выводы будут неким раздражителем, “вражьем голосом”, “идеологической диверсией”):

...Мы сегодня привыкли понимать нашу жизнь как какой-нибудь исторический процесс смены формаций, где какая-нибудь классовая борьба является локомотивом истории или где имеют место эволюция и революция. Методологически мы приучены сквозь призму социального (базис, надстройка или просто общество) пытаться понять нашу жизнь, ее развитие, ее трудности, ее модели. Мы без конца, например, будем говорить о социальных причинах возникновения фашизма и все же ничего не поймем. Мы совсем не способны взглянуть на жизнь сквозь призму религии, расы, культуры, психологии и логики, антропологии и биологии. Разве можно понять природу фашизма в социально-классовом анализе? Никогда!

Не находя в себе первозданного божественного чувства, Галансков искал спасения в обожествлении родного дома, материнства, семьи, любви, дружбы, девственной природы.

“Я НАЙДУ СЕБЕ СВОЁ ПРЕКРАСНОЕ...”

...Мне ближе, например, Петров-Водкин. Например, его “Мать”. Смотришь и начинаешь понимать трагедию современного общества. Эмансипированные дуры и изуродованные шлюхи. Страшно! Я это не из ханжества говорю. Нет. Эти дуры и шлюхи — наша жизнь. В моем понимании — это испытание, которое человечество должно пережить и изжить. Всему этому будет естественный конец, когда переоценка ценностей станет неизбежностью во имя семьи как первичной завязи человеческих отношений:

Нельзя не упомянуть здесь о любви-дружбе Галанскова с Минной Стефановной Попенковой. Дружбе, пронесенной через все завихренья бурных, изломанных, порожистых исторических течений. Дружбе, не перечеркнутой и могильной чертой. За несколько месяцев до последнего вздоха Юра писал:

...Ах, Минна, Минна! Что говоришь ты? Как могу я забыть юность свою, и было бы в ней столько всего красивого и хорошего, — если бы не ты? Должно быть, Господь Бог послал мне вас с Валентином (*Валентин Хромов — поэт, переводчик, знаток искусств, один из ближайших друзей Юры — Г.К.*). И вы с ним — добрые Ангелы моей жизни. Моя юность... Она, как серебряная рыбка, задыхалась бы в каком-нибудь помойном ведре, если бы не ты. Твои птицы-записки прилетали ко мне и уносили меня на своих крыльях в поэзию, в живопись, в жизнь. Твой зовущий голос вдруг слышался в телефонной трубке и приглашал на чей-нибудь день рождения, на какой-нибудь вечер, на выставку, к кому-нибудь, куда-нибудь. Разве не ты каждый раз протягивала мне руку, звала, увлекала... И в конце концов выпатила из трясины, которая засасывает и губит людей миллионами. Разве не ты — спасла? Спасла для жизни, для виденья ее многоцветья, ее острых граней, раздирающего драматизма...

Можно с полной уверенностью сказать: женская любовь-дружба стала в жизни Галанскова поэтической основой его *прекрасного*.

Что касается мужской дружбы, она играла в его судьбе не меньшую, хотя, конечно, совсем иную роль. И до ареста, и в лагере у него была неисчислимая масса друзей — хороших, близких, надежных, случайных, всяких. “У меня могут быть отношения с самыми разными людьми, — читаем в одном из его мордовских писем. — Но есть люди, которых я принимаю целиком и полностью. Принимаю их такими, какие они есть... Принимаю в сиянии и в грязи... Принимаю в здоровье и в болезни...” Он и сам оставался таким, каков он есть. Но случались иной раз досадные сбои. Остановлюсь на одной такой “фальшивой ноте”,

получившей своеобразный резонанс в перипетиях теперешней общественной смуты.

XIV

Необычайную близость дано было испытать Галанскову в лагерном и больничном общении с группой осужденных по делу вышеупомянутого ВСХСОНа. Это были молодые люди высокого интеллекта, огромной внутренней силы. Один до ареста окончил аспирантуру и преподавал в Ленинградском университете, другой был директором школы в Сибири, потом под Ленинградом (теперь он набирает известность как талантливый прозаик)... Вечерами ходившая по кругу большая, черная от нагара кружка или просто стеклянная банка, дымясь черным кофе, крепким чаем ("закон железный — только два глотка"), соединяла их братским, невыразимо глубоким и мощным чувством. Оно скреплялось самозабвенным пением русских народных песен. Особенно полубилась и удавалась им задушевная протяжная "Лучинушка". В одном из писем 1969 года Юра так характеризовал своих новых друзей... "Они называют себя социал-христианами, утверждают, что православие — это мышление русского народа и что Россия спасет мир от всякого разврата. Так они думают, и они очень верят в это. Только говорят обо всем этом сложнее и умнее. Ребята хорошие".

В этот начальный период дружбы, при всей симпатии и расположенности к хорошим ребятам, он все-таки мыслит себя пока еще отдельно от них, в его интонации проскальзывает некоторый скепсис. Однако уже год спустя в его письмах не остается и следа недоверия к их идеям. Наоборот, Юра настойчиво говорит теперь об алтарях и очагах Отечества, о пробуждении русского национального чувства и эмоциональной базе русского национализма. Такой акцент был бы, конечно, вполне понятен и естествен, когда бы при этом Юра не стал подпускать шпилек неким "денационализированным Лотрекам" и не впадал бы в грубовато-примитивную схему, выставляя русскую "минорность" (!?) в противовес западной "мажорности" (!?). Прежде Юра избегал такого рода

“Я НАЙДУ СЕБЕ СВОЁ ПРЕКРАСНОЕ...”

схем и сопоставлений, и уж тем более ему не было присуще всячески пестуемое, а то и смакуемое самоумиление национального сознания (что не исключает и самобичеванья — наиболее, пожалуй, тугой пружины самолюбования и самовозвеличения). Как мне представляется, Юра всем существом впитывал этот пафос от новых друзей, принимая их “целиком и полностью... какие они есть”. Отсюда тот сбой, о котором речь... в национальном вопросе Юра стал порой высказываться как бы не своим голосом, используя прельщающие своей броской простотой стереотипы мышления.

Обидно было мне встретить в одном из писем Юры искусственно построенные суждения, что, мол, “французы, немцы, англичане, японцы, китайцы и т.д.”, случись им собраться со всего света и поселиться в России, будут “кое-как учить русский язык, кое-как говорить на нем”, а через некоторое время начнут “даже писать книжки” и станут называть себя русскими писателями, а между тем будут “лишь проводить свои интересы и всего лишь утверждать себя”, а интересы России, русской нации окажутся в полнейшем загоне и небрежении, останется одна “видимость существования русской литературы, языка, культуры”, произойдет “подмена”, умышленная подмена, катастрофичная для России. (Знаменательная деталь: у Юры не повернулось перо, чтобы в перечне инородцев назвать и евреев, хотя именно евреи еще со времен Гоголя и Достоевского служат доминирующим объектом подобных домыслов, а также “оргвыводов”).

Такая вот, истари ставшая трафаретной, но и поныне вздымаемая во главу угла попытка объяснить трагедию русского народа присутствием и действиями “неметчины”. Теория эта, исповедуемая хорошими ребятами, не ведет ни к чему иному, кроме как к новым общенародным крушениям и катаклизмам. Ратуя вроде бы за возрождение России, она в сущности подрывает корневую и кровеносную систему нации, ведь по меркам этой теории выходят “нечистыми”, “инородными” многие вершины

русского духа... Пушкин, Лермонтов, Даль, Жуковский, Фет, Левитан, Бунин, Куприн, Блок, Ахматова, Мандельштам... всех не перечислишь.

Хорошие ребята никак не хотят (или не отваживаются) признать *факт*: как и всякая этническая “чистота”, чистота русского духа и крови — понятие мифологическое, более чем относительное; само по себе возникновение, становление и развитие России — это история взаимовлияния, взаимослияния, взаимообновления множества народов и народностей, коренных и пришлых.

К счастью, Галансков неизменно отторгал любые фальшивые направления мысли. Дозволив себе однажды высказывание (опять же явно взятое напрокат), что славянам надо побольше рожать “будущих солдат” и быть вообще более плодовитыми, “а то плодятся сплошь желтолицы”, из-за чего-де “нарушено всякое равновесие и смещены все демографические пропорции”, — Юра сразу увидел, что сбился на волчью тропу, и, проникшись самоиронией, расценил в том же письме собственные тирады как “имперские”, осиянные “блеском военизированного ума”, то есть поймал себя на державно-милитаристской амбиции, против чего он всю жизнь восставал.

Ни в коей мере не хочу выпячивать его сбой (чем-то напоминающий его юношеский кратковременный срыв в идейные тенета террора). Наоборот, беру на себя решимость заявить: Галансков ни на гран не изменил своим гуманным убеждениям. Он мог блуждать в лабиринтах отвлеченных идей, но всегда оставался на твердой почве земных людских чаяний, не оступаясь в хляби межнациональных и тому подобных антипатий, склок, озлоблений. Наносные влияния не коснулись его сердца, совести. “*Я найду себе свое хорошее, — звучал его голос из-за колючей проволоки, — я найду себе свое прекрасное. Я буду радоваться в радости своей и печалиться в своей печали. Мне моей души хватит для меня, а кроме души у меня есть еще мир, в котором много всего удивительного...*”

XV

В последние год-два он все внимательней приглядывался к живой природе, вдумываясь в соотнесенность естества и цивилизации. В природе он хотел видеть долго ускользавшее от него чудо Провидения, гармонию Верховного Творца. Может, Божественный корень человека следует искать в первородстве и первозданности всего живого и неживого? Не случайно Юре запомнилась услышанная в лагере фраза одного латышского священника... “*Радуга — это Божий пояс*”.

Делая главный упор на практической деятельности, — говорил Галансков, — мы развиваемся от изб до небоскребов, но не гармоничнее ли улитки прячут себя в великолепных раковинах?

Мы можем погубить себя разными способами — в ядерной войне, в нарушении экологического равновесия или в демографических взрывах, и все потому, полагает Галансков, что мы “оказались в плену социальной гипертрофии, все более вырывая себя из природы, разрушая себя в своей биологической основе”.

Где оптимальная гармония? — вопрошает поэт. “Может быть, раковина, звериная шкурка, сети паука, муравейник и т.д. — более мудрое состояние, чем изба, платье, провода и рельсы, города?..”

Все эти вопросы зависали, конечно, без ответа. Галансков задавал их самому себе, но также и нам, мечущимся ныне по земле, в которую он безвременно ушел. Искать свое хорошее, свое прекрасное — вот что завещал он нам. Мы должны обратиться к урокам *его судьбы, его пытливого сердца*.

Первое, чему учит нас его опыт, его пример... умение опережать время, угадывать и предвидеть опасности и угрозы, нависающие над людьми, над всем миром.

Так, в социально-политическом и нравственном разрезе, полагая приемлемыми состязание и противоборство идей, движений, нам пора бы исключить столкновения людей, их партийных и прочих иерархичных структур. В преддверии третьего тысячелетия в равной мере изживают себя (по моему убеждению) как

однопартийные, авторитарные системы, так и хваленые многопартийные. Новое миросознание должно исключить все формы мышления кастового, элитарного.

Кастовая, элитарная психология непременно толкает нас к розни, вражде, конфронтации; она должна уступить место на мировой арене психологии глобально-экологической, психологии единого этноса и единой заповедной морали (что нисколько не противоречит национальному самоутверждению, саморазвитию).

Все разнонаправленные течения мысли могут и должны ложиться в руслу тех или иных органов прессы, телевидения, радиовещания, но не концентрироваться и воспламеняться во враждующих политических группировках. Мы можем позволить себе идейный антагонизм, но не ненависть, не насилие и войну. Идея семьи, любви, братства, для которой нет и не может быть “чужаков”, “выродков”, “преступников”, — вот с каким багажом согласится принять нас новая эпоха, ожидающая человечество на пороге двух веков и двух тысячелетий.

Чтобы достичь такого состояния, нам требуется миролюбие на всех уровнях — и в международном плане, и у домашнего очага, и в душевном устройстве каждой личности. Требуется демонтаж не только чудовищной военной машины — необходимо разоружение нравов, образа мысли, всего мирового уклада жизни.

Чтобы открыть дверь в эру всеобщего братства, сотрудничества и благоденствия, надо признать также потребность в переходе к самоуправлению, опять-таки на обусловленной законом беспартийной основе.

Второй урок видится мне вот в чем. Судьбы таких людей, как Юрий Галансков и Анатолий Марченко, Илья Габай и Петр Григоренко, не говоря об Андрее Сахарове и Александре Солженицыне, свидетельствуют о том, что на Земле не перевелись и не переведутся вовек истые подвижники. Но это вовсе не значит, что мы не изведем их под корень, если и впредь будем перевозлагать на них все муки подвига, все тяготы противления злу. Мы будем наносить своим защитникам и спасителям самые болез-

“Я НАЙДУ СЕБЕ СВОЁ ПРЕКРАСНОЕ...”

ненные, роковые раны, если не очнемся от социальной апатии, нравственной заторможенности, оголтелого вещизма. Единицам не под силу вращать земной шар, им нужна всеобщая поддержка. Нескоро придут иные времена, иные нравы, если каждый из нас не сделает свой посильный шаг навстречу грядущей заре.

И третий урок, самый, быть может, сложный, но и наиболее перспективный. На исходе второго тысячелетия христианского летоисчисления нам предстоит уразуметь и органически ощутить, что пределы наших устремлений к свободе, демократии, научному миропониманию уже не могут вполне нас устроить, уравновесить наш внутренний непокой.

Даже и пресечение идущей из глубины веков цепочки злодеяний и кровопролитий, несправедливой иерархии людских прав и моральных ценностей — не конечная наша цель и, тем паче, не самоцель. Рано или поздно мы поймем... нам надо выходить на сверхзадачу, на *таинство*, на совершенно новые, запредельные уровни видения мира, его постижения и освоения, надо проникать в новые глубины самосознания, самочувствования.

Каждому из нас, если мы хотим быть и оставаться людьми, нужны дерзновенные “полеты во сне и наяву”. Нам не обойтись при этом без гибкого доброго юмора, без отважной и зрелой иронии к сотворенным нами же окаменелым идолам и кумирам, догмам и шорам. Пока не одолеем их гипнотическую и деспотичную власть над нами, до тех пор не обретем настоящей раскованности, не вырвемся из объятий и пут духовного рабства и пресмыкательства.

Слова Юрия Галанскова о хорошем и прекрасном — это как раз и есть мечта о *запредельном постижении окружающего мира* через юдоль обыкновенной земной тщеты...

Одна святыня должна остаться незыблемой, неприкосновенной: созвездие *заповедей*, дающих нам высший, Божественный закон бытия.

Среди тех, кто в ноябре 1972 года подписал некролог по случаю кончины Галанскова, был академик Сахаров. А спустя

семнадцать лет в многотысячном шествии, провожавшем Андрея Дмитриевича, я увидел Веру Лашкову, некогда юную подельницу Юры, осужденную вместе с ним. На мой взгляд, это самая незаметная и самая достойная из невольниц чести и свободы... Вера — в полном смысле этого слова. Она шла вслед за гробом Всечеловека, бережно прикрывая от ветра пламя своей свечи. Эта трепетная свеча в ее руках дала мне понять, что дело любви и мира, просвещенного народоправия — дело, за которое отдали жизнь многие узники совести, как всемирно известные, так и безымянные, — эта священная миссия живет и продолжается...

И опять, в довершение разговора, слово берет Юрий Галансков. Заклочительная глава поэмы 1960 года, в которой он, двадцатилетним юношей, предвосхитил свой крестный путь, и гибель, и бессмертие:

*Привыкли видеть,
расхаживая
вдоль улиц в свободный час,
лица, жизнью изгаженные,
такие же, как и у вас.*

*И вдруг —
словно грома раскаты
и словно явление миру Христа,
восстал,
растоптанная и распятая,
Человеческая Красота!*

*Это — я,
призывающий к правде и бунту,
не желающий больше служить,
рву ваши черные пути,
сотканые из лжи!*

*Это — я,
законом закованный,
кричу Человеческий Манифест!
И пусть мне ворон выклевывает
на мраморе тела
крест.*

Игорь Минутко

Возвращение Анатолия Кузнецова*

Литературное эссе

VII

Несостоявшийся четвертый английский — или европейский — период творчества писателя Кузнецова. Не состоявшийся в том смысле, что за десять лет, которые прожил Анатолий Васильевич в Лондоне, он не издал ни одной книги, не опубликовал в периодике ни одного рассказа, ни одной повести. Если не считать неудачной попытки в соавторстве, кажется с каким-то чехом, сочинить нечто модное, в стиле поисков “новой английской волны”. Был провал, полная неудача.

Наверное, следует сказать: кажется, случилось именно так. Кажется... Наверное...

Для этой главы у меня нет личных наблюдений. Сведения и факты, очень скудные, которыми сейчас я буду оперировать, добывались из разных источников, не всегда проверенных. Тут будут предположения, допуски. Думаю, для этой главы мне дали бы интересный материал беседы с коллегами Анатолия Васильевича по журналу “Юность”, эмигрировавшими на Запад — Василием Аксеновым, Анатолием Гладилиным или с Владимиром Максимовым.** Если, конечно, у них там были контакты с Кузнецовым. А не исключено, что контактов не

* Окончание. Начало № 184, № 185.

** Когда я работал над этими воспоминаниями, редактор “Континента” Владимир Максимов был жив...

было... Но это уже вторжение в ненаписанную главу: “КГБ и Анатолий Кузнецов”. Надо подождать...

А пока лишь факты.

Итак, за десять эмигрантских лет — ни одного произведения художественной прозы. Во всяком случае, Анатолий Кузнецов ничего не издал. Может быть, рукописи и есть в его лондонском архиве...

Главное занятие Анатолия Васильевича — и источник вполне безбедного существования в Англии — радиожурналистика. Двести тридцать три беседы по радио “Свобода”. Со своей передачей он регулярно выходил в эфир один раз в неделю. Я слышал лишь некоторые из них, всего, наверное, не более десяти. Но и по ним вполне можно судить, каким журналистом на радио был Кузнецов. Блестящим. Глубоким, философски-неожиданным, многогранным, афористичным, всегда интересным, виртуозно овладевшим новым для него трудным, специфическим жанром. В каждом выступлении ощущалась тщательность, продуманность, упорство, с которыми радиожурналист работал над своими передачами.

Сейчас все двести тридцать три беседы сыном писателя Алексеем Кузнецовым подготовлены для издания отдельной книгой (они переданы ему, как наследнику, руководством радио “Свобода” в собственность); возможно, книга будет дополнена открытками, которые Анатолий Васильевич посылал своей матери в Киев и из Англии, и из других стран, в которых он бывал. Когда выйдет это издание, мы в полной мере сможем оценить Кузнецова в новом для него жанре. В любом случае, нас ждет интересное, познавательное чтение.

А пока я, для примера, приведу полностью одну радиобеседу Анатолия Васильевича — она, в новом для него жанре, как мне кажется, и характерна для писателя, и немало добавляет к тому, что уже сказано о нем в этом эссе.

Итак, радио “Свобода”, 11 декабря 1972 года, у микрофона Анатолий Кузнецов:

“Работая над романом “Бабий Яр”, я подсчитал, что за два года немецкой оккупации Киева, к своим четырнадцати годам, я совершил столько преступлений, что меня надо было расстрелять двадцать раз. Об этом в романе есть глава: “Сколько раз меня нужно расстрелять?”

По немецким приказам того времени, например, грозил расстрел за выход на улицу после шести часов вечера. Многих расстреляли. И я выходил, но не попался на глаза патрулям, мне повезло.

Был другой приказ, процитирую его: “Все имеющиеся у штатского населения валяные сапоги, включая детские валенки, подлежат немедленной реквизиции. Пользование валяными сапогами запрещается и должно караться так же, как недозволенное пользование оружием”.

То есть, расстрелом. Но я валенок не сдал, иначе бы не в чем ходить, и две зимы носил, за какое пользование меня теоретически и практически надо было казнить, как и за невыдачу еврея, моего приятеля Шурки, помощь беглому дядьке Василию, невяку на регистрацию в 14 лет, побеги от угона в Германию; наконец, просто за антигерманские настроения.

При этом я не был еще членом партии, комсомольцем, подпольщиком, не был евреем, цыганом, не имел голубей или радиоприемника, а был обыкновеннейший рядовой, незаметный, маленький человечек в картузе. Но, если скрупулезно следовать установленным властями правилам, по принципу “совершил — получай”, то я уже двадцать раз не имел бы права жить.

Далее в романе следовало размышление, которое цензура почти целиком убрала, приведу его по полному изданию “Бабьего Яра”, вышедшему теперь на Западе:

“Я живу упрямо дальше, а преступления катастрофически множатся, так что я перестал их считать, а просто знаю, что я — страшный, но не пойманный преступник.

Я живу почти по недоразумению, только потому, что в спешке и неразберихе правила и законы властей не совсем до конца, не идеально выполняются. Как-то я проскальзываю в оплошно не заштопанные ячейки сетей и ухожу по милости случая, как по той же милости мог бы и попасться. Каждый ходит по ниточке, никто не зависит от своей воли, а зависит от случая, ситуации, от чьего-то настроения, да еще в очень большой степени — от своих быстрых ног".

В книге "Воспоминания" вдова поэта Мандельштама, погибшего в застенках НКВД, пишет, что ее не постигла судьба мужа только потому, что ее выгнали из квартиры, она перестала мельтешить перед глазами и затерялась:

"Меня спасла случайность. Нашими судьбами слишком часто управляла случайность, но в большинстве своем они были роковые, и случайно приводили людей к гибели".

Поэт Мандельштам написал стихотворение, высмеивавшее Сталина. Нет, не опубликовал, просто написал. За это страшное преступление он и был убит.

При тоталитарном строе человек вообще не может прожить, не совершая преступлений в том или ином смысле. Или он сопротивляется этому строю, нарушает его свирепые предписания — и тогда он преступник перед строем, или он выполняет, служит строю — и тогда он еще хуже, тогда он действительно преступник против человечности. Что делать старому доброму служаке, если ему приказано травить детей в душегубке? Не травить — сам туда пойдешь. Травить — встает призрак Нюрнбергского процесса...

Все без исключения граждане тоталитарной страны должны выбирать из дилеммы одно. Третьего — не участвовать, уйти, отгородиться — не дано; это третье является преступлением, и серьезным, с точки зрения строя, по большевистскому принципу: кто не с нами, тот против нас.

Поняв все это, я потому и перестал считать свои преступления и только возношу благодарность Небу, что живой.

В 1948 году мне шел девятнадцатый год. Я написал гротескную пьесу-сатиру на сталинский строй. Там действовали железные Феликсы, они ходили монолитной когортой по идеально прямой линии, состоявшей из сплошных зигзагов. Ленин вертелся в гробу, Сталин хлопал крыльями, народ безмолвствовал, и тому подобное.

Стихотворение Мандельштама было обнаружено. Мою пьесу не обнаружил никто. Но интересно, что бы со мной было, случись тогда в нашей квартире обыск по какому-нибудь поводу, был бы приговор к расстрелу или всего лишь на двадцать пять лет? Пьеса была злая, написанная в упоении, одним духом, позже я ее сжег.

В комсомол я был принят “скопом”, когда учился в балетной студии при Киевском оперном театре. Нас, пятнадцатилетних балетных мальчиков и девочек, привели в райком на бульваре Шевченко и в каких-нибудь полчаса пропустили через приемный конвейер. В 1949 году, на двадцатом году моей жизни, я, кипя яростью, решил, что не буду участвовать в комедии, творящейся вокруг. Снялся с учета в райкоме, сказал, что уезжаю в Хабаровск, получил на руки учетную карточку — и уничтожил ее вместе с комсомольским билетом. Легко решить — не участвовать. Но как?

В 1952 году я работал на строительстве Каховской ГЭС, там проводили повсеместную комсомолизацию, и я вторично “скопом” оказался в комсомоле. Мы все под диктовку написали заявления: “прошу”, “обещаю быть”, потому что, если все это делают, а ты один нет, то изволь объяснить, а ну, объясни, что ты имеешь против...

Это теперь, бывает, и объясняются. Но в 1952 году не объяснялись.

Со всей трезвостью я увидел тогда, что обречен жить в обществе, где не погибают те, и только те, кто глубоко в

себе погребет свое искреннее лицо. Бывает, так глубоко погребет, что уже и сам потом откопать не может... (Вдумайтесь в это откровение. — И.М.).

Конечно, я утаил от родного комсомола, что уже был в нем, как утаил и дальше, вступая в партию, поступая в институт, в Союз писателей. Иначе студентом не быть, ни одно мое произведение никогда бы не увидело света; наконец, и за границу не пустили бы, и никогда бы я не убежал от этого невероятного строя.

Но уже на Каховской ГЭС я узнал от комсорга стройки, что, оказывается, не один я такой “изобретатель”, что по стране разыскиваются сотни тысяч беглых комсомольцев, “мертвых душ”, их вылавливанием занимается целый аппарат. Угроза быть пойманным нависла надо мною, с нею я жил далее семнадцать лет.

Шансы, что меня выловят, увеличились, когда я стал писателем, оказался на виду. Достаточно было какой-нибудь балерине в Киеве вспомнить, что мы вместе вступали в комсомол, тогда, как во всех биографических справках на моих книгах и вплоть до Литературной энциклопедии значится, что я вступил в ВЛКСМ на Каховской ГЭС. К счастью, балерины меньше всего думают о ВЛКСМ.

Мне повезло, хотя многих ловят. Правда, с годами суровость наказания по данному делу уменьшилась до малого: кроме скандала, объяснений на собраниях и бюро, может быть, исключение из партии и испорченной карьеры, мне в шестидесятых годах ничего худшего не грозило.

Худшее грозило, если бы в Яснополянском лесу вдруг начались без моего ведома земляные работы в том месте, где я хранил закопанными некоторые мои рукописи. Я писал в них все, что думал, вынашивая смутные планы размножения их фотоспособом. Это уже не были грешки комсомольской молодости, но даже без натяжки их можно было бы квалифицировать как зрелые, обдуманые дейст-

вия во вред существующему государственному строю. Но земляных работ не было, канав не рыли, деревья не сажали, — пронесло.

Сегодня, по советским законам, мне полагается только десять лет концлагеря. С последующим “изгойством” и “лишением” до конца жизни, конечно. Это за то, что я бежал из СССР.

Сколько сейчас сидит людей в лагерях Мордовии за попытки бежать? Ленинградский поэт, член Союза писателей Анатолий Родыгин пытался переплыть границу в Черном море. Мой однофамилец Кузнецов Эдуард и вся группа, пытавшиеся захватить самолет. Матрос Кудрика, перепрыгнувший на американское судно и возвращенный... Не повезло людям, фатально не повезло.

А двум парням-художникам удалось переплыть Черное море поперек на надувной лодке, сейчас они живут в Нью-Йорке. В Лондоне я познакомился с человеком по имени Петр Петрушев, который переплыл границу под Батуми, чудом ускользнув от сторожевых катеров и радаров. Про себя могу сказать, что рассматриваю как большую удачу то, что никто из пограничников в Шереметьевском аэропорту не обратил внимания на отдувшийся карман моего пиджака, когда я шел на посадку в самолет, отлетающий в Лондон. Карман был полон фотопленок с переснятым архивом всей моей жизни, в том числе и рукописей, зарытых в Яснополянском лесу.

Несомненно, плачет по мне Мордовия. Но я проживаю в другой стране, она меня не выдает, кара не может пока меня достичь, и опять я — непойманый, непойманый преступник...

Другое дело: чем закон, предусматривающий заключение в концлагерь за желание жить не в СССР, а в другом месте, — чем этот закон принципиально отличается от запрета выходить на улицу после шести часов? А вот при Сталине отправляли в Сибирь за опоздание на работу, за сбор коло-

сков. Сейчас, кажется, не отправляют? Нелогично, однако. За пение песен под гитару — нужно отправлять, за рассказанный анекдот — обязательно. Было это, все было...

Прочитаю еще одно размышление из “Бабьего Яра”.

“Сегодня одна двуногая сволочь произвольно устанавливает одно правило, завтра приходит другой мерзавец и добавляет другое правило, пятое и десятое, и Бог весть сколько их еще родится во мгле нацистских, китайских, марсианских мозгов непрошенных благодетелей наших, имя им — легион.

Но я хочу жить! Жить, сколько мне отпущено матерью-жизнью, а не двуногими дегенератами. Как вы смеете, какое вы имеете право брать на себя решение вопроса о МОЕЙ жизни: СКОЛЬКО МНЕ ЖИТЬ, КАК МНЕ ЖИТЬ, ГДЕ МНЕ ЖИТЬ, ЧТО МНЕ ДУМАТЬ, ЧТО МНЕ ЧУВСТВОВАТЬ, КОГДА МНЕ УМИРАТЬ?

Я хочу жить долго, пока не останется самых следов ваших”.

В самом деле, если жить достаточно долго, то можно видеть как законы меняются. И пугала перестают пугать. Кажется, страшнее кошки зверя нет, а кошка возьми да и умри. Вот дожили же мы — о чудо! — до того, что за ношение валенок уже не расстреливают. Также после шести часов на улице выходить можно. Даже в полночь можно, это не преступление. Более того, хоть и не рекомендуется, но можно опоздать на работу, собирать колоски, а антигерманские-антифашистские настроения не только можно, но ПОХВАЛЬНО иметь.

Но! Антисоветских нельзя. Проживать без пропуска — нельзя. Бежать в Австралию очень нельзя. Иметь мнение, что американцы обогнали советских в космосе — категорически нельзя. Иметь вообще любые взгляды, отличные от взглядов газеты “Правда” — преступление.

За это преступление генерал Григоренко сегодня медленно умирает в сумасшедшем доме. Андрей Амальрик нахо-

дится в магаданском концлагере. Судьба тысяч подобных “преступников” угнетает меня, тоже “преступника”, непойманного...

Но все же искра оптимизма зреет, а главное, за полным исчезновением некоторых законодателей, многие преступления уже не рассматриваются как преступления, приговоры по некоторым полностью аннулированы, как с теми валенками или колосками...

И так, грешным делом, думаешь иногда: а вдруг мы доживем до такого дня, и привалит такое невиданное счастье, когда вообще все подобные приговоры... аннулируются?"

Анатолий Васильевич Кузнецов не дожид до этого дня...

* * *

...Он много путешествовал. На собственной машине исколесил всю Англию. Наверняка бывал во многих странах Европы (исключая “соцлагерь”). Известно достоверно: отдыхал на Канарских островах, на островах Греции; был в Канаде, в Монреале в 1976 году во время Олимпийских игр, наверное, тогда же в США. Анатолий Кузнецов страстно любил путешествия. Он был странник, только не очарованный, скорее прагматичный. Одинокий бегун на длинную дистанцию...

Впрочем, в конце жизни уже не одинокий: Анатолий Васильевич женился на польке, тоже эмигрировавшей из своей страны, кажется, журналистке. За год до смерти писателя у них родилась дочь, в письмах матери он называл ее Машей, в честь бабушки, жена Ялана — Анатолией. Появился свой дом, в классическом английском стиле: особняк, крохотный клочок земли — цветник, фруктовые деревья (наверное, фруктовые деревья...), малолитражку заменила более комфортабельная машина, и теперь путешествия на ней по городам и весям туманного Альбиона совершались вдвоем, а в последний год — не исключено — и втроем.

За все десятилетие, прожитое в Англии, Анатолий Васильевич материально не помогал сыну и бывшей жене Ирине, в тяжелейших условиях поднимавшей Алексея, который в конце концов получил высшее театральное образование. Но какой ценой!.. Ни одного денежного перевода. Только однажды — кажется, однажды — через третьи руки сыну была передана посылка с фирменными шмотками: джинсы, куртки, рубашки, кроссовки. Размеры не соответствовали.

В последние годы Анатолий Кузнецов пил, но не систематически, а запойно. Однажды, — источник, хоть и темный, но вполне достоверный, — находясь в запое, Кузнецов появился в советском посольстве и, ломаясь во все кабинеты, умолял отправить его домой, в Россию.

Таковы скудные сведения о жизни писателя-эмигранта Кузнецова в Англии и его внешний, конечно же, поверхностный портрет.

Но — наверняка! — была напряженная внутренняя жизнь. И, во-первых, зная Анатолия Васильевича, во-вторых, осмысливая факт десятилетнего молчания Кузнецова как писателя, можно предположить, что внутренняя жизнь художника, творца (а наверняка для этой земной работы был послан Провидением в мир мой герой) была полна драматизма.

Кузнецов не мог не писать. Ему было что поведать людям. И, убежден, обретя выстраданную творческую свободу, он писал. И... Что было дальше? Нет никаких сведений, говорящих о том, что он какому-либо издательству или журналу предлагал рукописи своих новых произведений. Значит, единственным судьей своего нового творчества в свободном мире, был он сам. И суд этот, самосуд, наверняка был суров, даже беспощаден. Что произошло? Сохранились ли рукописи прозаических произведений тех лет? Или Анатолий Васильевич их уничтожил? И вообще — есть ли они?

На все эти вопросы пока нет ответов.

...В апреле 1987 года с писательской туристической группой я попал в Англию, в Лондон, где мы первые несколько дней жили в отеле “Президент”, выезжая на экскурсии в ближние и дальние окрестности британской столицы.

Отправляясь в эту поездку, я втайне надеялся попасть на могилу Анатолия Кузнецова, и, если повезет, — встретиться с его английской вдовой. Может, что-нибудь удастся разузнать о лондонском архиве Анатолия. А возможность, вроде бы представилась: в нескольких поездках по английской столице у нас гидом был славный молодой человек, лет пять назад эмигрировавший из Союза — кажется, он был из Петербурга, — и очень скоро по тому, что и как он говорил, по отдельным репликам, замечаниям, ответам на вопросы, мне было совершенно ясно: в осуществлении моего замысла он поможет. А свободного времени, особенно по вечерам, нам давали достаточно. Новые времена — перестройка. Надо только заговорить с ним на интересующую меня тему, желательно без свидетелей.

Но я так и не заговорил с ним... И сейчас казню себя за это.

Дело в том, что в нашей группе оказался “литературовед в штатском” (он нам был представлен как консультант то ли какого-то отдела министерства культуры, то ли одного из наших многочисленных ведомств Союза писателей, точно не помню), ярко выраженный, при своем внешнем безличии, кэжэбэшник, которого я, и не только я — вычислил сразу: работал он, как ни старался, грубовато, порой топорно и хотя что-то знал из жизни писательского мира, кое-что читал, — тем не менее в нашей среде был телом явно инородным. Очевидно, у него было задание присматривать за всей группой, но ко мне, тем не менее, он прилип довольно плотно: всегда оказывался в той компании, с которой я вечером отправлялся бродить по городу, и почти постоянно за спиной или рядом слышались его мягкие шаги; он заговаривал со мной на самые разные темы, включая литератур-

ные. В автобусе, в самолете наши места, непостижимым образом оказывались рядом. Однажды вечером, в самом начале нашего путешествия, в гостиничный номер, — я жил с ныне покойным поэтом Фаиком Мамедовым, — мой опекун явился с бутылкой водки и московскими солено-острыми закусками: “расслабиться, поболтать”. Отказаться было как-то неудобно (а зря!). Разговор был, надо отдать должное нашему незваному гостю, нейтральным, прыгающим с темы на тему. Однако после этого визита на правах “нового знакомого” он часто появлялся в нашем номере и однажды сам заговорил об Анатолии Кузнецове, уже не помню, в какой связи. Я демонстративно не поддерживал эту тему, наш гость насторожился, занервничал, стал в стаканы с эмблемой отеля “Президент” наливать водку, краснея ушами, провозгласил тост: “Давайте за советскую литературу! И вот семужкой закусим”. Тем не менее, его плотная опека надо мной продолжалась.

И я дрогнул. Наверное, нужно сказать прямее: испугался. “Выследит, — говорил я себе. — И что тогда? Попытается помешать? Как? Ведь не станет он удерживать меня силой. Одна из его главных задач — не засветиться. Но ведь узнают там. Один результат в этом случае неизбежен: больше никогда мне не видеть заграничных поездок. Начнутся и другие неприятности...”

В глубине души я понимал: чушь! Времена изменились. Потом, договорившись с гидом, можно, конечно, в один из вечеров, слинять из отеля незаметно.

Но я так и не подошел к нашему славному гиду, не заговорил с ним.

Генетический страх перед “органами”, зависимость от “характеристики”, которую мне даст “новый приятель” для соответствующих служб Союза писателей, и не только СП, где решаются вопросы: “выпускать — не выпускать”, “печатать — не печатать” — остановили меня.

Совок. Мутант. Да, подавляющее большинство из нас — мутанты “великой социалистической эпохи”, результата порабощения России коммунистической идеей. Мой грех перед памятью Анатолия Кузнецова.

Каюсь...

Я так и не попал на его могилу.

Зато вместе со всей нашей группой оказался — и поделом, и по заслугам — у могилы Карла Маркса на Хайгейтском кладбище, стоял со своими коллегами возле монументального бюста основателя “великого учения”, в тяжелых, давящих формах которого при минимуме воображения угадываются черты тоталитарного будущего всего человечества, победы — упаси Бог! — “великое учение” в мировом масштабе.

Я смотрел в каменное лицо Карла Маркса и думал об Анатолии Кузнецове.

За спиной, слегка сопя, переминался с ноги на ногу мой “опекун”.

...Наши журналисты, аккредитованные в Канаде на время Олимпийских игр, встречались там с Анатолием Кузнецовым, не специально, конечно. Как выглядел перебежчик-диссидент, “клеветник”? Пересказываю со слов Ирины Марченко (она видела с кем-то из тех журналистов): Анатолий Васильевич был весел, раскован, в физическом смысле выглядел отлично, шутил, поддерживал разговор на любые темы, открыто высказывал свои суждения о Советском Союзе, о бывших друзьях-писателях, но не было в этих суждениях ни желчи, ни злости, скорее, сожаление, сочувствие, сострадание. А в целом — обликом и поведением Анатолий Васильевич Кузнецов являл собой европейца, интеллектуала, материально преуспевающего литератора, свободного и счастливого. В нем ничего не осталось от того Анатолия Кузнецова, которого знали шесть-семь лет назад в редакциях московских газет, журналов, издательств — всегда сдержанного, сосредоточенного — а если внимательно приглядеться — напряженного, застегнутого на все пуговицы.

И я думаю: все эти годы ушли на борьбу с самим собой, на преодоление “совковости”, черный яд которой принял Анатолий Кузнецов — на покинутой родине — слишком в больших дозах. Он отравился. И как молодой Антон Павлович Чехов по каплям выдавливал из себя раба, так Кузнецов по каплям выдавливал из себя эту проклятую совковость, перебродившую в нем отраву компромисса с преступной системой, соединенного с пороками собственной природы, притом счет шел не на капли. Он готовил себя к будущему свободному творчеству — иначе быть не могло: Кузнецов в глубине души — всегда! — считал себя рожденным для писательства.

Очевидно, он торопил это свое перерождение, говоря себе: “Все, пора!” — и садился за пишущую машинку. Не получалось... Рано. Опять работа над собой. Срывы. Привычное русско-советское бегство от невзгод и ударов судьбы в алкогольную бездну. Но это никогда не спасает. Наоборот... Приступы отчаяния. Неужели для спасения нужна Россия? Только там можно реализоваться, новому? Но, убежден, если такие мысли и приходили к Анатолию Васильевичу, то только во время приступов пьяного отчаяния. Он был космополитом в прямом и могучем смысле этого слова: гражданин мира. Ностальгия по русским березам, сельским разъезжим дорогам с ромашками на обочинах под хмурым небом, по московским пивным с “родными лицами”? Вряд ли. Хотя наверняка в своих мыслях он часто возвращался в покинутые — по тем временам навсегда — Россию и Украину. Кончался приступ отчаяния, меланхолии, он выходил из запоя — и продолжалась работа. Над собой. Для будущего. Для будущего настоящего творчества.

Казалось — оно уже совсем рядом, это будущее, эта страна обетованная свободного искусства, в которой, по словам Андрэ Моруа, “истинный творец принадлежит только своим творениям”.

Может быть... Может быть, все было именно так.

Мы приближаемся к финалу. И уже напрашивается итоговый вывод из этой биографии: жизнь и творчество Анатолия Кузнецова — высокая драма. Драма на тему: “Художник и его эпоха”, в которой эпоха побеждает художника.

В Англии разыгрался последний акт этой драмы, пожалуй, самый тяжкий и трагический для исполнителя главной роли.

Однако, похоже, что тот Анатолий Кузнецов, которого встретили в Канаде советские журналисты, уже стоял, заново создав себя, на пороге, возможно, главного этапа своего творчества. Еще один шаг...

Все оборвала преждевременная смерть, которой Анатолий Васильевич так страшился.

Когда весть о его преждевременной кончине долетела в Москву, — тут же поползли слухи: “клеветника”, “перебежчика”, “предателя” убрали люди КГБ. Анатолий Кузнецов погиб в автомобильной катастрофе, подстроенной ему. Упал мертвым в магазине, получив укол зонтиком с отравленным наконечником. Был задушен неизвестными в калитке собственного дома. И еще несколько “достоверных” историй.

Все они — блеф. Анатолий Васильевич умер от инфаркта, причем от второго инфаркта. Но...

Кузнецов, действительно, был в Англии, если не под колпаком, то под плотной опекой КГБ — это я знаю совершенно точно. То, что он был неуютен режиму оставленной родины, что у наших правителей его передачи на радио “Свобода” вызывали ненависть — это безусловно. Отсюда нетрудно предположить, какие задачи в отношении Анатолия Кузнецова ставились перед работниками КГБ в Англии.

А теперь предположение, версия. Доказательств — никаких. Итак... Не забудем, что, по крайней мере за два года до смерти, Анатолий Васильевич был совершенно здоров, был в отличной физической форме.

Газета “Куранты”, 12 октября 1993 года. Материал “Наш человек в Бонне”, беседа Татьяны Куликовой с Михаилом

Сергеевичем Восленским, автором знаменитой книги “Номенклатура”.

“... Т.К. Когда “Номенклатура” вышла в свет, была какая-то реакция с советской стороны?”

М.В. В 1980 году в Москве специально для номенклатурных работников самого высокого ранга она была издана минимальным тиражом.

Т.К. Чтобы про себя прочитали?”

М.В. Да, видимо, интересовались. А затем последовала расплата. 2 сентября 1981 года я выступил с докладом в Бременском университете. После доклада на коктейле в мою честь стою я в группе тамошних профессоров. Подходит официант с бокалами белого вина. Как вы знаете, в таких случаях предлагается всем взять бокалы с подноса, но тут официант вдруг стал сам их раздавать. Это нарушение правил меня удивило. Когда дошла очередь до меня, я поймал его взгляд, и был этот взгляд исполнен яркой ненависти. Мне это не понравилось, я подумал: что-то здесь не так, я этого молодого человека вижу впервые. Но тут произнесли тост, я отвлекся и вино выпил.

Первых два часа никаких неприятных ощущений не испытывал. Сходил на вокзал, купил билет в Мюнхен. А потом началось сердцебиение в бешеном темпе. Оно продолжалось семь часов. Я лежал пластом и ждал инфаркта, на что, конечно, и было рассчитано. Спасло то, что у меня было очень крепкое сердце: я не курил, пил совсем немного, только в гостях пригублю что-нибудь и все.

Т.К. Какие у вас основания думать, что это привет от КГБ?”

М.В. Через год после описанного выше случая произошла история с Паулем Гома — писателем из Румынии, который был близок с Чаушеску, а потом уехал во Францию и написал книгу о румынском генсеке. И вот во французскую полицию пришел молодой румын и сказал, что он сотрудник румынской

разведки по научно-техническому шпионажу, считает это дело чистым, но сейчас “сам” поручил убить двоих, в том числе Гома. Причем для писателя — он был уже старик — агенту дали лекарство, которое надо было капнуть в бокал именно с белым вином. Через два часа, сказали молодому человеку, у Гома начнется страшное сердцебиение, а он стар, сердце изношенное, не выдержит и умрет.

Об этой истории много тогда писалось. Средство, предназначенное для Гома и, видимо, для меня, как выяснилось, применялось еще в средние века, и было восстановлено в лабораториях КГБ. Там было много специалистов по ядам. Они-то, я думаю, и приготовили для меня такой своеобразный гонорар за “Номенклатуру”.

В “Курантах” есть рубрика “Информация к размышлению”...

VIII

Да, он боялся смерти.

Тут следует воскликнуть: а кто ее не боится?

Каждый человек, или правильнее сказать, — почти каждый, перед лицом этой великой тайны и высочайшей мудрости Вселенского бытия мучается вечными вопросами: что такое жизнь, и что такое смерть? Зачем — и кем — я послан в этот мир? И если после смерти ничего не (“Ни-че-го!” — торжествуя воскликнет Анатолий Кузнецов, возвращенный к жизни после первого обширного инфаркта), то зачем жить? Ведь она превращается в бессмыслицу.

Для писателя, для его творчества эти вопросы имеют принципиальное, огромное значение. По существу вся литература мира в ее вершинных творениях — это попытки найти ответы на эти вечные вопросы.

А уж русская классическая литература, начиная с Аввакума, и кончая Чеховым, проникнутая христианством, вся — поиски ответов на эти великие вопросы, поставленные перед человечеством

Тем, кто создал наш мир. Попросту религиозными — по направленности творчества — следует считать Пушкина, Лермонтова, Гоголя, Достоевского, Толстого, как бы ни изощрялись советские учебники по литературе, пытаясь представить одного борцом с самодержавием, другого критиком крепостничества, третьего “зеркалом русской революции”, четвертого попросту мракобесом.

Одна из причин убогости, заземленности, серости советской литературы, особенно в тридцатые-пятидесятые годы, заключается в том, что она уходила от ответов на эти вопросы, вернее, вынуждена была уходить, исповедуя силой навязанный ей атеизм, который является неотъемлемой составной частью официальной идеологии “социалистического общества”.

Анатолий Васильевич Кузнецов был атеистом. Но атеистом странным. Я от него слышал:

— Никакого Бога нет! — Говорилось это с непонятым раздражением. — Чушь собачья! Бессмертие души, протрубят в трубы, Страшный Суд, “Восстаньте живые и мертвые”. Все это басни для слабонервных. Испустил дух и — все! Тьма, черви, черное ничто. Уничтожение.

Но в принципе Кузнецов избегал разговоров о подобных предметах. Он обходил стороной кладбища, старался увильнуть от церемонии похорон товарища по перу, в его произведениях вы не найдете темы жизни и смерти в философском, религиозном ее осмыслении.

Да, он был, вроде бы, атеистом и, как все атеисты — кто явно, кто тайно — боялся смерти. Он хотел жить долго, о чем, вроде бы, в шутку, с самоиронией, говорил:

— Надо бы лет до ста дотянуть. Вон библейские персонажи живали! Шестьсот лет, девятьсот... Махнуть бы на какой-нибудь малообитаемый остров в Тихом океане, ближе к экватору. Там, говорят, вдали от нашей цивилизации, люди живут черт знает сколько!

От рождения Анатолий Васильевич был наделен отменным здоровьем. Голодное детство и трудные студенческие годы имели одно тяжелое последствие — язва желудка. А затем сказалась бурная, во многом хаотическая жизнь с алкогольными и прочими перегрузками — стало пошаливать сердце, врачи советовали умеренность во всем, поменьше волнений, стрессовых ситуаций. Легко сказать...

Тем не менее, за своим здоровьем Кузнецов следил, но не постоянно, ни в коем случае не фанатично. Есть фанатики своего здоровья. Быть с ними просто знакомыми — уже тоска. Анатолий Васильевич не занимался систематически спортом, по-моему, утренняя зарядка его раздражала, он говорил:

— Массовый психоз какой-то, все послушно в одно время машут руками, да еще под музыку радио или телевизора. Вот так же всех однажды, под музыку, и погонят на бойни.

Однако, значение спорта для здоровья и долголетия он понимал, и бывали периоды, когда Кузнецов вдруг увлекался лыжами или ходил в бассейн, говорил: “Собрал кой-какую литературу по теннису. Вот только станет полегче со свободным временем...” Или ранней весной он начинал ходить без шапки, утверждая: “Чрезвычайно полезно для всего организма. Зайди, дам почитать брошюру профессора” (фамилию профессора не помню). Случался тяжелый приступ язвы желудка, и Анатолий на два-три месяца отправлялся в санаторий на кавказские Минеральные Воды, где пунктуально, не пропуская ни единой процедуры, проходил весь курс лечения.

Бывали у него увлечения всякими методиками здоровья и долголетия Востока, Японии: то он занимается йогой, то голоданием. Надо заметить, испытывая на себе все эти методики и учения, похоже, Анатолий Васильевич еще и с интересом наблюдал за собственной персоной: а что же в результате получится?

Увлечения быстро сменяли друг друга, но за всеми этими экспериментами неизбежно стояло страстное, даже с оттенком патологии, стремление — быть здоровым и жить долго, обязательно долго...

Покойный ныне тульский поэт Юрий Щелоков рассказывал мне, что Анатолий Кузнецов, — скорее всего в момент пьяного откровения — показал ему черную ранку под коленкой левой ноги, сказав: “Точка бессмертия. Медицина древнего Китая. Необходимо прижигать сигаретой два раза в день. Процедура не из легких. Но... Хочешь жить долго и в здравии для мирских радостей — терпи”.

Мирские радости... Для стопроцентного атеиста они в жизни на первом месте. Раз после смерти — “НИ-ЧЕ-ГО”, с последним вздохом все кончается, — спешите жить, наслаждайтесь каждым днем, как говорится, “ловите миг удачи”. Отсюда у атеиста с одной стороны — ненасытность, жадность к радостям бытия, прежде всего материального, физического свойства, с другой — страх смерти, порой настолько жгучий, животный, что если часто предаваться подобным мыслям, каждый день превращается в ад — я знал одного такого литератора-атеиста. Жизнь его была кошмаром.

Могло показаться, по первым впечатлениям, что Анатолий Кузнецов именно такой атеист. Но это только по первым впечатлениям. Нет, он не был нормальным атеистом.

Несколько раз среди книг, которые он читал, я видел у него тома Бердяева, Флоренского, Соловьева, Ильина, изданные “там”.

Однажды — и это было для меня просто потрясением! — я обнаружил Анатолия Кузнецова в главном храме Тулы, церкви Всех Святых, во время службы (если мне память не изменяет, — на Рождество Христово). Кузнецов стоял в толпе молящихся, слушал проповедь священника. Нет, он не осенял себя крестным знаменем, когда вокруг все крестились, но был так сосредоточен, углублен, так явственно отсвет Божественной

благодати смягчил черты его всегда напряженного лица, что я не решился подойти, и потом никогда не говорил Анатолию, что видел его на той службе.

Его мучили сомнения: а что если ОН есть? И — “весь я не умру”? Тогда там, представ перед Творцом, придется отвечать за свою земную жизнь.

Сейчас мне кажется, что думая о смерти, Анатолий Васильевич, постоянно споря с собой, со Львом Толстым, с религиозными авторами, временами — а, может быть, и не временами — допускал, что так и есть: ответ держать придется.

Отсюда вторая, после атеистической, причина страха смерти. Не исключаю, что в случае с Кузнецовым ее надо поставить на первое место. А это испепеляющий страх — неминуемая расплата за земные грехи.

Поэтому Анатолий Васильевич Кузнецов был эгоцентристом — провались все! Лучше бы Его не было... Да здравствует материализм! Все кончится на этой грешной земле, господа, с последним ударом сердца. Нет Его! Нет!..

Когда после первого инфаркта и последующего долгого лечения Анатолий Васильевич вернулся на свою работу, в русскую редакцию радиостанции “Свобода”, он в первой же своей передаче сказал:

“... Это моя уже двести тридцать третья беседа (Увы! Она оказалась и последней — И.М.) с тех пор, как я начал регулярно, раз в неделю, выступать перед микрофоном лондонской студии радио “Свобода”. Этой беседы, собственно говоря, могло уже не быть. В сентябре прошлого года (1978 год — И.М.) со мной случился инфаркт, причем очень тяжелый. По мнению врачей, я остался жить лишь чудом. Долго я лежал в больнице, потом долго “отходил” дома и “отошел”. Но в смерти я побывал. Недолго, правда, но два раза. Один раз у меня сердце полностью остановилось на шесть секунд, через час-другой остановилось на пятнадцать секунд, и это на медицинском языке называется клинической смертью. Оба раза врачам уда-

лось пустить его снова с помощью сложной медицинской техники, их собственной самоотверженности. Они бились надо мной, не отходя, десять часов, а когда потом, валясь с ног, пошли поспать, то, как я потом узнал, звонили дежурной сестре много раз среди ночи, потому что, опять-таки, как потом они сами мне сказали, не были уверены в том, что я доживу до утра. Я дожил.

Ну вот, а теперь о самом главном. Вот получилось так, что мне и спрашивать не надо у людей, переживших клиническую смерть, — я сам прошел ее дважды в больнице, в Лондоне.

Что же я в это время видел?

НИ-ЧЕ-ГО!

Как жаль... Право жаль!..

Моя смерть выглядела оба раза как самое обыкновенное засыпание. Вот я вижу врача, вот что-то делают... Я закрываю глаза, и как бы заснул, без сновидений. Просто ничего... Потом открываю глаза, вижу того же врача, думаю, что прошло пять минут, — оказывается, прошло несколько часов! А у меня впечатление, что я всего лишь вздремнул, забылся на пять минут, уснул. Без всяких снов. Проснулся — живой. Если бы не проснулся, то, значит, умер?! И не знал бы, по-видимому, уже ничего об этом?..”

Торжество атеиста? Расплаты за земные грехи не будет! Вчитайтесь еще раз в этот поразительный, до предела обнаженный текст: в его недрах, за внешним ликованием и страх и сомнения.

“Что же я в это время видел?

НИ-ЧЕ-ГО!

Как жаль... Право жаль!..”

...В Ясной Поляне жил человек, который в споре Анатолия Кузнецова с Небом, в поисках ответов на роковые вопросы бытия занимал огромное место, и встреча с ним моего героя — перст судьбы. Этим человеком был патриарх тульской писательской организации, удивительная, потрясающая личность, “последний из могикан” — один из последних. — рус-

ской дореволюционной интеллигенции Валентин Федорович Булгаков, секретарь Льва Николаевича Толстого в последний год жизни великого писателя.

Судьба Валентина Федоровича драматична: она — зеркало, в котором подробно отражено то, как руководители советского общества “ценили” цвет и мозг нации, интеллигенцию, выпестованную еще старорежимной Россией.

Булгаков вернулся в Ясную Поляну, уже навсегда, до конца своих дней в шестидесятые годы; в 1958 году он был принят в Союз писателей. Жить в Туле отказался, хоть и предлагали квартиру — он поселился в доме Волконских, в двух скромных комнатах.

Еще в 1911 году вышло первое издание книги Валентина Федоровича “Л.Н. Толстой в последний год его жизни”. Он над ней постоянно работал, книга выдержала пять или шесть изданий. Собственно, это дневник молодого Булгакова, который он систематически вел, работая секретарем Льва Николаевича в 1910 году. Сразу после смерти Толстого многое в дневнике при его публикации пришлось снять до поры — еще здравствовало большинство тех, кто упоминается в дневниковых записях, а отношения с близкими и друзьями у Толстого, особенно с членами семьи, были более чем сложными... От издания к изданию пропущенное восстанавливалось, подробно комментировалось. Окончательный вариант дневника представляет издание из серии “Литературные мемуары” в 1960 году. Какая же это удивительная книга! Вот портрет, образ гения русской литературы во всем драматизме его высокой судьбы!

Не менее интересна книга Булгакова “О Толстом” — рассказы и очерковые новеллы о Льве Николаевиче. Эту книгу с автографом Валентина Федоровича я храню, как самую дорогую реликвию своей библиотеки...

После смерти Булгаков оставил огромный архив — дневники, статьи о деятелях русской культуры, пьесы, зарисовки. И две большие законченные рукописи — “Друзья Толстого” (сорок

пять литературных портретов) и “В споре с Толстым” (рукопись не читал, о сути спора могу только догадываться...) На похоронах Булгакова в сентябре 1966 года (по завещанию Валентина Федоровича он был предан земле в Кочетках, на фамильном кладбище Толстых), и через два месяца на его восьмидесятилетнем юбилее много хороших слов говорилось о Валентине Федоровиче, о значении его деятельности, его книг для русской культуры и, в частности, были клятвенные заверения и тульского высшего руководства, и дирекции Приокского издательства, и представителей Союза писателей из Москвы, что будет сделано все для издания в ближайшее время рукописей Булгакова “Друзья Толстого” и “В споре с Толстым”. Увы... И до сих пор эти книги не увидели света.

Что имеем — не храним...

Валентин Федорович был сдержанно-общительным человеком, доброжелательным, подчеркнуто вежливым, всегда, где бы он не появился, безукоризненно одетым, при галстуке, в любую погоду. Он много, систематически работал, общественные нагрузки — встречи с читателями, помощь молодым литераторам, обширная переписка (он отвечал на все письма) — Валентин Федорович считал своим моральным долгом. Служение отечественной культуре, просвещению народа, помощь ближнему, желательно без свидетелей и благодарностей — так он жил, изо дня в день. До последнего вдоха.

Валентин Федорович Булгаков был истинным русским интеллигентом, в точном российском смысле этого слова, этого понятия, введенного в литературу шестидесятых годов прошлого века в пору “хождения в народ” писателем Петром Дмитриевичем Боборыкиным.

Анатолий Кузнецов не был интеллигентом. Или, если угодно, он был интеллигентом в советском понимании.

В.Ф. Булгаков и А.В. Кузнецов — антиподы.

В 1966 году Валентин Федорович тяжело заболел. Тульские писатели часто навещали его. Несколько раз был у него и я.

Почему только эти встречи в Ясной Поляне случались, когда наш чудный старец заболел? Сколько упущено! Какие мы... А! Что говорить? Господи, прости!

Однажды, — было это в августе, в конце месяца, доцветало буйное жаркое лето, и уже первая желтизна появилась в ясно-полянских рощах и перелесках, — однажды больного писателя мы навестили с Анатолием Кузнецовым.

Валентин Федорович принял нас радушно, сдержанно-приветливо. Хотя — я и раньше замечал это — Кузнецов вызывал в нем... Как сказать? Состояние отторжения, в его присутствии Булгаков как бы погружался в атмосферу дискомфорта. Естественно, со стороны Валентина Федоровича это никак не было проявлено. Просто мною так ощущалось, чувствовалось.

Убежден, что то же самое происходило и с Кузнецовым. Но его жгуче интересовал Булгаков, притягивал, он стремился, встретившись с Валентином Федоровичем, побольше поговорить с ним, втянуть в спор, в котором, как правило, наш патриарх был сдержан, спокоен, возражая, старался ни единым словом не задеть самолюбия или достоинства оппонента.

После одного такого спора Анатолий Васильевич сказал недовольно:

— Такой же моралист, как его великий, гениальный и прочее, учитель.

На этот раз наш визит был коротким — Валентин Федорович чувствовал себя неважно, часто умолкая от слабости, закрывал глаза, говорил:

— Сейчас... Погодите. Я закончу мысль.

Говорили о мировоззрении Льва Николаевича, о его споре и разрыве с официальной церковью, об его “Исповеди” и работе “В чем моя вера”.

— Знаете, Валентин Федорович, — сказал Кузнецов, меня у него (я уже упоминал об этом: Анатолий Васильевич избегал говорить “Толстой”, “Лев Николаевич”, чаще — “он”, “у не-

го”) поражает, даже если хотите, отталкивает, одно обстоятельство. Вроде бы, признается бессмертие души, смерти там, по ту сторону, нет. Но! Ведь по нему получается, что моя бессмертная душа сливается с нечто, тоже бессмертным, но общим, единым, растворяется в нем.

— Может быть, это Бог, — сказал я.

— Иди ты со своим Богом! — разозлился Кузнецов. — Главное — уничтожается мое “я”, моя личность. И, уж простите, Валентин Федорович, получается, и никакого бессмертия нет, раз я — тю-тю. Кто-то меня в чем-то растворил. А раз так, значит и Бога никакого нет, с которым вот он, — Кузнецов зло посмотрел на меня, — все носится.

Валентин Федорович улыбнулся и рассказал:

— Незадолго до смерти у Льва Николаевича с Софьей Андреевной был такой договор. Придет смертный час, “ты держи меня в это время за руку, — говорил он Софье Андреевне. — Есть эти мгновения перехода: ты еще здесь и, одновременно, там. И, когда я уже переступлю порог, если я Его увижу...”

— Бога, что ли? — нетерпеливо перебил Анатолий Кузнецов.

— Бога, — спокойно продолжал Валентин Федорович. — Так вот. Если Он есть, — сказал Лев Николаевич, — я поверну голову набок. Дальше вы знаете: не допустили Софью Андреевну к умирающему Льву Николаевичу. — Булгаков опять слабо улыбнулся. — Тайна осталась тайной.

Скоро мы попрощались, традиционно пожелав Валентину Федоровичу скорейшего выздоровления, и ушли. По принятой традиции не спеша прогулялись по Ясной Поляне: сначала отправились к любимой скамейке Толстого, Анатолий был молчалив, тих, сосредоточен, сказал лишь однажды:

— Давай помолчим...

Далее наш путь был к аскетической могиле Льва Николаевича. Что произошло там, — рассказано в прологе этого эссе.

После внезапного эмоционального взрыва Кузнецов надолго умолк и был не только тих, но и — показалось мне — подавлен, мрачен. Похоже, он был недоволен собой, этой своей внезапной откровенностью у могилы Толстого. Вырвалось наружу то, что было глубоко спрятано внутри его существа. И принадлежало только ему.

...Мы оказались на липовой аллее у Верхнего пруда, по которой Лев Николаевич по утрам совершал свои одинокие прогулки — перед работой.

Анатолий успокоился, черты его лица смягчились.

Постояли на берегу пруда. По водной глади скользили водомерки. Из коричневой глубины всплывали жуки-плавунцы, выставив наружу свои торпедообразные тела, и от них расходились медленные круги. С берега иногда слетали первые желтые листья и, невесомо покружившись, — здесь было совершенно безветренно, — опускались на воду; от них тоже разбегались круги. Сонно, казалось, лениво перекликались птицы.

— Как хорошо, — тихо сказал Анатолий Кузнецов.

Наконец, собрались домой. Уже наступал вечер. Нежаркое солнце спускалось за лес, к невидимому горизонту, золотя макушки деревьев.

Чтобы ближним путем выйти к автобусной остановке на симферопольском шоссе, надо свернуть налево с асфальтовой дороги, ведущей к нему, и пройти через березовую рощу.

Не знаю, как для других, — для меня это особая березовая роща. Не удивлюсь, если когда-нибудь экстрасенсы назовут ее аномальным местом. Убежден, что вся Ясная Поляна такое место — в том смысле, что, находясь там, ощущаешь незримое присутствие космических сил, могучего и доброго Вселенского Разума, с которым ты навсегда связан. Здесь, особенно если ты в одиночестве, приходят очистительные мысли, ты судишь свою жизнь самым беспощадным судом, в душе пробуждается жажда добрых дел и активной деятельности. В

березовой роще это состояние усиливается, возрастает, легкие вихри клубятся над тобой — они сгустки неземной одухотворенной энергии Добра и Любви.

Конечно, все это — сугубо индивидуально.

Есть еще одно место на земле, — для меня — тождественное Ясной Поляне. Это Коктебель в Крыму, а тождество яснополянской березовой рощи — могила Волошина на горе Кучук-Енишар. С этой вершины, открытой всем ветрам, распаивается перед вами величественный мир Максимилиана Александровича: голубовато-палевая коктебельская бухта, замкнутая с одной стороны могучим хребтом Кара-Дага с профилем поэта, изваянного “судьбой и ветрами”, с другой — причудливой формы горой Хамелеон; по линии горизонта — плавные линии холмов под бледным небом, долины с зелеными квадратами виноградников; акварельные размытые краски, простор, необъятность. Здесь вихревая энергия Вселенной смешивается с киммерийскими ветрами, пропитанными запахами степных трав и полыни.

Ты дышишь этим воздухом — и не можешь надышаться...

...В березовой роще, окрашенной косыми лучами солнца (белые стволы деревьев нежно розовели), Анатолий вдруг остановился, подошел ко мне почти вплотную, черты его лица затвердели, стали резкими и грубыми, участилось дыхание. Заговорил быстро, спеша:

— Вот видишь, вот видишь!.. Всю жизнь он искал своего Бога, создал свою веру и бессмертие, горы всего написал — на эту тему. “Верую! Верую!” И что же? Получается так и не нашел он Его, своего Бога.

— Почему? — спросил я.

— Как почему? — торжественно воскликнул Анатолий Кузнецов. — Как почему?! Всю жизнь!.. Ты вдумайся, — всю жизнь он посвятил этим... Черт возьми! Согласен! Этим мучительным поискам своей веры, своего Бога. И что же? Каков результат? А не нашел! Нет результата! Раз уж в самом конце

жизни, когда курносая с косой стоит рядом, — не верит! “Если Его увижу, поверну голову набок”. Уж ему-то по всем, даже небесным правилам, Бог давно должен был бы открыться — за его жизнь, за “Войну и мир”, за терзания, поиски и прочее, прочее. И что из этого следует? Только одно! — В голосе Кузнецова звучало то же страстное ликование, которое я через много лет спустя почувствовал в голосе Анатолия Васильевича, слушая пленку его последней передачи на радио “Свобода”: “Что же я в это время видел? НИ-ЧЕ-ГО!” — Есть возражения, мой друг Гораций?

Тогда я не знал, что ему ответить.

Над нашими головами под слабым ветром березы тихо шелестели листьями...

* * *

И все-таки я заканчиваю эти воспоминания с твердым убеждением: когда Кузнецов предстал перед Высшим Судом, — он всех нас ждет в назначенный час, — Творец всего сущего не отдал его потерянную душу темному Князю мира сего, все земные грехи моему герою были прощены.

Потому что чашу весов, вместившую на себя эти грехи, перетягивала другая чаша — на нее были водружены тяжелые гири: великая книга “Бабий Яр”, рассказ “Артист миманса”, все лучшее, созданное Кузнецовым, включая передачи на радио “Свобода”, и к этим гирям добавились страдания и муки, которыми было исполнено его бытие; в нем на тернистом пути к своему совершенству, расточительно и часто не по делу истратив могучую жизненную энергию, данную ему Провидением для творчества, Анатолий Васильевич сам убил себя — на пороге своих Главных книг.

*Москва — Коктебель
1993 год*

АМЕРИКАНСКИЕ ПОЭТЫ И ПРОЗАИКИ

Валентина Синкевич

**Американский классик Вашингтон Ирвинг
(1783-1859)**

Биографии писателей невольно наводят на мысль, что творческим натурам чуждо душевное благополучие: нередко они глубоко и хронически несчастны. Также они редко довольны положением в своей стране, обычно недовольны они и положением в собственной семье, если таковая у них имеется. Эти настроения не приносят счастья и их близким. И “любовная лодка” тоже довольно часто разбивается о быт. Да и само творчество не всегда радует: тот шедевр, который так четко представляется вдохновенному воображению, трудно воплотить на полотне, в мраморе или на бумаге. И начинаются муки творчества, доводящие подверженных этому недугу, чуть ли не до полного отчаяния. И при этом — равнодушие или просто непонимание “толпы”. Ведь, как известно, переоценка ценностей происходит слишком поздно для художника: то есть — уже после его смерти, этой верной спутницы земной славы...

Поэтому отрадно вспомнить вполне благополучного и даже счастливого прозаика Вашингтона Ирвинга. Его единодушно считали и до сих пор считают первым американским классиком. И — немаловажная деталь: он стал знаменит еще при жизни и, притом, не только у себя на родине, но и в Европе.

Американскую литературу нельзя сравнивать с европейской. На фоне великих европейских классиков Вашингтон Ирвинг может показаться не столь уж значительным. Но мы говорим о писательской иерархии в американской литературе, сравнитель-

но молодой, а во времена Ирвинга она была в “младенческом возрасте”.

Будущего классика родители назвали в честь генерала, победившего славную великобританскую армию в Войне за независимость. В год рождения младенца Джордж Вашингтон еще не успел стать президентом нового государства — Соединенных Штатов Америки. Младенец родился в семье коммерсанта англо-шотландского происхождения. Маленький Вашингтон был одиннадцатым ребенком уважаемых бюргеров, незадолго до Войны за независимость переселившихся из Европы на берег Гудзона. Ребенок с детства полюбил книги, любил он также бродить вдоль реки и по лесам, о чем-то думая, о чем-то мечтая.

Со временем семью стало тревожить, что Вашингтон не терял любви к чтению книг, и даже поговаривал о литературной карьере, считавшейся тогда не только неприбыльной, но даже и не вполне уважаемой (думается, что в смысле прибыли мало что изменилось и по сей день). Родители стали настаивать на юридической карьере для своего странного сына, все еще запоем читавшего книги. Они настойчиво советовали Вашингтону предаваться этому праздному занятию только в свободное от серьезных дел время.

Вполне понятно, что будущий писатель приобщался к юриспруденции без особенного энтузиазма, но юридические науки осилил: в то благодатное время не принято было перечить воле родителей. Ирвинга ожидало скромное, но приличное место у судьи Гофмана, в дочь которого он влюбился. И прелестная Матильда Гофман отвечала ему взаимностью. Однако, молодого человека стали терзать сомнения. Он понимал, что значит быть главой семьи, знал, что такая ответственность требует постоянной и надежной службы. Знал он также, что женитьба лишит его возможности систематически заниматься любимым делом: литературой.

Неизвестно, что победило бы: любовь к девушке или к литературе. Но из затруднительного положения молодого человека вывело несчастье: Матильда Гофман скончалась от чахотки. И благоразумный Вашингтон Ирвинг навсегда остается холостяком,

дав таким образом повод некоторым биографам приписывать ему романтическую верность памяти любимой девушки. Был, безусловно, путь, избавляющий от материальных обязанностей: богатая невеста. Но к чести Ирвинга, на этот путь он не стал.

Теперь молодой Ирвинг был более или менее свободен. Он с братьями попробовал заняться коммерцией в Европе, но, по-видимому, ни один из них не обладал способностями своего отца, и фирма братьев Ирвингов довольно скоро прогорела. Это событие снова направило Вашингтона к прежней своей цели: к профессиональному занятию литературой. Он, безусловно, подписался бы под словами поэта Роберта Фроста, которые можно вольно перевести так: “Счастье — это когда призвание совпадает со службой”.

Ирвинг, первым из американских писателей, решил, что нужно не столько поучать, сколько развлекать читателя, притом писать не тяжелым книжным языком, а живой речью, как бы вести с читателем дружескую беседу. Развлекательный элемент в литературе, утверждал он, необходим для жизни серьезных, озабоченных и пуритански настроенных поселенцев Новой Англии.

И вот, молодой, никому неизвестный автор, решается на довольно смелое выступление в печати. Он дает объявление в местных газетах о том, что некто по имени Дидрих Никербокер исчез из “Независимой Колумбийской гостиницы”, не заплатив хозяину за комнату и содержание. Вместо платы он оставил два седельных мешка с какими-то рукописями. Хозяин просит помочь разыскать виновного, иначе ему придется, дабы не терпеть убытки, издавать эти рукописи.

Когда хитроумный автор возбудил таким образом любопытство читателей, в книжных лавках появляется небольшой томик, якобы написанный исчезнувшим и ненайденным Дидрихом Никербокером.

Эта первая книга Ирвинга под названием “История Нью-Йорка”, опубликованная в 1809 году, представляет собой шутовское повествование о разных забавных случаях, происходивших на

берегу Гудзона, во времена, когда на месте Нью-Йорка стоял небольшой город, названный Новым Амстердамом. Шуточная “история” Нью-Йорка “от сотворения мира до конца голландской династии” имела бурный успех. О ней заговорили и в Англии, а к английским критикам в Америке относились с большим почтением. Известность нового писателя росла не по дням, а по часам.

Ирвинга всегда тянуло в Англию, к истокам английской культуры, к ее литературе, давшей миру великие имена. Это обычное американское противоречие, некогда остро переживаемое многими американскими писателями, желающими во что бы то ни стало отделаться от своего прошлого и вместе с тем инстинктивно тянувшихся к родине английского языка. “Записная книжка” Ирвинга отражает это настроение: ностальгию по Англии, которую другой американский прозаик Натаниэль Готорн называл “наш старый дом”.

Наконец, мечта Ирвинга осуществилась: он предпринял продолжительную поездку по Европе. В Англии писатель был приятно удивлен тем, что о нем знали, его хвалили и принимали в почтенном британском литературном обществе. “Они удивлены, что перо у меня в руке, а не в волосах”, — шутил Ирвинг, уже получавший щедрые гонорары и в долларах, и в английских фунтах.

Американского писателя хвалили многие известные английские собраты по перу, включая Байрона и Вальтера Скотта. Последний посоветовал Ирвингу познакомиться с немецкими романтиками. Может быть, этот совет до некоторой степени помог ему найти свой творческий путь. Писатель стал черпать материал из старинных легенд, и обратился к так называемому готическому роману.

Европа — страна прошлого. Америка — страна будущего, а настоящее Ирвинг не воспринимал так остро, как прошлое. Но описывая “дела давно минувших дней”, он оставался верен своему характеру, вырабатывая свой стиль, не свойственный европейским романтикам. Он писал рассказы и повести с легкой иронией, над всем подшучивая. Шутка проникала у него в

самые драматические ситуации. Но при этом избегал едкого сарказма и, тем паче, вульгарности. Можно сказать, что он не обладал глубоко критическим или аналитическим умом и не задумывался над социальными несправедливостями, присущими каждому веку, а умело придавал живой колорит событиям, отшлифовывал свою речь, разбавляя ее юмором, и получалась очаровательная вещица — легкая и увлекательная.

Ирвинг сумел переосмыслить таинственный романтический рассказ, в котором у него все кончается своеобразной карикатурой на трагическую ситуацию. Таковы, например, рассказы типа “Женных-призрак”, где много комично-таинственного, завершающегося, как почти все у этого писателя, счастливо. Самая известная новелла Ирвинга — его пересказ немецкой народной сказки “Рип Ван Винкль”, в которой незадачливый и баснословно ленивый герой, постоянно допекаемый своей сварливой супругой, таинственным образом засыпает на двадцать лет и просыпается уже в другое время. Он с удивлением смотрит на изменившиеся родные места, ничего и никого на первых порах не узнавая. Но и эта, казалось бы, трагическая ситуация завершается вполне благополучно.

Благодаря юридическому образованию, прекрасным светским манерам и личному обаянию, Ирвинг получает должность посла в Испании. Это предложение он с радостью принимает.

Испанский период творчества писателя был плодотворным. Здесь написана биография Христофора Колумба и замечательная вещь — “Хроника завоевания Гранады”, читающаяся как увлекательная легенда. Жил он тогда в сказочном мавританском замке Альхамбра.

Пребывание американского писателя в Испании имело и для нас, русских, некоторое значение. Здесь появились на свет рассказы-легенды, которые были опубликованы под общим названием “Альхамбра”. Известно, что Пушкин ценил американского писателя: в его библиотеке имелось семь книг Ирвинга, включая и переведенную на французский язык “Альхамбру”. Ахматова первая обратила внимание на то, что

“Сказка о золотом петушке” является рифмованным пересказом “Легенды об арабском астрологе” из книги “Альхамбра”^{*.} До Ахматовой никто не обращал на это внимания и источник “Золотого петушка” искали в “Тысяче и одной ночи”, либо приписывали все той же Арине Родионовне.

В пушкинском “Петушке” изменены имена, но содержание совпадает с оригиналом: ирвингский старый царь Абен Абуз, как и пушкинский царь Дадон, отказывается вознаградить звездочета за предоставленную ему, ленивому и дряхлому царю, возможность “царствовать, лежа на боку”. В оригинале, как и у Пушкина, всему виной пленительная “шамаханская царица”, которую возжаждали оба старца: царь и звездочет. И у обоих авторов обещание: “*Волю первую твою/ Я исполню, как свою*” — не выполняется, как обычно и бывает при таких обстоятельствах, причем не только в волшебных сказках. Это знал и холостяк Ирвинг, говоривший, что женщины навсегда остались для него загадкой и предметом восхищения, знал это и большой сердцевед и сердцеед Пушкин...

В связи с ирвингской “Легендой” и пушкинской “Сказкой” хочется сказать, что в былые времена как-то щедрее относились к творчеству: оно могло быть до какой-то степени общим достоянием — иначе как отнестись к “мирному сосуществованию” баснописцев Эзопа, Ля Фонтена и Крылова?

Но вернемся к Ирвингу. Его приезд из Европы был триумфальным. Писателя встречали как героя. В отличие от Фенимора Купера, сравнивавшего американский образ жизни с европейским не в пользу первого, Ирвинг был всем доволен. Он серьезно занялся устройством собственного гнезда и, нужно сказать, преуспел и в этом. Простой фермерский дом в Территауне, построенный в живописнейшем месте штата Нью-Йорк на берегу Гудзона, он постепенно превратил в сказочный домик, уютный и снаружи, и внутри.

* Анна Ахматова. Статьи о Пушкине. “Последняя сказка Пушкина”, 1931-1933.

До 1945 года дом находился в руках наследников писателя. Затем его купил Джон Рокфеллер, и в 1958 году Дом-музей Вашингтона Ирвинга открыли для посетителей. Дом необыкновенно фотогеничен (в этом отношении с ним может лишь немного посоперничать мрачное строение, описанное Готорном в романе “Дом о семи шпилях”), и потому его бесконечно фотографируют и срисовывают. Он утопает в зелени и в цветах; особенно популярны здесь сирень и тюльпаны: красные, желтые, белые. В небольшом озере плавают утки и лебеди.

Интерьер дома отражает изысканный вкус его бывшего хозяина. В кабинете стоит большой письменный стол с керосиновой лампой. Вдоль стен шкафы с книгами (солидная по тому времени библиотека Ирвинга насчитывала две тысячи книг). В столовой огромный стол, за которым всегда сидело много гостей, не считая семьи: с писателем постоянно жил его брат с женой и дочерьми. (Один из гидов Дома-музея сказала мне, что первая в Америке ванная с холодной и горячей водой появилась в доме Ирвинга и только потом — в Белом Доме. В печати, правда, я нигде не нашла подтверждения этой информации). Ирвинг любил музыку, играл на флейте, а его племянницы играли на фортепьяно. Это красивый, прекрасно сохранившийся инструмент из палисандрового дерева, похожий на клавикорды, еще стоит в гостиной; над ним висит гравюра, изображающая Вальтера Скотта в кругу литературных друзей...

Вашингтон Ирвинг был не только одаренным, но и культурным, разносторонне образованным, верным в дружбе и благожелательным человеком. Его называли “безукоризненным джентльменом”. Умер он в своем уютном доме, всеми почитаемый и любимый, прожив семьдесят шесть лет и успев перед смертью закончить монументальную пятитомную биографию Джорджа Вашингтона...

Утверждают, что Вашингтон Ирвинг первым в Америке принес респектабельность в профессию писателя. Сам же он говорил, что “литература — это игра ума, чувства и языка”.

(Продолжение в № 187)

Николай Панченко

“Я верую Первому Слову...”

*Родился я в Калуге. В городе на воде, как Константинополь:
зеленый холм под небом. Из которого торчат шпили церквей.*

Это случилось в 1924 году.

*В этом городе я должен был вырасти садоводом или огород-
ником, купцом или ямщиком: Хорем или Калинычем.*

Выросло то, что выросло.

*Я читаю о себе — в журналах и в словарях — и не понимаю:
о ком это? Мы все жили, писал Пастернак, на два профиля. И
как узнать тут, если эти профили не только не накладывались
один на другой, но и противостояли друг другу. Если надо было
дойти до отчаяния, как Солженицын, чтобы ценой жизни
прокричать: “Жить не по лжи!”*

*Каждый из нас, кто прокричал это, дошел до отчаяния. И
каждый раз — ценой жизни:*

Тем все равно, кто не служил тебе.

А я служил:

был твой надежный панцирь,

Твоя стрела на жесткой тетиве,

Кистень и нож в твоих крюкатых пальцах.

Тем все равно, кто дань платил горбом.

А я, рабом рожденный, —

Славил рабство,

Твое злонравье и твое злорадство.

Тем хорошо, кто дань платил горбом.

А я себя по ключьям растерял,

В огонь и в воду с гордостью бросая.

Тем все равно,

Кто лгал, себя спасая.
 Тем хорошо, кто знал, что ты тиран.
 Но был момент:
 Еще ты жил и жал,
 Людей сажал, верша двуострый выбор,
 Когда, вильнув, из рук твоих я выпал,
 Вонзился в пол и звонко задрожал.
 Как я решился?
 Как я мог посметь —
 Вонзить не в цель направленное жало?!
 Но рухнул вождь.
 Я славлю эту смерть
 С жестокостью, обычной для кинжала...

1953

Но еще до того, как “вильнуть” (я не боюсь этого слова: что, как не вильние “жизнь на два профиля”) — еще до того, как решиться посметь “выпасть из ЕГО рук”, понять преступность ЭТОЙ своей жизни, надо было увидеть ее со стороны, стать хотя бы на миг не участником и, конечно, еще не судьей, но хотя бы свидетелем этого адского процесса века:

Мы — свидетели в большом и людном зале.
 Стены убраны и поднят потолок.
 Мы — свидетели
 С усталыми глазами.
 Каждый ищет в этом зале уголок.

Но откуда в этом зале уголки?
 Время жилы натянуло на колки.
 И звучат они как “ми”,
 Звучат как “си”,
 И кричат они как — “Господи! спаси!”
 Ты держи меня, пожалуйста, держи!
 Я дрожу, и ты, пожалуйста, дрожи!

Мы дрожим.
И, значит, чем-то дорожим.
Мы с тобой как два свидетельства лежим.

Стены убраны и поднят потолок.
Но рука твоя, как тропка — в уголок,
Словно лесенка ступенчатая — в дом...
Это место охраняется стыдом.

В людном зале продолжается процесс.
Но лежишь ты, как свидетельский протест!
Но лежу я, как свидетельский протест!
И присяжные повскакивали с мест.

Интересно им, забавно поглядеть:
— Это кто еще не хочет умереть! —
Посудачить, как за стенкой, за тобой,
Похихикать, как над крышей, надо мной.

1965

Я счастлив, что случилось мне увидеть начало конца этого кошмара. И мне страшно от того, что не всякое — самое великое начало! — находит не только завершение, но и продолжение свое.

Я давно не боюсь за себя. Когда рядом смерть, ты понимаешь, что твоя жизнь в руках Божьих. Это я принял в сердце (оно убывало, как шагреневая кожа) на войне. Об этом моя "Баллада о расстрелянном сердце". Не боялся я ни тех фашистов (коричневых), не боюсь и этих (красно-коричневых). Но я боюсь политиканов, карьеристов, равнодушных, жадных, вообще дураков, разлагающих все своим мерзким существованием.

Я боюсь за страну. А сам завершаюсь. И только страх за Россию не дает мне выдохнуть светло и легко эти стихи:

ПАМЯТИ ОСИПА МАНДЕЛЬШТАМА

Завершение — отважное дело:

Это — сверх! —

И само естество.

И предел, и незнание предела,

И провал, и его торжество.

Это больше не слово поэта,

Что и начерно и без конца,

Это набело,

это без цвета,

Как глухое лицо мертвеца.

Завершение — искусство! —

по сути

Безответно всему вопрошать...

Мы умрем —

И отборные суки

Сядут наши дела завершать.

* * *

Иль мало нас били нелюди?

Иль выбили весь народ?

И остались — как были! — нелюди,

И кнутами прибитый сброд,

Как дождями пыль,

где ковыль и степь.

Все и каждый — один из тех.

Били нелюди — было горче нам.

А когда не один мильён —

Что же делать с ним, с этим

порченным

Человеческим небыльем?

Не заигрывать и не заискивать —

хам грядет или хан грядет.

Если что-то дойдет,

то искренность,

Если что-то еще дойдет...

Я верую Первому Слову,
подвергнув сомнению слова.
Утишь мою, Господи, злобу:
Она не бывает права.

Слепит она солнце
и ложью
Над миром возносит раба.
Дорога ее к бездорожью,
Ее бездорожье —
Борьба.

Мы все ее брали на пробу
Изустно, с пера и с копья.
Умерь мою, Господи, злобу
К такому же зверю, как я.

*Но во мне всегда жил, в самые худшие времена, между этими
"двумя профилями" тот, кто, родившись в славной Калуге, мог
стать садоводом, огородником, лесником и автором хотя бы
вот таких, милых моей душе, стихотворений.*

На перепутье дня и ночи
Был снег.
Но сдуло облака —
И небо высветил комочек
Серебряного колобка.
Он, уменьшаясь, вверх катился,
Как знак безмолвия,
как мышь,
И фосфорически светился
Весь мертвый мир дворов и крыш.
И лишь к полуночи, как порох,
Взрывая тишь,
со всех сторон

Стреляли белые заборы
Дымами взвившихся ворон.

* * *

Взлетать и падать, не страшась,
Мгновение — пока летится! —
Когда еще случится шанс
Душе бездомной воплотиться!

Проснуться заспанным лицом,
Постичь тепло и тяжесть тела,
И стать — ни за что! — сотворцом
Почти немыслимого дела.

Глядеть на небо, слушать гром,
Любить — ловить губами губы.
Играть сподручным топором,
Растя сочащиеся срубы,
А рядом ставить деревья.
Плести плетни,
Вьюнками виться.

И сквозь предсмертные слова
Опять бессмертным становиться.

* * *

Люби меня тихо и грустно,
пока за порогом темно,
любить, как болеть — безыскусно, —
никто не умеет давно.

Но с глазу на глаз и заглазно,
едва зарумянится свет, —
люби меня полно и праздно,
как будто усталости нет.

А в этой больничной одежде,
где я и четыре угла,

люби меня просто, как прежде,
когда не любить не могла...

Душа в заветной лире...
А.С. Пушкин

Я не умею...
Я имею быть —
Тянуть строки прерывистую нить,
Улавливая в будущей строке,
Что если есть,
То где-то вдалеке,
Что будет, если сбудется строка.
Я близкое веду издалека.
Издалека иду и не иду,
Живу издалека — не на виду.
Вхожу легко.
И ухожу легко.
Так близок я!
И так я далеко —
Пока на расстоянии руки
Никто не видит будущей строки.

Уже как в стороне стою.
Почти на ощупь — год за годом —
Перебираю жизнь свою —
Не торопясь перед уходом.

Не торопись и ты — постой.
Не рви, отбрасывая лица —
Все это срывы жизни той,
Которой так хотелось длиться!

Перетекая не из книг —
Из сфер, где музыка звучала,
Где окончанья всякий миг —
Лишь обнажение начала.

Лазарь Шерешевский

“Страною Оз иль Изумрудным городом...”*

ГРОЗА В КАНЗАСЕ

Асфальт дорог отсвечивает жостью,
И камень печью раскаленной кажется...
Но вот — как наваждение, как возмездье —
Гроза в Канзасе, иль точнее, в Канзасе.

Ковбоем-ветром согнаны из прерий,
Толпятся тучи нрава не смиренного,
Ключи зарниц приоткрывают двери
В какой-то запредельный мир сиреневый.

Под переливы сдержанного гула
Виденья возникают в небе вспоротом,
Являя все, что там на миг мелькнуло,
Страною Оз иль Изумрудным городом.

Разряды сухо щелкают бичами
В отвесных ослепительных промоинах,
А гром — как возмущенное мычанье
Косматых стад, бездомных и недоенных.

Под вспышками, подобными навахам,
Разверзнуться вдруг хляби оглушительно, —
Как будто тем стадам единым махом
Сосцы сдавили круто и решительно.

Конец лучам! Поминки по лазури!
Пора стадам излиться и отмяться!
Бушует ливень, и река Миссури,
Как шея кобры, гневно раздувается.

Туман повис на гордых небоскребах,
Их четкость смяв своей ползущей силою, —

* Из цикла стихов “Путешествие по Америке”.

И заблудились в вымокших чащобах
Железный Дровосек с дружкой-Страшилою.

УБЫВАЕТ МОЯ ЭПОХА

Прикрываю глаза в бессильи,
Долготою дороги донят, —
Что в Америке, что в России —
На пространстве не экономят.
Впечатленья в густом настое
Сердце старое утомили,
И коломенскую верстою
Предстают заморские мили.
В небе — плоской луны лепеха,
В клочьях туч, как в ошметках дыма...

Убывает моя эпоха,
Безвозвратно, неотвратимо.

...Заунывные трубы кличут, —
Свитой воинской окруженный,
В путь последний движется Ричард —
Спутник Айка, соперник Джона.юю
В синеву белый купол врезан,
Почесть воздана, грех отпущен.
Над изгнавшим его Конгрессом
Государственный флаг приспущен.
К бездне годы нас подтолкнули,
Ненасытна ее утроба,
И кого не достали пули,
Тех приканчивают хворобы.

...На экране сюжет недлинный, —
И Америка напряженно
Смотрит похороны Жаклины,
Тридцать лет спустя после Джона...
Смерть, как танк через толпы ломит,
Мало прежней простой косы ей, —

И на людях не экономят,
Что в Америке, что в России.
Пью вино не на именинах
Тех, кто помнится по старинке:
Из России летел с поминок,
И сюда попал на поминки.
Губит признанных и опальных,
И прославленных, и безвестных
Век двух бешеных войн глобальных
И несчетных сражений местных.
Словно буря, над миром грянув,
Буйно правит свой вечер поздний
Век Вьетнамов, Афганистанов,
Карабахов, Ливанов, Босний...
Задыхаешься от надсады,
Стоном выкричан, кровью вылит,
Взбаламученный век двадцатый,
Сквозь меня проходя навывлет.
Долго ль будет еще он длиться,
До какого дойдет упора,
Отражая новые лица,
Продолжая старые споры?
Я устал от его усилий,
Перекроек и переделок —
Что в Америке, что в России,
Что и в прочих земных пределах...

АТЛАНТИДА

Вот и все! Позади таможня,
Реет лайнер, меж туч скользя.
Из России уехать можно,
От России уехать нельзя.
Обозначены в небе тропы
Чутким радиомаяком:
Пол-Америки, пол-Европы
И Атлантика — целиком.

Свет в салоне слегка притушен,
 Пена волн с высоты ровней...
 Я к Атлантике равнодушен —
 Атлантида моя не в ней.
 Следопыты, друг с другом споря,
 Пусть блуждают в придонной мгле, —
 Атлантида моя не в море —
 Атлантида моя — в земле.

В той, что скудно меня кормила,
 Душу властно беря в залог,
 Где в неведомую могилу
 Мой отец расстрелянный лег.
 Где годами я был бездомным,

Где, земные свершив дела,
 Мать моя на погосте скромном
 Свой последний приют нашла.
 Где все горше и безысходней
 Одногодков моих житье,
 По земле ходящих сегодня,
 Чтобы завтра уйти в нее —
 И завидуй иль не завидуй
 Тем, кто в годы врубает след, —
 Станет жизнь моя Атлантидой,
 Погребенной в пучине лет.
 Никого собой не затронув,
 Многим судьбам людским под стать,
 И не ждя никаких Платонов,
 Чтобы весть о себе подать...

Но пока сквозь простор тревожный
 Пролегает моя стезя, —
 Из России уехать можно,
 От России уехать нельзя.

*Канзас-Сити
 США*

Светлана Соложенкина

“Загадочная Русь — с убитыми царями...”

* * *

Мы все — “книгоиздатели” немного:
располагают климат и судьба,
размер стиха — сибирская дорога,
а жизнь, известно — вечная борьба!

...По строчке, по оброненному слову
любимого поэта собрала,
суровой нитью сшила — жизнь сурова! —
и всю-то юность счастлива была

читать его, листать, ласкать глазами
(так льнут в лесу к столетней ели мхи...).
Не знаю, под какими небесами
еще возможно так любить стихи!

В России странно слышать слово “пенье”,
здесь не поют: здесь шепчут иль кричат,
а чаще — оглушительно молчат
за миг, когда взрывается терпенье.

Но мы-то знали: нам терпенья хватает.
Ведь рядом были Гумилев и Блок —
в обычной ученической тетради,
где звезды проступали между строк.

Издайте все (и это будет кстати),
что — дети затянувшейся зимы —
по буковке в блаженном самиздате,
как птиц из клетки, выпустили мы.

* * *

Прокатили залетные сани.
Мощный бас, словно Вдлга, течет...
Соболя признавали и сами:
“Для такого стать шубой — почет!”

Синий ельник объятья разлапил,
чтоб с любовью найти среди теней...
Царь Борис. Или проще — Шаляпин.
Может, проще, а может, сложнее?

После смерти вернулся? Так что же?
Он на пальце Земли — самоцвет...

Этот голос нас будет тревожить
еще сотни и тысячи лет.

* * *

Как в старинном романсе — такие дела —
когда тронулся поезд, в смятеньи
ты в окошко вагона ему подала
чуть привядшую ветку сирени.

Кто он? Просто мальчишка с пушком на губе.
Так... Порыв, увлечение минуты...
“Это просто смешно!” — ты сказала себе.
И... заплакала почему-то.

Шли столетья. Мелькали материки.
Бомбы падали. Выли сирены...
Но, убитый — не выпустил он из руки
чуть привядшую ветку сирени.

Даже смерти понравился этот романс.
Он бессмертен, вне всяких сомнений.
Кто б осмелился Богу подать — ну, хоть раз —
чуть привядшую ветку сирени!

* * *

Как жили? От получки до получки,
от пенсии до пенсии теперь,
и от потери — до других потерь.
Нет! От луча к лучу, скажу я лучше.
Мне письмами от ангелов цветы
всегда казались. Мог читать и ты
их золотые, огненные строки,
когда бродил под осень одинокий.
Пурпурный гладиолус, георгин
и ноготки, горящие до снега...
От человека и до человека
брели, с цветком в руке, мы в царстве льдин.
От музыки — до музыки. Она,
как гейзер, вдруг из быта вырывалась,
ее потоком мощным — вся усталость,
как пыль, с души бывала сметена!
Мы жили и пощады не просили.
Мир был для нас для всех — как член семьи.
От мотылька порой до Хиросимы
мы доживали, и в аду — свои.
И все-таки мы верили в зарю.
Ведь отменить ее — никто не в силе.
Как жили? Раз об этом вы спросили,
то “от луча к лучу!” — я повторю.

* * *

Загадочная Русь — с убитыми царями,
с немеркнущими нимбами святых,
с болотами, с лазурными цветами...
Гром отгремит — и снова край мой тих.
Здесь клад зарыт, а где — никто не скажет.
И любят здесь, любимое — губя.
Леса стоят, как вековая стража.
От ворогов? Иль — от самих себя?

АНТОЛОГИЯ СОВРЕМЕННОГО РАССКАЗА

Игорь Киселев

Зверь

I

Он появился на Острове поздней весной, когда потеплевшие ветра и течения растерзали хрупкие и тонкие дымящиеся пленки поверхностного льда Беломорья, разнесли их, закружили и стали растворять в серой воде, сталисто блестящей в лучах низкого нещедрого северного солнца, которое не грело, зато наполняло искрящийся футляр видимого пространства мириадами фантастических бликов.

В один из ясных, погожих дней, когда воздух наполнен сиянием, а горизонт и кромка неба — дымкой парящего моря, — в один из таких дней мимо Острова проплывала льдина, маленькая, тощая, одна из последних, из тех, что при своем рождении поражала воображение своими размерами, и потому только еще не погибла, слившись с пучиной, которою была рождена, и которая теперь, шаг за шагом неторопливо, но и неуклонно подтачивала ее. В следующую зиму отдельные ее молекулы, спаявшись, снова обретут твердость и голубовато сверкающую, слепящую белизну и станут легче воды. Разметавшись, они покроют ее плотным панцирем. Но сейчас море освобождалось ото льда, как змеи расстаются с прошлогодней кожей, сослужившей когда-то верную службу, а теперь ненужной и даже вредной.

Льдина была обречена. Волк, стоявший в самом центре ее, тоже был обречен — и знал это, и был к этому готов. Безразличие владело им. Льдину покачивало, и вода с каждым днем подбиралась все ближе к тяжелым лапам матерого и гордого зверя.

Это был сильный, умный, опытный и немолодой уже волк. Он, как и льдина, тошал и таял изо дня в день. Но лед был рожден водой — и уйдет в воду. Волк же был рожден, вскормлен землей. Мать питала его соками, взятыми из земли. Потом земля питала его самого — когда обильно, когда скудно. Но в любое время года он всегда верил в твердую плоть земли — и выживал.

Земля дарила ему любовь и детей, но он никогда не мог предположить, что она так дорога ему, что только на ней он и может жить, и что даже если бы в его теперешнем безысходном положении у него была еда и более надежное плавучее средство под ногами, ему все равно долго не продержаться. Для жизни ему нужна земля — заснеженная, травянистая, болотистая, чашобная — любая, чтобы почувствовать лапами едва осязаемое пульсирующее содрогание жизни в ее недрах. Чтобы двигаться, выскивать, изматывать, настигать жертву или в качестве потенциальной жертвы уходить самому от преследования людей — не очень сильных и не очень умных, но обладающих таинственной убийственной силой, с которой, он хорошо это знал, ему не справиться.

Земля родила его, вскормила, давала ему все, в чем нуждался, и он должен был вернуться в нее — это была единственно возможная и единственно посильная плата за все долги, и он чувял ее зов. Он был готов к смерти, но возможность быть поглощенным этой безжалостной бездонной пучиной наполняла его бессильным бешенством в те первые дни, когда льдина была еще значительных размеров, и он страдал лишь от холода, одиночества и предчувствия голодной смерти.

Вскоре он заметил, что льдина день ото дня неизменно уменьшается. Правда, ночи стояли холодные, и за ночь наваривался по периметру блестящий и тонкий припай. Но день не только нещадно пожирал этот жалкий подарок, но еще и слизывал с неумолимой жестокостью новые сантиметры леденцовой кромки, отполированной мягкими волнами, готовыми

захлестнуть волка и принять в стылое и ненасытное чрево Ледовитого океана.

Вместе с льдиной таяла надежда и сопутствующая ей ярость. На смену приходили безразличие и безволие. Силы покидали его, но он не садился и не ложился — он стоял — знал, что если упадет, больше не поднимется. Он также хорошо знал, что льдина растает значительно раньше, чем он лишится сил.

Однажды волной забросило рыбу — не большую и не маленькую, не дохлую, но и почти что не живую, скорее всего, больную. Ее выкатило пологой волной. Она сверкнула оранжевым предзакатным бликом, на мгновение остановилась и стала скатываться вниз, в море. Но не успела — цепкая тяжелая лапа остановила ее на полпути, вонзив мертвой хваткой когти в глаз и в жабры. Чтобы преодолеть расстояние между собой и уходящей рыбой, ему пришлось прыгнуть. Прыжок был легким и коротким, но силой инерции зверя повело к краю льдины. Зверь лег на живот, распластался шерстью по безупречной шлифовки, широко разбросав на льду лапы. Левой передней он крепко прижимал ко льду добычу. Рыба слабо трепыхалась, но в этих судорогах не было воли к сопротивлению, это была агония. Неподалеку от кромки он остановился и осторожно, не на лапах, а судорожными движениями всех мышц стал ползти к середине, где не было волн, где лед был шершавый, неравномерно плотный, в раковинах и трещинах, позволявший устойчиво держаться даже при сильной волне. Правый бок подмывали волны, они помогали, подталкивая. Он не боялся воды, плавал он прекрасно, быстро и долго мог держаться на воде, но если упасть в воду, назад можно не выбраться.

Он выполз на сухое и устойчивое место, съел рыбу сразу же, держа лапой голову, отхватывая большие куски и глотая их. Потом съел и голову.

Еда вселила бодрость. Взбодрила не столько скудная еда, сколько приключение — охота и опасность. Вместе с бодростью пришло нестерпимое острое желание жить, надежда и ярость.

Безразличие растворилось в липком тумане длинных вечерних сумерек, но ночью, в беззвездной темноте подступил, наконец, страх, сковав неуправляемой судорогой все тело до последней жилки — и страшный, безумный вой огласил воздух над шипящей вспененной бездной, вой, ужасающий безысходностью, безответностью, отчаянием и безумием своей ненужности...

А наутро, когда бесконечный северный рассвет стал расцветивать небо над юго-восточным горизонтом, вдали показалась Земля. Но задолго до того, как горизонт стал явственно неоднороден, в тревожной вяжущей тьме, задолго до рассвета, он почувствовал запах, сладкий и хмельной до одури — так пахла Земля.

Льдина уже два дня как сменила направление и двигалась на юг. Таяла она катастрофически быстро, попав в струю теплого течения.

Земля виднелась на юго-востоке. Сначала и она показалась льдиной, такой же маленькой и приговоренной, но порывы ветра несли сладчайший в мире запах, и запах этот не мог обмануть. Земля приближалась, и вскоре стали видны отдельные пятна, которые со временем превратились в очертания рельефа, зубчатые сосновые склоны, золотящиеся и зеленеющиеся изумрудно-рубиновой радужной северной рассветной палитрой.

Зверь стоял недалеко от края льдины, лапы его напряглись, а тощее, измученное и истерзанное голодом, ветрами и стужей тело натянулось струной страстного, напряженного ожидания. Накаты волн холодили передние лапы. Через некоторое время он понял, что Остров останется в стороне, справа, достаточно далеко. Такие расстояния он никогда не преодолевал, даже самые большие северные реки не разливались в половодье так широко. Остров приближался, и скоро стало видно, что это два острова — большой и другой — поменьше. Плыть нужно на большой, там больше пищи, легче спрятаться и уйти от преследований. Но если начнут сдавать силы, можно свернуть на

меньший. А пока — рассчитать кратчайший путь с учетом скорости ветра и течения воды. Волна небольшая. Двигаться надо экономно, иначе — не доплыть.

Выждав нужный момент, он подошел к самому краю льдины, которая сильно накренилась и мягко опустила его в воду. Вода оглушила и сковала, но легко держала на поверхности. Воля была парализована, двигаться не хотелось. Он повернулся мордой к Острову, затем развернулся еще на несколько градусов на север, с расчетом на течение, и поплыл. Если он все верно рассчитал, то северо-восточного мыса, далеко выступающего в море, он достигнет засветло.

II

Пищи на Острове было много. Хищников там никогда не было, живность плодилась быстро и водилась в изобилии. Зверь без промедления включился в экологический процесс. Он не был ни злым, ни жестоким, поэтому убивал только по необходимости, чтобы утолить голод. Одно беспокоило его — он был замечен людьми, а это, он знал, не предвещало ничего хорошего. Вначале, почти сразу по прибытии на Остров, худой и больной, он зарезал овцу, совершив серьезную ошибку. Он не боялся ходить вокруг поселка, не причинял никому вреда. Но наутро люди находили его следы. Они могли устроить облаву, а на Острове бежать некуда, вокруг море. Он больше не трогал животных в поселке, но это, он хорошо знал, не было гарантией безопасности: люди убивают не от голода и не защищаясь — им просто нужно убивать. И волк изучал приютивший его Остров, его тропы, озера, каналы, запоминал их, составлял маршрут возможного ухода от преследователей.

Островные власти забеспокоились, но решительных действий не предпринимали. Областное начальство сначала было посмеялось, но затем кто-то из вторых секретарей сообразил, что ситуацию можно подать под особым гарни-

ром, чтобы получить от этого существенный “политический навар”. В результате оно апеллировало в Москву с предложением сформировать авторитетную комиссию. Несмотря на пустячность вопроса (а может как раз благодаря этому), такая комиссия была организована в кратчайшие сроки — не прошло и года.

А пока начальство реагировало, предпринимало, отвечало, запрашивало, колебалось, решалось, совещалось, консультировалось, отстранялось, привлекало, — на Острове началась охота на волка. Несколько браконьеров стали ходить по следам, выискивать, караулить, выслеживать, бдить.

Но зверь был умен, хитер и опытен. Он без труда уходил от преследователей. И хорошо понимал, что это только начало, что главное — с загонами и флажками — впереди. Островное начальство не санкционировало охоту, но смотрело на нее сквозь пальцы, будучи уверено, что грядущая комиссия приговорит животное. Таким образом, в случае, если его убьют, будет проявлена инициатива на местах. Но если все-таки решение окажется каким-нибудь иным, что почти исключено, — с начальства “взятки гладки”, за всеми разве уследишь?

Раздавались голоса и в защиту волка, как “уникального представителя островной фауны”, непонятно каким образом объявившегося на Острове. Некоторые просто предлагали соблюдать закон. Остров — заповедник, говорили они. У него есть охранная зона и предусмотрен охранный режим, который и является главным законом на Острове. Но над ними только посмеивались, так как каждый школьник в России знает: закон — что дышло.

Итак, общественность творчески дискутировала. Начальство совещалось, а отчаянные ребята с двустволками бродили по Острову в поисках острых ощущений и жаждали крови. Никто из них не нес ненависти в сердце, одни хотели прославиться, другие — развлечься, третьи — искренне верили в то, что

наказывают порок — хищник убивал Божьи твари, и это было не то чтобы непривычно или противоестественно, а скорее кощунственно для Острова, где естественный отбор давно был отрегулирован и реализовался по иным, нематериковым законам, без насилия и убиений.

В комиссию вошли авторитетные ученые, журналисты, местные природоведы, общественные деятели, лауреаты премий мира, писатель-урбанист, художник — маринист, один космонавт, из последних, а также один очень ответственный работник, который, нетрудно догадаться, и был назначен председателем комиссии.

Комиссия была единодушна. Хищник способствует оздоровлению островной фауны. Ему разрешили жить. Пока на Острове достаточно пищи, людей он не тронет. Однако следует принять кое-какие меры. Заходить далеко в лес — только с оружием. Детям запретить самостоятельно гулять в лесу (они никогда там и не гуляли — там топи, в самое сухое время хлюпает под ногами, велика радость — играть в грязи в болотных сапогах). Разработать комплекс мер с тем, чтобы обезопасить местное население и в то же время обезопасить зверя от посягательств местного населения. В крайнем случае, в целях самозащиты, при угрозе жизни и здоровью людей и в некоторых других случаях (в разработанной директиве таких случаев оказалось шестнадцать) разрешалось прибегнуть к исключительной мере. “Поручить Поселковому Совету довести решения комиссии до сведения местного населения”.

Таким образом, государство взяло под свою защиту затравленного и одинокого и — все понимали это — в общем-то, обреченного зверя.

Местное телевидение уделило в “Новостях” две минуты эфирного времени, а также три минуты в одной из передач, посвященных охране окружающей среды. Главного героя, понятно, не показывали, но говорили о нем тепло, и с гордостью

творения, постигших все мыслимые глубины гуманизма. Одна из центральных газет отвела два столбца на последней странице, где рассматривался не столько конкретный случай, сколько обобщались, суммировались достижения в стране в “деле охраны окружающей среды по сравнению с 1913 годом”. Картина получалась внушительной.

На характер и поведение волка все эти события не оказали решительно никакого влияния. Он был по-прежнему скромн, научился не оставлять следов, дневной рацион не ограничил, бдительность не ослабил. Он жил, как и раньше — преследовал, убивал, насыщался, прятался, уходил от преследователей. Но в общественном мнении его акции неизмеримо возросли. Островитяне зауважали зверя. Начальство было довольн, что появилась директива-инструкция, и можно было не думать много, и было понятно, за что теперь отвечать, а точнее как обезопасить себя в случае чего.

Когда устоялось общественное мнение, из которого можно было неограниченно черпать и горячо отстаивать свое собственное, охота на зверя прекратилась.

III

Стояли самые длинные дни в году — вторая половина июня. А точнее — ночей не было совсем, солнце описывало длинные дуги по небу. Днем оно взбиралось на южный небосклон и висело там высоко, поливая землю непривычным для этих мест ласковым золотистым теплом. Ночью же катилось по горизонту с северной стороны — и осыпало остывающую землю, озерную гладь и море тяжелым красно-оранжевым конфетти. Ближе к полночи ныряло под горизонт, ненадолго, обманчиво обещая сумерки, и тогда небо багровело и зеленилось, и мерцало айсберговым блеском, и дальние сосны отпечатывались на нем лохматыми аппликационными пятнами.

Потом горизонт наливался лиловой дымкой, как стыдливая барышня — румянцем, насыщался, кровавился, свет-

лел — и вот горящий шар снова катился по сосновым верхушкам, поигрывая лучами. Предутренний ветер робко начинал рябить бывшие до этого безупречно-гладкими озерные зеркала, до того гладкими, что можно было потерять пространственную ориентацию, настолько идентичны реальный мир и его отражение. А сделаешь снимок — и вертишь в руках фотографию в нерешительности, гадая, где берег, поросший непроходимым лесом (северными джунглями), а где его отражение в воде...

Ночь ото дня отличается безлюдьем. Спят военные моряки в казармах и в кубриках своих плавучих домов, выкрашенных в стальной цвет. Спят туристы на турбазе или в палатках, забравшись в спальные мешки. Спят реставраторы в Кремле. Спит поселковая островная милиция в составе трех кокард. Спят продавцы, набегавшись, намаившись, налавившись.

Спят, однако, далеко не все. Вон бродят вокруг Кремля — кто бы это? — обнявшись. Быть может, туристы, а скорее, судя по манере держаться, непринужденно, но и без вызова, московские студенты, бойцы строительного отряда. И на колокольне, самой высокой точке монастыря, шевелятся маленькие черные фигурки. Они обходят по периметру последний ярус — тоже парами.

Когда-то, в восемнадцатом веке, ярус был огражден по периметру металлическими перилами, которые были сведены на какие-то утилитарные нужды в те времена, когда с храмов были сброшены кресты, вместо них установлены звезды, а в монастыре и в скитах устроен лагерь особого назначения, тюрьма для лучших граждан страны.

На Корожной башне тоже движение. Там ждут первого луча, который вспыхивает почти сразу же вслед за последним.

А по озерам, в каналах и в заводях застыли лодки. В редких лодках целуются, люди здесь, по преимуществу, серьезные, заняты делом, они ждут рассветного клева. Рыба

в междувременье не клюет, зато рыбаки, кутаясь в бушлаты, клюют носом. В заводях, в переплетении ивняка, собираются клочки тумана. Они серебрятся, лиловятся и, как призраки, топчутся на месте, вихрятся, деформируются, втекают друг в друга — шабаш водяных. Образы настолько реалистичны, что мороз пробегает между лопатками, а рука тянется к веслу.

Не спят и в Троицком скиту. В одной из келий — в тридцатые годы они служили камерами — сидят двое. Один постарше, средних лет, другой помоложе. Тот, что постарше, сидит на обрубке — пеньке, положив локти на стол и подперев щеки кулаками. Это хозяин, он работает сторожем, хотя сторожить здесь особенно нечего и не от кого. Похожее, что работа привлекает его именно этим. Мужик он серьезный, инженер из Тулы — “образованец” и оборванец. Он молчит и слушает собеседника, и его это устраивает — не нужно говорить самому.

Того, что помоложе, зовут Алексей, или Леха. Он полуразвалился на кровати и вдохновенно врет. Он врет всегда — и свежий человек слушает его с удовольствием. Но потом он начинает повторяться, особенно когда надолго запивает, и слушать его становится утомительно. Его иногда поколачивали, не зло, не так сильно, чтоб оставались следы, но и не так слабо, чтоб не надоедал.

Врал он напропалую, в его рассказах не было и тени правдоподобия. Но воображением он обладал могучим, и насыщал умело и умно свои рассказы такими подробностями, до которых средний человек вряд ли когда-нибудь додумается. Кроме того, голос его обретал все возможные оттенки искренности, проникновенности и взволнованности, а глаза загорались страстным блеском вновь переживаемых воспоминаний. Все это располагало слушателя и вселяло, помимо веры, удивление, восхищение, радость и гордость от того, что беседует с таким замечательным чело-

веком, свидетелем и участником таких невероятных событий. Конечно, если он слушал впервые. Истории рассказывались, когда стаканы уже пусты, но в бутылках еще много, да и бутылок много, и магазин закрывается не скоро, а вчера была получка.

А его собеседник сидел и молча наливал время от времени. Он не слушал. У него были свои заботы. Платили мало, так что едва хватало на водку и на чай. Зато рыбачил, и рыба, изобильная и жирная, хорошо кормила. Постреливал конечно, не без того, но никто не ловил пока за руку, да и в лесничестве ребята свои.

Самое неприятное сегодня — этот лохматый, огромный, откормленный на легких островных харчах зверь, который повадился к его суке. Хороша сука, друг человека, волкодав хренов. Правда, она родилась на Острове и волков сроду не видала. Жизнь стала невыносимой. Ни ночью сна, ни днем покоя. Ночью по нужде страшно выйти, днем ходи с ружьем да с оглядкой. А собственная собака, призванная охранять тебя, приваживает волка. Чтоб ты сдохла, стерва!

— Что ты сказал? — спросил Леха.

— Ничего, это я так, — ответил сторож, разлил по стаканам, выпил и положил, как прежде, щеки на кулаки. Пристрелить бы суку, да жалко, хорошая собака, дорогого стоит, да и служила всегда хорошо, по совести. Нет, нужно его, это несложно. Умники хреновы. Волку жить на Острове! Сами бы пожили здесь. Правда за два года никого не тронул, но где гарантии, что не тронет и впредь? Пальну, а там скажу — оборонялся, пусть разбираются, ни одна собака не дознается, как дело было.

Сторож опять разлил и выпил. Потом снова положил голову на кулаки, продолжая смотреть в окно.

За окном, на близкой опушке, между кривыми стволами уродливых лесотундровых берез осторожно прокатился крупный серый ком.

Сторож встал, протянул руку, снял со стены ружье, переломил, вставил патрон, потом другой. Второй вряд ли понадобится, но чем черт не шутит? Потом посмотрел на кровать: Алексей спал, похрюкивая. Он взял ружье в правую руку, осторожно подошел к двери, открыл ее левой рукой и вышел в тесные темные сени. Постоял немного и резко распахнул наружную дверь. Серый ком метнулся к березам.

...Алексей выстрела не слышал. Спал он, неловко подвернув руку, но зато удобно устроив на хозяйской кровати грязные болотные сапоги.

...А через месяц в Москве, в Старосадском переулке, в первом этаже, над которым парит на витрине кружка с кудрявой шапкой голубой пены, Алексей стоял за мокрым, никогда не убираемым круглым столиком, и впервые в жизни повествовал правдивую историю, не придуманную, а почерпнутую из его богатой событиями и сумбурной биографии.

...Слышь, сторож его ухлопал ночью, с первого выстрела. И никто не удивился этому, он давно уже грозился, когда напивался. Убью, говорил, и его, и эту суку — развели блядство в святом месте. А волка ненавидел, наверно, потому что боялся. Как начнет говорить о нем — и глазища кровью. Я в это время спал, а вернее, не вязал лыка. Утром глаза продрал, гляжу, он сидит, пьет, и стакан стучит о зубы. Ты спал? — спрашиваю. Нет, — отвечает односложно. Тогда отчего колотун? — от удивления начинаю приходить в себя. Он не ответил, только глазами за окно показывает. Я сначала не понял, у самого черепушка чугунная. Ну, думаю, нужно поправляться, такими глазами вряд ли что-нибудь рассмотришь. Вынул из-под стола целую, распечатал — у нас там ящик стоял, руки, сами знаете как по утру, колотун, что твой Ван Клиберн на конкурсе Чайковского. Но справился, кое-как опрокинул, хрустнул огурцом, пора, думаю глядеть.

Посмотрел — и опять отрезвел. На опушке лежит животина ногами к нам. Здоровый черт, я никогда его до этого не видел. А рядом лежит его овчарка, потомственный волкодавчик, морду положила ему на спину и скулит. Тоскливо так скулит. Я сразу понял что к чему и говорю: ты что, озверел, посадят ведь, да и меня с тобой заодно. А он мне — заткнись, без тебя тошно, а самого трясет. Потом говорит: она к себе не подпускает. Бросилась, говорит, на меня, когда он упал. Я стрелять, говорит не стал, а быстро в дверь.

Ну сидели мы так еще полдня, попивали, я как будто оклемался немного и думаю — не век же мне так сидеть. Ну, выпьем остальные пол ящика — а дальше? Ему-то все равно, он на рабочем месте, а мне на работу, я уже три дня после полочки гудел.

Взял ружье на всякий случай — и к двери. Он как кинется ко мне — ты что, говорит, задумал? Не дрейфь, отвечаю, в сортир по нужде. Вышел на крыльцо, а палец держу на спуске, потом прошел до будки — и обратно: псина ноль внимания, фунт презрения, поскуливает, слушать невозможно — так жалобно, удавиться можно.

Вернулся я в келью-камеру, повесил ружье, опоясался ремнем, а на ремне нож охотничий — и пошел на юг, к монастырю.

Таскали потом. Я, конечно, говорю как есть: не видел, мол, а они не верят, групповуху шьют. Я им говорю — за один курок держались, что ли? А он отпираться не стал и врать не стал, что оборонялся. Получил год условно.

А сука так пролежала, пока волк разлагаться не стал, и запах от него не пошел. Поднялась и ушла в лес. И житья с тех пор от нее не стало. Волк был осторожен, зайцев задирали и оленей, а также другую мелкую живность, но только дикую. А эта кур таскала, овец резала, свиней. Вот и подстрелили ее, охоту устроили — и продырявили в четыре ствола, почти синхронно, — и, слава Богу, не мучилась.

Дарья Гущина

Не путать с Доминиканской Республикой

Вера Ивановна была девушкой без особых амбиций — да и откуда им взяться при такой жизни? Чего у нее имелось, так некоторая любознательность и сопутствующее воображение, которые не смогли до конца вытравить ни школа, ни институт. Впрочем, все это никогда напоказ не выставлялось — чувство реальности не велело высовываться. Не так поймут, и вообще. А зачем, спрашивается, лишний раз осложнять себе жизнь? И без того одна суета и недоразумения.

Так что размышлениям о далеком кокосовом острове она придавалась в одиночестве. Когда оно стало возможным. А до того все у них было, как у людей: две смежные комнаты на четверых, пятый этаж в сером доме, вокруг такие же дома, грязно-белые, грязно-розовые, за ними — еще... Называлось это городом Мытищи, хотя, что за город? — квартал на окраине, каких полно в московском мегаполисе. В любой тесноте — автобуса, электрички ли, квартиры — Вера всегда испытывала стойкое подсознательное отвращение, но это было такой же данностью, как лужи осенью, как очереди в магазине, ничего другого и не предполагалось. Однако, когда вдруг серьезно заболела и внезапно умерла мать, а отец тут же перебрался к своей, что называется, бабе, а следом и сестрица выпорхнула замуж, — жизнь, таким образом, резко изменилась, и она неожиданно оказалось одна-одинешенька в отдельной двухкомнатной квартире. Где и стала постепенно приходить в себя после круговорота всех этих, свалившихся за один год, больниц и аптек, магазинов и рынков, похорон и свадеб.

Еще стоит отметить, что как раз в это самое время, параллельно вышеизложенным событиям, — “и жених сыскался ей — королевич Елисей”, так прокомментировали сие друзья-подружки, посчитавшие, кстати, что он для нее чересчур хо-

рош, ведь уже, будучи студентом, чего-то пописывал и проталкивал, а Верка что? — Верка ничего девчонка, но не более того; лучшее, что у нее есть, это жилплощадь, да и с той отец выписываться не собирается. Однако же Вера, к их недоумению, переходящему в возмущение, как-то незаметно, но решительно, этого своего Елисея устранила. Что объяснялось, между прочим, просто: естественное желание образовать небольшое содружество людей (под названием “семья”) в любимом ими доме может возникнуть либо в подражание своим замечательным детству и отрочеству, либо, наоборот, в стремлении создать им смелую альтернативу. Первый вариант в Верином случае, разумеется, отпадал, а для второго у нее не было ни темперамента, ни уверенности в своих скромных силах. Третий вариант — иди пока зовут — тоже не устраивал: глаза-то у нее были, а перед ними родная сестра.

Да и вообще, она уже успела слишком хорошо оценить возможность попадать ежедневно со своими истерзанными за день нервами в родное замкнутое пространство, где теперь никто не занимает телефона, не устраивает скандала из-за пропавшей кисточки для бритвы, не требует переключить телевизор с чего-нибудь стоящего на футбол или нестерпимую мелодраму, не, не, не... Когда можно растянуться на тахте и заниматься маниловщиной, сколько влезет, не рискуя навлечь на себя ничье раздражение.

Словом, вот так она обычно вечерами и полеживала, отрешась от унылой своей жизни разными длинными романами вековой давности, а также современными журнальными распрямами, и вообще чем попало. Однажды ей попало такое: “С годами наш полуизолированный домик постепенно скрылся, защищенный густыми зарослями высокого бамбука, бугенвиллей, которые росли со скоростью сорняков, большой мимозы и кустарника с юга Чили, жимолости, плюща и серебристых березок. (Вера не удержалась от вздоха, вспомнив однообразно-чахлую мытищинскую растительность.) Под карнизом гнездились ласточки, и

летними вечерами небо наполнялось их стремительным мельканием; колибри то повисали в воздухе, то мгновенно скрывались прочь, подобно маленьким цветным пятнам, а птица келтеуе хлопала крыльями и пронзительно кричала, возвещая приближение дождя, когда вершины гор затягивало тучами”.

Н-да, что тут скажешь. Особенно если учесть, что все это — не про идиллию на альпийских лужках, а про столичную жизнь в городе на несколько миллионов. Домик в мимозах, понимаешь. И серебристых березах. Она и сама была бы не прочь поселиться в домике с березами — пусть даже самыми обычными, подмосковными. О, у нее бы там никто не посмел, как тут, внизу, в общем, дворе, приколотить к живому дереву гвоздями веревку для белья или объявление о продаже мотоцикла. А еженощный рев этих самых мотоциклов не будил бы ее постоянно, смягчаемый до далекого гула густым и безмолвным садом. У нее бы там... Но фантазии эти, конечно же, почвы под собой не имели. Ничего, хоть отдаленно напоминавшего такое безмятежно-счастливое жилище, в городе просто не было. Уцелевшие деревянные дома на окраинах вместе со своими жалкими огородами несли на себе печать обреченности; холодные белые девятиэтажные башни высились вокруг, молча и беспощадно напоминая, что и настоящее, и будущее — за ними...

Вера отбросила возмутительную книжку и встала задернуть занавески. За окном выдыхался тяжелый, безрадостный день, с тем, чтобы повториться завтра с точностью почти детальной — с отменой электричек, очередь в универсаме... Да еще вдобавок на работе профсоюзное собрание, явка строго обязательна. Она вдруг отчетливо поняла, что во избежание этого грядущего дня согласилась бы сейчас очутиться где угодно, на любом конце света. Пусть даже в Латинской Америке, о которой повествовал приведенный выше текст. Хотя раньше она никогда не жаловала этот континент: небоскребы и фавеллы, осенние патриархи и застреленные профсоюзники в канавах, да еще жара убийственная — ну, на чем тут еще успокоиться? И вот

именно по этой причине решила: судьба, и с этой минуты почти обреченно занялась поисками местечка потише и попримечнее. Вера призвала на помощь как некоторые свои собственные познания, так разного рода справочники и передачи типа “Клуба путешественников”. И что же? Оказалось, — даже есть из чего выбирать.

Так, например, была своя прелесть в государстве Гайана со странным наименованием “кооперативная республика” и не менее странным обстоятельством, по которому большинство населения составляли там не индейцы, а индийцы — натуральные, со своими индуистскими храмами и индианками в сари, — этакий кусочек Индии в почти, можно сказать, джунглях Амазонки. Но Веру несколько настораживало упорное стремление местных властей построить социализм (пускай даже цивилизованно-кооперативный!) в этих самых джунглях, так что Гайану пришлось пока оставить. С другой стороны, немалый интерес представляла страна с каким-то африканским, на неискушенный слух, названием Коста-Рика, населенная, однако же, в основном бывшими испанцами. Самым замечательным в ней было даже не полное отсутствие армии, а тот факт, что там как-то незаметно, прямо тихой сапой, добились, судя по всему, вполне приличного уровня жизни, — безо всяких индустриальных взрывов на сингапурский и прочий тигриной манер, — а на том же собственном кофе, да бананах, ну еще, кажется, абаке, из которой плетут веревки...

Тем не менее, само почти невероятное существование этой безмятежной Коста-Рики на узеньком перешейке меж двух Америк, сотрясаемом то войнами гражданскими, то войнами футбольными, то войнами природными в виде землетрясений и ураганов — было чересчур уязвимым. Нет, ей необходимо было найти что-нибудь поскромнее и подальше от пламенных взоров как молодчиков из фашистских эскадронов смерти, так и бородатых марксистов-партизан. А почему бы, подумала она, — не какой-нибудь маленький кокосовый островок, ну, не

личный, разумеется, разве о таком мечтать приходится? И обратила свой взор на Карибы.

Блуждание по ним оказалось довольно увлекательным и заняло не один вечер. Ах, эти острова с голубыми горами и озерами кипящей воды, с населением, предки которого зачастую относятся к четырем разным расам и оттого, как сказано в одном справочнике, оно является “хорошо сложенным, красивым и очень экспансивным”! Уж эти острова, что ежедневно доводят до ума трапезы чуть не целых континентов, сдобривая пресную и унылую еду сахаром и солью, перцем и гвоздикой, имбирем и ванилью, спасая от авитаминозов солнечными цитрусами и изнемогающими от собственной спелости бананами, манго, ананасами, что наполняют мириады чашек в мире кофе и какао с одуряющими ароматами, что взбадривают крепчайшими сигарами и адским ромом! О, эти острова, что нежат разных счастливых на хорошо продуваемых бризами пляжах белоснежного и розоватого, желтого и даже черного тончайшего кораллового песка, демонстрируют им затонувшие корабли и продают плетеные шляпы! А таинственные летучие мыши, зависающие по вечерам над фламбойнами в огненных цветах, а летучие рыбы, а королева лесов — золотисто-зеленая птица “мот-мот” — Боже, но неужели все это существует на самом деле, и прямо теперь, сейчас?!..

Однако, изнемогшая от этой несказанности, душа уже требовала остановиться, опуститься на твердую поверхность и оглядеться окрест. Но куда же, куда именно?

И вот, как-то дождливым поздним вечером она который раз разглядывала под лампой на карте тесное Карибское море, скользя взором по продолговатой ящерице-Кубе, этому прибежищу последних романтиков, по веселой Ямайке-Джамайке, которую еще в семнадцатом веке покарал Господь, наслав чудовищное землетрясение на нечестивый пиратский город Порт-Ройал, что, как ни в чем не бывало, значился, давно вновь отстроенный, вторым по величине; затем по удручающей

Гаити и Доминиканской республике, где, кажется, похоронен Колумб с чадами и домочадцами; по американизированному Пуэрто-Рико, по Виргинским островам с их городками стародатской архитектуры, утопающим в пальмах и лаврах, и по островам Антильским, где в тех же пальмах утопали уже староголландские домики, церкви, крепости... Она даже нашла крохотный остров Невис, где, как рассказывают, любители подводного плавания до сих пор слышат звон раскачиваемых волнами колоколов города Джеймстауна, погрузившегося три века тому назад в пучину морскую — тоже, видать, за какие-то грехи... Но на чем же, на чем, наконец, остановиться?

Барбадос и его “барбудос” — бородастыми эпифитами, обвиняющими деревья до самой земли, полным отсутствием хищников и змей и сплошной грамотностью населения был слишком, неправдоподобно прекрасен; Тринидад и Тобаго, где местные жители уверяют, что именно у них куковал Робинзон Крузо, являли собой уже более земное государство, и это было замечательно, однако наличие такого невероятно полезного ископаемого, как природный асфальт, а также обилие нефтяных вышек и химических заводов слишком уж загромождали диковинный пейзаж, — и избалованная Вера после некоторых колебаний отринула и его тоже. И вот тут-то, между бабочкой Гваделупе и Мартиникой с ее ананасами и памятником местной уроженке Жозефине, несчастной супруге Наполеона, она наткнулась-таки на один славный островок — незаметный, затерянный, недавно без особого шума получивший независимость.

Назывался он Доминикой, что порождало мелкие недоразумения даже среди подкованных — как-то потом Вера не без злорадства отметила, что его перепутали с Доминиканской республикой аж в передаче “Сегодня в мире”. Островок, кажется, вполне устраивало полуанонимное пребывание в тени своей отдаленной мощной тетки; в специальных изданиях ему редко отводилось больше двадцати-тридцати строк. Но кто знает, — быть может, настоящая-то жизнь и протекает в самой

глухой провинции, в том числе и на таких вот островках? Во всяком случае, Вера такое заподозрила.

Судя по всему, это и впрямь было славное местечко. Несмотря на то, что он считался англоязычным (бывшая Владычица морей лишь недавно, сочтя островок совершеннолетним, разжала пальцы на шкирке и отпустила его в самостоятельное барахтанье), местные чернокожие и мулаты предпочитали говорить на языке патуа — французском с добавлением тех же английских и испанских словечек. А французский колорит — это ведь ни с чем не сравнимый колорит! Даже местная столица, кстати, именовалась французским словом Розо, что означало тростник, чьи заросли, наверное, ее обрамляли.

Этот самый городок Розо был, по всей видимости, столь мал, что даже отсутствовал в Большом энциклопедическом словаре между “розничными ценами” и “Розовым Виктором Сергеевичем, современным советским драматургом”. Однако Вера сообразила, что он должен быть по преимуществу одноэтажным, а потому, будь в нем всего двадцать или даже десять тысяч жителей (сведения на этот счет были разноречивы), — территория его никак не меньше Мытищ. Только вместо вокзала там гавань и порт, вместо “Химволокна” — какой-нибудь помпезный дворец бывшего губернатора, а где подъемные краны — силуэты католических соборов... И склоны зеленых гор под яркой синью, и взбирающиеся по этим склонам домишки, чьи замшелые черепичные крыши едва видны из-за зарослей бамбука, лиан и орхидей (вот бы узнать, кстати, каковы они из себя, эти заросли орхидей?)... Конечно, улицы в центре тесные, невыносимо знойные и одуряюще пестрые. Лавки индийцев. Лавки китайцев. Лавки арабов. Местные разноцветные мальчишки, пристающие с чепуховыми сувенирами к только что прибывшим на белых яхтах транзитным американским туристам, чьи голоса так пронзительны, что хорошо различимы среди уличного гама, а короткие шорты обнажают омерзительно белые ноги... Изредка мелькающее в толпе лицо индейца, потомка знаменитых воинст-

венных караيبов, — впрочем, уже с явной негритянской прикровью... Тяжело пробивающий дорогу автомобиль с местным белым плантатором или сахарозаводчиком, — высокомерным, а, может быть, и вполне добродушным, что держит путь из центра в окрестность города, где у него белая вилла с зеленым газоном и голубым бассейном. Ну и так далее...

Обычно, окунаясь в конце дня в метро и претерпевая все, что положено претерпевать в час пик, Вера пыталась представить: в Розо, выходи она в это самое время из местного Госархива, или Городского музея, или — чего у них там еще может быть? — фирмы, ведающей экспортом какао, — так вот, выходи она, скромная служащая в блузке с коротким рукавом (как все же удачно, что проблемы верхней одежды сами собой отпадают!), — что ждало бы ее, неужто переполненный автобус? Нет, решительно возражала себе она, перебираясь из метро в такую же электричку, — там скромную служащую госучреждения наверняка ждет на стоянке свой мотороллер, или, на худой конец, велосипед, а служащую частной фирмы — бери выше! — мотоцикл!

Не стоит однако думать, что Вера была склонна к идеализации чего бы то ни было. О, она прекрасно отдавала себе отчет, что такой жалкий городок в маленькой развивающейся стране, как этот самый Розо, наверняка, имеет весьма разбитые дороги, которые после тропического дождичка превращаются в реки (вот и тащи свой велосипед на себе, подвернув брюки до колен, любительница экзотики!), и система водоснабжения там, должно быть, дышит на ладан, так что, скажем, за право полеживать по вечерам в гамаке, натянутом меж манговых деревьев, и любоваться на грозди созвездий в низком бархатном небе, придется расплачиваться, например, частой необходимостью мотаться с ведром на колонку. Однако, хочешь — не хочешь, тут же следовало признать: и в Мытищах дороги, по крайней мере, весной и осенью, являют собой пусть не реки, но болота, летом их патологически обожают перекапывать — прыгай на

здоровье, зимой... ладно, что про зиму — речь о Доминике; а что касается воды, то если у них в доме идет горячая, — радоваться рано, сперва надо выяснить: не ржавая ли? И при этом, заметьте, — ни тебе гамака, ни манговых деревьев...

Тогда, справедливости ради, Вера строго себе напоминала, что, между прочим, всякие там цыплята в лимонном соку с ломтиками банана и плодами хлебного дерева, равно как запеченные лангусты или рис с черными грибами входят в этом регионе в меню элиты и иностранных туристов, а простой трудовой народ (исключая социалистическую Кубу и Гренаду времен прогрессивных преобразований) кушает в основном только фасоль и кукурузу, бананы да кофе, ну еще какой-то ямс, какую-то юкку... А потом думала: а все здоровей, нежели картошка с нитратами и суп из пакетика, не говоря уже за те сомнительные пельмени, что удалось выстоять позавчера. И ведь, небось, еще лимоны-апельсины горами лежат и за фрукты не считаются, продолжала она себя растревлять промозглой авитаминозной весной, когда из аптек пропала аскорбинка, — предчувствуя, как вот-вот сильная простуда захватит ее, ослабленный долгой зимой, организм, а там моментально занюют зубы, что, в свою очередь, неумолимо приблизит ужасающую сцену в стоматологическом кабинете районной поликлиники...

Изредка удавалось выудить новые сведения о сем неприятельном острове. Согласно одному из них, премьер-министром в государстве была женщина; это дало толчок Вериному воображению. Должно быть, мулатка средних лет, выбившаяся честным трудом из низов; учась в молодости в Штатах или Метрополии, она мечтала поскорее вернуться на свою бедную, стонущую под гнетом проклятых колонизаторов родину, чтобы служить ей верой и правдой в качестве врача или там адвоката, и не могла даже вообразить, до каких высот карьеры вознесет ее судьба. Эти интеллигентные мулатки бывают очень симпатичны. Впрочем, и не интеллигентные тоже: скажем, какая-нибудь торговка рыбой с тюрбаном на голове и ослепительной

улыбкой — что, нехороша разве? (А уж рыба-то, рыба небось... Все эти омары и кальмары... Нет, тут воображения просто не хватало!..) А может, вовсе не мулатка, а местная Мэгги из белой общины, хваткая дама в летах, вознамерившаяся превратить остров в образец буржуазной демократии и безудержного частного предпринимательства...

А вот что бы (настигла как-то Веру мысль) делала она, Вера Ивановна, попади ей в руки государство, где, по разным данным, живет от восьмидесяти до девяноста тысяч человек, то есть всего-то половина Мытищ? По территории, однако, — почти Москва. Тропические леса, вулканы и водопады. А там, где их нет, плантации. А много ли наживешь, вывозя бананы и прочие цитрусы, ну, кофе-какао, ваниль да кокосы, ну соки и ром, ну, сигары да мыло? Правда, еще там есть пемза и известняк. И древесина. И туристы. Но все равно не разгуляешься — по логике-то вещей. Однако, один из последних справочников, обвинив премьер-министра в проведении консервативного проамериканского курса, далее сквозь зубы вынужден был признать, что темпы экономического развития на острове “удалось несколько повысить”, безработицу сократить и инфляцию замедлить. А раз уж такое признание состоялось, — видать и впрямь там у них утвердилось стабильное благополучие, а может быть, по местным меркам, даже благоденствие.

А вот в Мытищах, со всем его машино- да приборостроением, худлитьем и прочей серьезной индустрией ни благоденствия, ни даже благополучия не прибавлялось. Нет, годы, конечно, шли, и времена менялись, и усилиями разъяренной общественности удалось, кажется, отбазариться от огромной ТЭЦ, которую для полного счастья намеревались городу преподнести, и вот уже взметнулись над демонстрациями транспаранты — “Каждому члену Политбюро — отдельную двух комнатную квартиру в Мытищах!”

... Словом, все это, конечно, имело место, и Вера ставила подписи под петициями, и добросовестно вчитывалась в пред-

выборные платформы кандидатов, но в душе своей прекрасно понимала, что ничего в ее жизни уже всерьез не изменится. Никогда уже не исчезнет ее привычная робость перед каждой на свете продавщицей и каждым на свете водопроводчиком, и никогда ей не пройтись по своему саду в росе, пробудившись от гомона птиц, а пробуждаться всегда от грохота ящиков, выгружаемых в мрачный магазин в доме напротив, и не увидеть, ох, не увидеть неба в алмазах, а лишь лицезреть каждый божий день в мутные окна электрички, свалки по краям дорог (о, Вера твердо знала — перевернись страна и мир хоть десять раз подряд, — уж они-то останутся на своих местах и всех, всех переживут)... Так и пройдут ее земные годы, а под занавес будет устроен филиал преисподни — районная больница, и похоронят ее, должно быть, рядом с несчастной матерью на местном городском кладбище, где крадут цветы и где существует нескончаемая очередь на установку могильных плит (да и найдется ли еще кому в ней стоять?). И, конечно, ни разу в жизни не придется ей взять билет на самолет и отправиться на заветный остров — да, хотя бы, черт побери, для того, чтоб убедиться: свалок и там предостаточно! (Да, свалок и там предостаточно, подсказывал внутренний голос, но ведь, если подумать, — свалки в тропиках должны быть столь яркие и живописны, что становятся одной из составляющих щедрого пейзажа и ничуть не угнетают своей неприглядностью, как здесь, на севере, — рассказывала же что-то подобное ее тетка о Югославии?).

Эта Доминика принадлежала тут только ей, Вере. Ну кто еще из соотечественников смог бы сказать о ней что-нибудь вразумительное? Ну, десяток-другой хмырей из какого-нибудь этнографического института при Академии наук, ну там, какой-нибудь международник, специалист по Карибам, ну, может, (страна большая, чудикоф много) пара школьников, свихнувшихся на географии... Но разве кто-нибудь из них смог бы с закрытыми глазами нарисовать точный контур острова?

Разве кому-нибудь хоть однажды приснилась никогда не виденная дорога из Розо в Портсмут? Разве кого-нибудь могла так манить и тайно согревать эта дальняя и никчемная, по мировым масштабам, земля, как одинокую девушку из Мытищ Московской области?

И вот однажды она сидела на работе, смотрела в окно и пила чай с Марьей Петровной и Нинкой, и вдруг неожиданно влетела Светка из соседнего отдела, и все разом воскликнули: — О, уже вернулась?

Светка была девчонка взбалмошная, но все ее ценили за непосредственность: что на уме, то и на языке. Светка вернулась из Америки, куда вышла замуж ее старшая сестра. Эту ее первую туда поездку все заранее переживали чуть ли не год: сочувствовали Светкиным мытарствам с бумагами, гадали, выпустят ли ее в конце концов и заверяли, что готовы выделить ей самые серьезные суммы из кассы взаимопомощи. Последнее, впрочем, оказалось излишним: родственнички оплатили ей буквально все. Потому что невероятно, но факт: этот Питер, мямля в очках, дурак дураком, пять слов по-русски — оказался натуральным миллионером! Точнее, сыном миллионера. Его папаша в Техасе не то владелец, не то — хрен его знает — совладелец какой-то там нефтехимической компании. И чего-то там еще. А сынок к позапрошлому году закончил, наконец, школу бизнеса, и вошел в папашино дело, и уже теперь он богатенький вполне самостоятельно, не считая будущего наследства! А в Москве все прикидывался, заверял посредством Галкиного перевода рыдающих предков, что он простой студент, прирабатывает на бензоколонке, но всего непременно добьется сам, и дочь их ни в чем нуждаться не будет. И вот, впрямь, — трех лет не прошло, как добился, и пригласил свою бедную родственницу, свояченицу Светку к ним в Хьюстон на месяц, да еще с поездкой в уик-энд на Гавайи, — и за все, как было сказано, уплачено вперед.

— Ну, как?! — вскипели женщины, и Светка, хватая придвинутую чашку и обжигая пальцы, стонала:

— И не спрашивайте!..

— А Гавайи-то понравились? — сразу спросила Вера.

Она давала ей почитать книжку об этом экзотическом пятидесятом штате, но подозревала, что Светка так и не удосужилась заглянуть в книжку, разве что картинки поглядела. Но Бог с ней, с книжкой, если... Но оказалось, что на Гавайи они почему-то не полетели. А, вот почему, она вспомнила: решили лучше прокатиться в Санта-Фе, там шел какой-то дурацкий матч по бейсболу, а они все на нем помешались, и Галка тоже. Она, Светка, там чуть не взвыла от тоски, но зато потом хорошо по ночным клубам пошатались, и еще потом к питеровым друзьям на ранчо ездили, и она там свалилась с лошади, но ничего, обошлось, не убилась.

— А еще где-нибудь были?

Да летали один раз (у этих буржуев уже свой спортивный самолет, представляете?) на один остров, как его? — на “домино” как-то похоже — там у их предков целое поместье...

— Доминиканская Республика? — испуганно спросила Вера. Давненько ее сердце так не колотилось, как в эту минуту.

— Ну, да, — ответила Светка. — Жара сволочная! Да и в Хьюстоне, между прочим...

— Постой, — почти умоляюще продолжила Вера, — там ведь все говорят по-испански, да? А столица — Санто-Доминго, так?!

— Да нет, вроде, — озадачилась на миг Светка. — По-моему, там по-английски. Или — по-французски?

— Да не Доминика же это?!!!

— Я и говорю, Доминика.

— Розо — есть там такой город?!

— Понятия не имею, — отрезала Светка, недовольная, что к ней пристают с такими пустяками. Она же говорит — всего три дня и пробыли. У этого делового там какой-то бизнес, что ли. Он время зря не теряет. Ну и они тоже с Галкой время

зря не теряли — перепились там еще с тремя ребятами, можно сказать, по черному, пусть никто не говорит, что американцы пить не умеют!

— Здорово! А купались? — спросила Нинка.

Да сходили один раз — ночью, при луне, поддатые, — Питер, трезвенник, все их из воды гонял, — боялся, потонут. А днем, при жаре, неохота было. Днем они из бассейна не вылезали, — большой такой при доме бассейн, туда переносной телефон кидают, — ребята прямо из воды с Лондоном трепались, представляете?

— Так вы в доме и торчали? И ни одного аборигена даже и не видели? — безразличным тоном осведомилась Вера.

— Да ездили мимо какие-то негры на мотороллерах. Там вообще глушь, один только рядом городишко с аэропортом... Какой? — Мари... Марен...

— Мариго, — твердо поправила Вера. Сердце у нее уже не колотилось, а медленно, медленно куда-то опускалось...

— Точно, Мариго. А ты откуда знаешь? — удивилась Светка.

— Да она у нас все знает, — вмешалась, наконец, Марья Петровна. — Ты лучше расскажи, куртку-то купила? А эта сумка — тоже из Америки?

Вечером ей позвонил королевич. Он за эти годы успел поработать в какой-то газетке и уйти из нее, жениться и развестись, тиснуть пару статей в один журнал и быть изруганным за них из другого — и вот с чего-то теперь повадился позванивать ей время от времени, просто так, новости рассказать, на жизнь пожаловаться и об успехах сообщить. На этот раз начал с того, что в Москве открывается Народный университет, где обещают чуть ли не оксфордское преподавание, и что он сам уже решил изучать богословие и политологию, и что ей советует тоже записаться.

— Мне почему-то кажется, что у тебя есть мозги, — сказал он. — Давай, получишь настоящий диплом по филологии — чего зря-то болтаться?

— Это очень мило с твоей стороны, что кажется, — сказала она. — Только на что он мне?

— Как на что? Так и собираешься, что ли, всю жизнь в своем архиве сидеть? На сто тридцать?! А дипломы эти, между прочим, будут котироваться. Они даже хотят устроить международную комиссию, — сдаешь ей экзамены и поезжай работать, где нравится.

— Хоть в Новую Зеландию?

— Хоть в Новую Зеландию. Если возьмут. А ты что, туда хочешь?

— Да нет, — сказала Вера, — я хочу в Доминику.

Королевич Елисей был юношей грамотным.

— Постой, — сказал он, — это же — Трухильо, унитаза из чистого золота?

— Не путай, — сказала Вера, — с Доминиканской Республикой. Южнее бери.

— Да? И что там такое? Чем же славен этот край?

— Да, например, лаймами, — ответила Вера. — Это такой вид цитрусовых. Из них давят сок...

— Знаю, — сказал грамотный юноша. — Капиталисты с алкоголем употребляют. Но все равно, сдается мне, — это не Рио-де-Жанейро.

— Это не Рио-де-Жанейро, — согласилась Вера. — Ездят какие-то негры на мотороллерах, подумаешь. Ну ладно, ты меня извини, тут у меня это... чайник выкипает.

Она положила трубку и включила телевизор. Голубенький мальчик метался по экрану, выкрикивая в микрофон какие-то слова так горестно и пронзительно, что Вера его даже искренне пожалела. Да и то сказать: жалеть постоянно себя — занятие невыносимое. Ведь вон сколько кругом несчастных — и всяк по-своему. Она сделала потише и пошла на кухню — может, и впрямь закипел?

Александр Карамзин

**Александр Николаевич и другие
Поколение девятое***

Вот что удалось записать мне о далеком прошлом со слов моего отца Александра Николаевича Карамзина в 1920 году в эмиграции на станции Вейшахэ Китайской Восточной железной дороги...

...Родился я в 1850 году в Сызрани, в собственном доме моих родителей. Среди детей был старшим в семье. Через три года после меня родился брат Володя, еще через два — Коля, затем через четыре — Боря, и самой младшей была сестра Вера-Вавочка, с которой меня разнило одиннадцать лет. Сестры Любы, умершей в раннем детстве, не помню...

Отец мой, Николай Александрович, женился в 1848 году тридцати шести лет от роду, сразу после смерти своего отца, Александра Михайловича Карамзина, который при жизни не разрешал жениться никому из своих сыновей.

Мать, Вера Васильевна, урожденная Дворникова, замужем за отцом по второму браку, по первому мужу Малина. Малин — помещик Пензенской губернии, умер от чахотки, не прожив с ней и году, но оставил большое наследство, она прожила его вдовой.

Отца помню бодрым. Средняго роста, брюнет с густыми волосами и роскошными усами, бороды не носил. Черныя боль-

* Глава из трилогии "Карамзины. Семейная хроника". См. "Грани" № 183 1997, № 185 1998. Продолжение публикаций в следующих номерах. Стиль и орфография авторского текста сохранены. — Т.Ж.

шие глаза его светились добротой. Третий сын у родителей, он родился в 1812 году двойней с сестрой Верой, впоследствии по мужу Лазаревой.

Как и все братья — получил домашнее образование. Я видел книги, по которым их учили, все писанные от руки, в программу входили даже тригонометрия и геодезия.

Затем служил в гусарском Сумском полку короля Вертембергского. Штабс-ротмистром вышел в отставку и служил по выборам. Был уездным предводителем дворянства Самарского уезда Симбирской губернии по имению того же уезда “Новозаволжские хутора” — две тысячи десятин.

До женитьбы жил при своем отце в имении Семеновка на Волге Сызранского уезда. С матерью познакомился в Симбирске на дворянских выборах.

Внимательный к ней, он всегда исполнял ее желания и хотя ее требования порой были не по средствам — все же в них не отказывал. Доверчивость и доброта отца также играли немалую роль в делах. Общества же он не любил и посещал его бесцветно.

Мать унаследовала красоту, с оттенком восточного типа, от своей матери — турчанки, взятой девочкой при занятии Измаила генералом Веселитским. Он воспитал ее в своем доме и выдал замуж за Дворникова, помещика Симбирской губернии...

Небольшого роста, скорее малаго, при средней полноте она отличалась подвижностью и артистичностью при горячем и вспыльчивом характере. Любила музыку, хорошо играла на рояле. Поющей ее не помню. Участвовала в концертах и любительских спектаклях вместе с матерью А.Н. Сабанина. Обожала светское общество и с увлечением отдавалась веселию. Часто устраивала музыкальные и танцевальные вечера, всегда пышно обставляемые. Вообще любила, как говорится, шикануть, не сообразуясь со средствами. А вот в деревне бывала редко, в городе жила безвыездно. А к нам, детям, оказалась строже отца.

В детстве ко мне был приставлен гувернер — итальянец Д’Оливари, двадцати пяти лет, жгучий брюнет небольшого

росту на кривых ножках и с огромным носом, за что и был прозван мною “рулем”. Учил меня французскому языку, рисованию и игре на скрипке. Сам виртуозный скрипач, принимал участие в концертах и высоко ценился в обществе за свои музыкальные дарования.

Дом наш — деревянный, одноэтажный с мезонином, большой, просторный, с обширным двором, садом и огородом напоминал помещичью усадьбу и считался в то время самым богатым в Сызрани. На улицу выходил узкой своей стороной с окнами одной только залы, по длине же — стороной в сад, другой — во двор. Из залы и смежной с ней гостиной, двери вели на огромную открытую террасу с лестницей прямо в сад. Перед домом — цветник, от него направо — акациевая аллея, разделяющая сад на ягодник и огород справа и плодовый сад — слева. Сад обнесен высоким деревянным забором, двор застроен застольными, конюшнями, кладовыми, погребам и т. п.

У матери земельной собственности не имелось, она свои имения продала. Отцу принадлежала родовая Семеновка в три тысячи десятин. Земля — по обе стороны Волги, вниз по течению. По правому берегу вытянулись две деревни — Семеновка и Монастырка, отделенные друг от друга оврагом. Между ними каменная церковь упраздненного монастыря. Усадьба со стороны Семеновки с садом, доходящим до Волги и даже частично заливаемым ее разливом...

Семеновка досталась деду, Александру Михайловичу, от его матери, урожденной Дмитриевой, по его смерти — моему отцу. Дмитриевыми был поставлен каменный дом, который сгорел при Александре Михайловиче в дни молодости отца.

Дядя, Александр Александрович, рассказывал, что пожар произошел от свечки, которую забыл потушить пьяный живописец, писавший портреты Карамзиных. После пожара на месте обширной усадьбы выстроили деревянный дом.

В Семеновке около церкви похоронены Александр Михайлович Карамзин, брат Николая Михайловича, Историографа, и

его жена, Наталия Борисовна, урожденная Бестужева. Над их могилой дочерью их, Варварой Александровной, схимонахиней Дивеевского монастыря, к церкви пристроен придел...

Земля, расположенная на левом волжском берегу, именовалась Новозаволжскими хуторами. Имением управлял приказчик Мальшев, из крепостных, вороватый и большой плут. Отец там бывал только наездами.

Но я любил Семеновку и всегда просился с отцом. В семь-восемь лет отец часто брал меня туда с собой, считай, каждый наезд и большого удовольствия и радости я в те годы не испытывал.

Ездили мы на несколько дней, иногда по Волге на лодке, а случалось, и тройкой на Образцово через реку Кубру на Кашкур горами. Служащие ловили мне птичек и особенно много шурак. Я привозил их домой, но мать не любила этого и за привезенную однажды летучую мышь мне попало. Правда, пойманную мышь я неосторожно сунул в карман курточки, и позабыл о ней. Так и носил в кармане, пока та не протухла, открылась вонь, о чем нянька донесла матери.

Подругой моего раннего детства была девочка Оня, дочь няньки. Помню наших служащих. Дворецкий — Александр Степанович Карташев с рыжими баками, высокий и представительный; он высоко ценил своих господ и при случае всегда старался подчеркнуть это. Помню, когда я окончил Горный институт и сказал ему об этом, то он поморщился и не преминул заметить, что “лицей для дворянина более подходящ”. Конюх — Мирон Алексеевич, под пристальным вниманием которого были все наши лошади, — услужливый и доброжелательный, ключница Пелагея, жена повара Егора — наперсница матери...

Дядей — братьев отца, я не знал. Когда отец по причине разстройства денежных дел продал Семеновку, то дядя, Василий Александрович, разсердился и написал отцу гневное письмо — мол, знал бы, купил сам и твоим же детям оставил.

Впоследствии Василий Александрович все свое земельное имущество завещал нам, детям брата Николая, но по причине

несогласованности духовного завещания с законом о наследии родовой земельной собственности, половина имения досталась детям другого брата — Александра Александровича.

Видимо, не судьба была вернуться Семеновке во владение Карамзиных, так как купивший ее у Уварова Дроздовский, в девяностых годах продал купцу Пережогину, не поставив в известность меня. А я бы непременно выкупил вместо Карчалы на Кавказе, которую приобрел год спустя...

Двенадцати лет меня отправили с экономкой Пелагеей в Симбирск — держать экзамены в гимназию. Там проживала тетка, Вера Александровна Лазарева, сестра отца, у которой и остановился. Сдав успешно экзамены — поступил во второй класс Симбирской гимназии, закрытое учебное заведение.

По праздникам ходил из пансиона к тетке в отпуск. Родившись двойней с отцом, они особо нежно и горячо любили друг друга и всю свою любовь к отцу она перенесла на меня. Вообще, Вера Александровна отличалась добротой и благочестием.

Ея сыновья — Дмитрий и Михаил, из коих первый на полгода старше меня, а второй на несколько месяцев моложе, скоро стали моими лучшими друзьями, особенно мы сдружились с Мишей.

Домой, в Сызрань, поехал первый раз на Рождество в сопровождении отца Лены Завьяловой Василия Васильевича. Может быть, потому еще запомнилось, казалось бы, рядовое событие из времен моего гимназического детства, что именно Елена Васильевна Завьялова, по мужу Новикова, верная детской дружбе, приютила нас, беженцев, в 1918 году у себя дома, в Уфе. Муж ее был губернским предводителем Уфимского дворянства и скончался незадолго до революции.

Это в ее доме пережили мы такую трудную и казалось беспросветную зиму восемнадцатого-девятнадцатого годов со взятия города большевиками и до освобождения Уфы Белой армией Адмирала Колчака...

В гимназии, где учился, режим был строгий, провинившихся нещадно драли по субботам. Инспектор Н.П. Панов подзывал виновного к себе и, зажав несчастного между ног, долбил в голову перстнем.

Вообще, взрослые в гимназии не оставили по себе доброй памяти. Надзиратель пансиона нашего был явно глуповат, мы над ним шутовали, устраивая всякие каверзы — прибывали галоши гвоздями к полу, подкладывали в карманы дохлых мышей и т. д. Директором, помнится, служил И.В. Вишнеvский, а среди преподавателей — брат писателя Ивана Гончарова, Николай Александрович, явно не совсем нормальный. О нем в своих воспоминаниях упоминает М. Богданов. Это он, забывая, что находится в мужской гимназии, говорил нам постоянно: "...Тише, барышни, тише".

А еще запомнилось огромное венецианское окно в конце гимназического коридора. Из него открывался дивный вид на Волгу верст так на сорок, и вся жизнь тогда казалась нам такой же прекрасной и бесконечной, как волжския просторы...

В марте 1864 года в один из светлых весенних дней со звонкой капелью за окнами меня неожиданно вызвали с урока к директору. Волнуясь, он сказал, что отец мой болен и хочет меня видеть.

В тот же день в сопровождении одного семинариста отправили в Сызрань. Ехали на санях, но в пути настигло половодье. Речку Усу с трудом переехали почти вплавь, и я весь мокрый с головы до ног всю ночь сушился на печи у священника в ближайшем селе, иначе слег бы с жару.

Двадцать второго числа пополудни добрались, наконец, до города и я застал отца в спальне. Он был в полном сознании и в присутствии матери, благословил. Утомленный дорогой, я уснул, а проснувшись через пару часов, увидел отца уже лежащего в гробу на столе в зале. Еще за два года до смерти у него отнялись ноги и новый удар он уже не пережил...

После похорон меня оставили в родном доме на Пасху, но случилось так, что и с матерью виделся последний раз. Вскоре она заболела чахоткой, принявшей скоротечную форму, и покинула этот мир в июле того же года...

А в августе в Симбирске, куда вернулся, начались пожары. Домовладельцам подкидывались анонимные письма, в которых говорилось, что, дескать, ваш дом сгорит такого-то числа. И, действительно, в указанное время дом загорался.

Несмотря на все меры, принимаемые жителями, пожары все усиливались и стали угрожать городу. В гимназии отслужили молебен Смоленской Божьей Матери и всех учащихся распустили.

Я переехал к Лазаревым. Тетки, Веры Александровны, в это время в городе не было. Она находилась в своем имении Новиковке Ставропольского уезда, в тридцати верстах от Симбирска.

Восемнадцатого августа, в день моего рождения, нами также было получено письмо с предупреждением о пожаре. Все имущество заблаговременно вывезли в городской бульвар, на берег Волги, но и там оно сгорело, так как в этот день пожар охватил весь город.

Мы с Мишей отправились охранять имущество в городском акациевом саду. Но пожар был настолько силен, что над городом поднялась страшная буря. Стало жарко, загорелись акации и мы, не выдержав, бежали в загородные сады. Помню, когда бежали, я нашел на земле обгорелую деревянную иконку Нерукотворного Спаса и она хранится у меня до сих пор, всю оставшуюся жизнь...

На берегу, взяв неизвестно чью лодку, решили переправиться на другой берег Волги, но не смогли справиться с течением и нас снесло верст на тридцать вниз. Жутко было нам тогда, двум мальчикам, плыть одним. Буря подняла огромные кипящие волны, несшая лодку с быстротой полета птицы, а треск и шум пожара, объявший город, был так силен, что мы не слышали друг друга. Пахло гарью и дымом, над нами проносились горящие головни и пылающие куски каких-то материй и

само небо, бушующая вода, берега и, казалось, мы сами были огненно-красными. Ад на земле — иначе и не назовешь.

...Наконец, нас выбросило на песчаную отмель, где мокрая и голодная мы просидели в лодке всю ночь, а утром двинулись пешком в Новиковку. У сапог отвалилась подошва и я брел босым. В довершение всех несчастий, проходящая лошадь наступила мне на ногу и сорвала ноготь. Но все же добрались до имения и там увидели незабываемую картину — тридцатидневное зарево освещало догорающий Симбирск и головни, носимые ветром, долетали даже до нас...

Одновременно с Симбирском, в Сызрани также начались поджоги, но благодаря энергии жителей общий пожар города поджигателям не удался. Люди говорили, что ими были сосланные поляки-повстанцы.

После того, как пожары потушили, из Петербурга выслали для ревизии сенатора, фамилию я не помню, но слышал, что на пути между Нижним и Казанью он внезапно скончался на пароходе. Утверждали, что кем-то отравлен, однако, расследования прекратили.

Но местное дворянство к сосланным полякам относилось доброжелательно. В Сызрани тоже жили поляки и мои родители в свое время примечали их и поддерживали, как могли. К ним отношу братьев Ямонт — Стефана и Владислава.

В имении Новиковке мы прожили с Мишей после всего пережитого около месяца. Охотились и собирали коллекции.

Наконец, получили письмо от тетки Наталии Васильевны Дворниковой, она сообщала, что дядя, Александр Николаевич Карамзин, сын Историографа, потребовал к себе моих братьев Володю и Колю, и чтобы я выехал в Симбирск повидаться с ними, а оттуда уже к ней, в Сызрань. Я так и поступил.

В Симбирске узнали, что в пожаре сгорела и наша гимназия. По пути в Сызрань пароход сел на мель у Батраков и я, в буквальном смысле, ехал верхом на семинаристе по воде до берега...

В ноябре месяце Александр Николаевич написал письмо Наталии Васильевне, которым вызывал меня к ним в Нижегородскую губернию в имение Макателем.

Ехал туда в сопровождении того же повара Егора уже зимним путем на Корсунь, Промзино на Суре, Ардатов Симбирский и Арзамас на паре перекладных. В Промзино, “чтобы ребенок не простудился”, Егор угостил водкой, выпив изрядно сам. Это единственный в моей жизни случай, когда я “выпил горькую”.

...В Макателеме Карамзины нас приняли радушно, согрев в крещенския морозы не только теплом гостеприимного дома, но и своим отношением, как бы отодвинув в прошлое все горести уходящего года. С братом Колей нам отвели комнату, а Володю уже отправили в Москву во Второй Кадетский корпус.

Нас же принялись “муштровать”. Наняли гувернантку Софью Карловну Левенталь, она впоследствии жила в Полибино и похоронена в Бугуруслане...

Уроки давала она, болгарин Жензлеров и поп больничной Макателемской церкви. Родные же ходили с нами на службу и я пел одно время даже на клиросе.

Здесь следует сделать необходимую паузу и рассказать о детях Историографа Николая Михайловича Карамзина, средним сыном которого и являлся наш благодетель Александр Николаевич.

...Николай Михайлович был женат дважды. От первого брака с Елизаветой Ивановной Протасовой у него осталась дочь София, фрейлина Высочайшего Двора, красоту которой воспевал Пушкин, называя ее “Софи Карамзиной”. Умерла она в Ревеле, девицей, и погребена в Санкт-Петербурге на Тихвинском кладбище Александро-Невской Лавры...

Вторым браком Николай Михайлович был женат на Екатерине Андреевне Колывановой, внебрачной дочери князя Андрея Ивановича Вяземского от связи его с Елизаветой Карловной Сиверс. Екатерина Андреевна воспитывалась у родной тетки отца —

княжны Екатерины Андреевны Оболенской, рожденной княжны Вяземской. Это она, удочеренная своим отцом, но без княжеского титула, пришла проститься с умирающим Пушкиным...

От этого брака у Николая Михайловича родились сыновья Андрей*, Александр, Владимир, дочери Екатерина, что была замужем за князем Петром Ивановичем Мещерским, и Елизавета, фрейлина Высочайшего Двора.

Андрей Николаевич, окончив Юрьевский университет, служил в конной артиллерии, затем командовал Александрийским гусарским полком, и в турецкую компанию, будучи полковником Гусарского Князя Варшавского полка, в 1864 году в бою под Каракалой при неудачном маневре русской армии окружен со своим отрядом, во много раз превышающим его численностью, турецким. Взят в плен и, как рассказывают, перепилен живым деревянной пилой...**.

Женат он был на вдове егермейстера Павла Николаевича Демидова*** Авроре Карловне, урожденной графине Шернваль, которая после мученической гибели мужа все имеющиеся от него наследство употребила на благотворительность.

Однако вышла замуж в третий раз, за Карагеоргиевича. Ея сын Петр вступил королем на Сербский престол (отец короля Александра), а второй сын Арсений служил в русской кавалерии и в Великую Мировую Войну командовал бригадой во второй кавалерийской дивизии (отец регента Павла).

От брака с Авророй Карловной у Андрея Николаевича детей не было. Но еще до брака с Шернваль родились две незаконные дочери — Мария и Ольга от графини Растопчиной...

Александр Николаевич также окончил Юрьевский университет и затем служил в гвардейской конной артиллерии. Вышел

* Первенец Андрей, имя которого дал Н.М. Карамзин второму сыну, прожил всего шесть лет.

** Смерть А.Н. Карамзина подробно описана М.Г. Черняевым в его воспоминаниях, напечатанных в "Русском Архиве" 1906 г. кн. 1, стр. 449—458.

*** Демидова — уральского.

в отставку подпоручиком. Женат на княжне Наталии Васильевне Оболенской, но так же был бездетным.

Владимир Николаевич, тайный советник, сенатор, был женат на баронессе Александре Ильиничне Дука. Детей не имел. Помню его хорошо. Поразил он меня непомерной гордостью, когда я, будучи студентом Горного Института, пришел в его дом к приехавшему дяде — Александру Николаевичу.

Владимир Николаевич, увидев меня, протянул один палец и тут же удалился. Конечно, я приходился ему двоюродным племянником, но ведь родных у него не было! Помню, что жил он на Большой Морской против Кирки.

...Таким образом, мужская линия потомства Историографа Российского Николая Михайловича Карамзина прекращалась его сыновьями. Поэтому можно понять любовь дяди Александра Николаевича к нам, племянникам, да еще оставшимися сиротами.

Хорошо помню их внешне. Дядя — выше среднего роста, семь-восемь вершков, плотный, дородный блондин с окладистой русой бородкой, мало седеющий, голубыми глазами и прямым тонким носом. Лицо его носило отпечаток особой одухотворенности, унаследованной от отца...

Ходил в бархатной поддевке и вышитой рубахе, и только в обществе носил сюртук, который сидел на нем весьма неуклюже. Любил хорошо поесть, предпочитая французскую кухню, курил папиросы, был поразительно чистоплотен и весьма брезглив. Никогда не останавливался в доме, где кроме спальни комнаты, не отводилась бы вторая для умывания.

По характеру горяч и помнятся случаи несдержанности, когда попавший под “горячую” руку стул, разлетался вдребезги. Силы он был необыкновенной.

Успокоительно на него действовала только княжна. Они друг друга нежно любили и звали “Са” и “Та”, а еще он ее звал Натой. Это была преданная и верная любовь, обращенная друг на друга до самого дня его смерти. Наталия Васильевна и сама

последовала вскоре в мир иной за обожаемым ею мужем, лишившись разсудка с горя...

...Была княжна Оболенская хороша собой в то время, как я ее помню. Моложе дяди лет на двенадцать — небольшого росту, шатенка, остренькия черты лица, большия, широко распахнутыя выразительныя глаза — очень, как говорится, “амурная”. Разговаривала она, правда, “в нос”, вставляя в свою речь французския слова и фразы и маленькими пальчиками потирая нос сверху вниз.

Любила этикет, была строга, набожна и аккуратно посещала церковь, но увлекалась и общим молением. Соберет всех, находящихся в доме, и каждый, по очереди, читает Евангелие, а остальные слушают. Правда, эти моления объяснялись странностями барыни, над ней хихикали и подсмеивались, а молодежи собиралось много — Карамзины, Оболенския, Хотяйницева и Лукины.

Александр Николаевич обычно отсутствовал. Был он предводителем дворянства Ардатовскаго уезда, а также председателем Земской управы и мировым посредником, строил больницы и школы и передавал их Земству. Отличался исключительной начитанностью и считал себя, не без оснований, народником-славянофилом. Много, увиденное им за границей, пытался применить на деле, в своем хозяйстве, но мало что удавалось. Он, на мой взгляд, не понимал простой истины — то, что хорошо за границей, то плохо в России...

...Ранней весной Александр Николаевич и Наталия Васильевна Карамзины поехали в Москву и захватили меня с собой. Ехали на лошадях до Нижнего, а дальше по железной дороге. Возок на длинных полозьях, а сзади на тех же полозьях кибитка — собственное изобретение Александра Николаевича, чтобы не нырять по ухабам.

Впрягалось шесть лошадей с двумя форейторами. На козлах — кучер и человек, в возке — Александр Николаевич и Наталия Васильевна, в кибитке горничная Мария Моисеевна и я.

Ехали на ямских. В Москве остановились в Лоскутной. Меня отдали на жительство надзирателю Седьмой классической Гимназии на Покровке — бывший дворец Разумовского — Карлу Федоровичу Нитрам. У него я прожил все лето до перехода в гимназию — бродил по окрестностям Москвы — Кунцево, Воробьевы Горы, Нескучный Сад и собирал коллекцию бабочек и жуков.

Осенью поступил в четвертый класс Четвертой гимназии и переехал в пансион. Преподавателями в гимназии были: по математике Михаил Буренин, по русскому Лев Иванович Поливанов, по географии Пржевальский, брат путешественника.

В Четвертой гимназии пробыл один учебный год, получил переекзаменовку в пятый класс из-за русского языка и поехал в Макателем...

Осенью в Москву с собой меня Карамзины не повезли, а оставили в Арзамасе, у помещика Александра Ивановича Эшмана. Хорошо живописуя сам, он смог убедить Александра Николаевича отдать меня в Академию Художеств. Я рисовал тогда атлас бабочек, причем с натуры, и отдельные рисунки явно производили на него впечатление. Благо, дом стоял на окраине Арзамаса, в густом и красивом саду и птиц к нам прилетало видимо-невидимо...

Наконец, приехали Карамзины и взяли меня с собой. С ними я и попал к Хотяйницевым.

...Мой дед, по матери, Василий Александрович Хотяйницев, родился 4 июля 1825 года и умер 11 сентября 1897 семидесяти двух лет. Его отец — Александр Федорович и мать Екатерина Васильевна, урожденная Ульянина.

Род Хотяйницевых древний, татарский. О нем упоминается в книге Гр. Бобринского “Дворянский родословный”.

Родовое имение — Ивашкино находилось на реке Вадке Арзамасского уезда Нижегородской губернии. Кроме того, им куплены усадьбы Гари у Данилевского и Лопатино у Трегубо-

ва. Тетка Василия Александровича отдавала ему свое имение в Тамбовской губернии, но он отказался.

Образование получил в Императорском училище правоведения и окончил Московский университет. Был уездным предводителем Арзамасского уезда, а в последние годы жизни директором Дворянского Банка в Нижнем Новгороде. Банк принял в полном упадке и за время своего директорства поднял его, как говорится, на должную высоту.

Среди дворян слыл умицей, был хорошим оратором, а вообще человеком добрым, мягким, но настойчивым, отличаясь безукоризненной честностью. В Собраниях Земских и Дворянских открыто боролся с расточительством, злоупотреблениями и обличал виновных. Хозяин же был ровный и, несмотря на недостатки в средствах, никогда не зарывался. Банку им составлен Устав, отредактированный Н.А. Зверевым.

Не могу не поделиться своими воспоминаниями о старшем сыне деда — Николае Васильевиче Хотяйницеве — личности во всех отношениях неординарной...

Я не имею точных сведений о времени его рождения, но по сравнению с возрастом моего отца, родившагося в 1851 году прошлого столетия, он года на два младше, а следовательно, рожден, повидимому, в 1848 или 1849 году.

Не окончив Нижегородской гимназии, Николай Хотяйницев поступает в Сумской гусарский полк, а оттуда в Тверское юнкерское кавалерийское училище.

В училище он выдался исключительным ездоком, к тому же был высокаго росту и красив. Приехав в Тверь на смотр езды юнкеров, Император Александр II его заметил, спросил фамилию и сказал находившамуся в Свите генералу Дохтурову: “Этого красавца-юнкера за езду и посадку надо иметь в виду”.

Слова Государя моментально стали известны командиру полка и Николаю Васильевича произвели в корнеты. Командир полка стал оказывать особое внимание, проявил заботу в при-

обретении для него хорошей лошади, чтобы выдвинуть на ближайшем Императорском смотре.

Но не таков оказался нравом корнет Хотяйнищев, чтобы заниматься само-выдвиженчеством. Приобретя великолепную лошадь и выездив ее до всех тонкостей высшей езды, он передал ее своему другу Арнольди, лучшему после себя ездоку. А тот, выехав на Императорском смотре в замке полка, был замечен Государем Императором и произведен в следующий чин.

Сам же Николай Васильевич, отговорившись какими-то причинами от назначения быть в “замке”, стал на свое строевое место, оставшись не выделенным по своим выдающимся качествам, столь любимым и ценимым Государем Александром II...

Узнав об этом, все близкия возмущались таким, с его стороны, пренебрежительным отношением к исключительному случаю, которого он вполне заслуживал. На все их упреки, он отвечал беззаботно и ничуть не смущаясь: “Уж куда нам!”

Немало и других возможностей быть выдвинутым представлялось Николаю Васильевичу, но не то скромность, не то гордость, и все это смешанное с ленью и беспечностью, всегда и впоследствии им руководившая, являлись причиной нежелания использовать свои природныя возможности в карьерных целях.

...Отбыв всю турецкую войну семьдесят седьмого-восьмого годов, он немедленно вышел в отставку. Причиной такого, как бы демонстративнаго выхода с военной службы, была смертная обида на то, что он сходил походным порядком до Константинополя и обратно и, стоя под стенами Царьграда, не дождался взятия оногo, и не сподобился увидеть водружения Креста на Св. Софии. Всю жизнь при этом он ругательски ругал дипломатов и дипломатию, лишивших Русское победоносное войско лавр, заслуженных победой.

Кстати сказать, ездил Николай Васильевич, по требованиям того времени, величественно-картинно, с посадкой, образцом коей мог бы служить памятник Императору Николаю I на

Исаакиевской площади работы барона Клодта. Следует напомнить, что сам барон был кавалергардским офицером времен Императора Николая Павловича и, будучи исключительно талантливым скульптором, по воле Государя стал на эту специальность.

Государь сказал ему: “Кавалергардских офицеров у меня хватит, а вот в скульпторах — нуждаюсь — ты и будь им”. Он тут же заказал четыре фигуры с конями в поводу, долженствующими изобразить наполеоновскую эпопею 1812 года, где сначала неукротимо-буйный, а затем постепенно утихомиранный Наполеон, подобно последнему из четырех коней, пошел по воле ведущего его под уздцы...

Удовлетворенный этой работой барона Клодта, Император Николай Павлович завещал ему быть мастером памятника, который будет воздвигнут после его смерти, что и было блестяще выполнено скульптором в царствовании Александра II...

Но продолжу рассказ о моем дяде, Николае Васильевиче, который кроме роста, стройности и общей красоты, обладал огромной силой и особенно в кистях рук. Он мог завязать бант из подковы и играл двухпудовыми гирями, проделывая всякия силовыя испытания с необычной ловкостью и легкостью, поражая зрителей.

Но как большинство сильных людей — побаивался своей силы и ни при каких обстоятельствах не дрался, боясь убить ненароком.

Выйдя в отставку, Николай Васильевич вернулся в родовое имение Хотяйницевых — Ивашкино Нижегородской губернии Арзамасскаго уезда и жившим в нем родителям со всей их семьей.

Однажды, когда все сидели за обедом, обратили на себя внимание беспокойство и торопливость прислуги. Выяснилось, что горничныя торопятся попасть в церковь на свадьбу. Венчался конюх Тихон, по их словам, с первой красавицей на селе Анной.

Это настолько всех заинтересовало, что извинившись перед родителями, все вместе, с отпущенной прислугой, побежали бегом в церковь, боясь опоздать к венчанию.

Венчание уже началось, когда группой пришли господа. Красота Анны поразила всех, а Николай Васильевич в каком-то оцепенении простоял всю службу, а затем, выйдя из церкви, отозвал Тихона в сторону и долго с ним разговаривал. После этого, он подозвал молодую и спросил у нее, хотела бы она, оставив Тихона, стать его, Николая Васильевича, полубовницей?

Анна изъявила свое согласие, на глазах у толпы пала в ноги Тихону, прося прощения, и на всю оставшуюся жизнь стала верной и любящей подругой Николая Васильевича.

Брака между ними не было, ибо никакого развода с Тихоном не добивались. Все произошло по доброй воле Тихона и Анны. Они оставались всю жизнь в дружбе и Тихон, став кучером сначала у родителей Николая Васильевича, а после их смерти у сестры его, не избегал приезжать и встречаться с Анной, которая, в свою очередь, оказывала ему всяческое почтение, угощая и разговаривая. Николай Васильевич также относился к Тихону тепло и внимательно.

...Когда мы приехали к Хотяйнищевым, то София Ивановна спросила Карамзиных нарочито строго: “А что у вас делает этот молодой человек, не гоняет ли он собак? Конечно, Академия Художеств — вещь хорошая, но только, только после общего образования”, и посоветовала им оставить меня у них в Нижнем и поместить в гимназию.

Директор Нижегородской гимназии К.И. Садоков согласился принять, но с тем условием, что к Рождеству пройду все положенное за первое полугодие пятого класса и сдам переэкзаменовку по русскому за четвертый.

Готовил меня по всем предметам доктор Позерил. Выдержав условия, был принят в пятый класс, и проучился в Нижнем еще

шестой и седьмой. А жил у Хотяйницевых на Покровке — Грузинский переулок, дом Аргентова...

Осенью 1869 в Горный Институт, как собирался, студентом не попал, не выдержав экзамена по физике у Краевича — на экзаменах он бывал свиреп, думаю, ему поручалось проваливать всех лишних сверх конкурсной нормы. Но приняли вольнослушателем.

Любопытный произошел со мной случай, подтверждающий русскую поговорку: “Не имей сто рублей, а имей сто друзей”.

В Петербурге мне нельзя уже было находиться за истечением права на жительство, и с квартиры, которую снимал, просили съехать. Дворник этого дома на вопрос “что делать?”, видя мою растерянность, посоветовал обратиться для получения паспорта в существовавшее тогда старое учреждение “Управа Благочиния”, предъявив там документы, что я и сделал.

Потолкавшись между чиновниками, заседавшими в этой управе, я уже потерял надежду добиться толку, и собрался уходить. Но тут мое внимание привлек сторож управы, я дал ему немного на “чай”, прося передать документы начальнику.

Не прошло и нескольких минут, как попросили к управляющему “Управы Благочиния”. Он вышел ко мне навстречу, пожал руку и спросил, не сын ли я Николая Александровича Карамзина, при этом называя “Сашей”.

Я, конечно, подтвердил, тогда он меня поцеловал и сказал, что он — граф, служивший в молодости в Сызрани и пользовавшийся гостеприимством моих родителей.

Мы разстались любезно, а через короткое время я получил от него “вид на право жительства” во всех городах Российской Империи, не исключая и столиц.

Так на эту зиму я остался в Петербурге, слушал предметы первого курса Горного института и, несмотря на то, что два месяца проболел брюшным тифом, перешел на второй курс, выдержав экзамен и по физике.

С тифом в Мариинскую больницу на Литейном меня в безпамятстве перевез с квартиры родной брат Наталии Васильевны Карамзиной князь Алексей Васильевич Оболенский, генерал. Заболел дома, откуда дали знать в Горный Институт. Прислали врача, он и попросил назвать знакомых в Петербурге — я указал на Оболенского.

Знал я князя хорошо, ибо в бытность мою в Московской Гимназии, по праздникам ходил к нему, московскому генерал-губернатору в отпуск, где подружился со своими сверстниками, его племянниками — князьями Мещерскими — Борисом и Сергеем Борисовичами.

Алексей Васильевич Оболенский сам приехал ко мне в карете и, закутав в свою генеральскую шинель, привез в больницу, где я пролежал с декабря по февраль. Он навещал меня несколько раз, сообщил о болезни Карамзиным, но к приезду Александра Николаевича я стал уже поправляться.

Посетил меня на Литейном и незнакомый мне генерал. Спросил, как себя чувствую и не нуждаюсь ли в чем? Я ответил, что ни в чем, кроме учебников, оставшихся на квартире. Когда ушел, то я узнал, что это посетил меня Его Высочество герцог Александр Петрович Ольденбургский. А через несколько дней учебники были доставлены с курьером.

Но когда меня выпустили из больницы, то так был слаб, что едва дошел до Невского...

Весной все же сдал экзамены, но по слабости здоровья не остался на практические занятия — харкал кровью, и уехал к Карамзиным в Макатеlem. Летом все же готовился к экзаменам, но съездил на пароходе в Сызрань к Наталии Васильевне Дворниковой, где жила сестра Вавочка и собрались мои братья на каникулы.

Володя к тому времени стал кадетом Второго Московского корпуса, Коля и Боря гимназистами Нижегородской гимназии, зиму они жили у Хотяйницевых.

Горный институт вполне своими науками удовлетворил. К естественным, которые преподавали, у меня природное тяготение, а технические давались легко.

Больше всех подружился в Институте со студентом М.Г. Субботиным, мы прожили с ним вместе четыре года из пяти лет курса, был близок со студентами Милковским и Гвоздевым — всего нас на курсе училось двенадцать человек, и отношения между всеми наблюдались дружественными.

Навещал и князя Оболенского, пришедшего мне в тяжелую минуту на помощь. Жил он тогда с детьми в Петербурге — Зоей и Алешей, жена его перешла в католицизм и сбежала, оставив детей, которые гостили каждое лето у Карамзиных в Макателеме.

Запомнилась Зоя — с зелеными глазами, волнистыми волосами, тоненькая, изящная, красивая. Брат Володя ухаживал за ней, а Леля Оболенский за Верой Хотяйницевой, которая впоследствии вышла замуж за Родзянку...

В Петербурге познакомился и с начальником Третьего отделения Потаповым, женатым на Александре Васильевне, сестре Наталии Васильевны Карамзиной.

Лето мы обычно проводили с друзьями-студентами на практических занятиях в окрестностях Петербурга, в Финляндии, Петрозаводске около озера, в Польше и даже за границей — в Галиции и Силезии — знакомились с горной промышленностью.

Но август обычно проводил в Ивашкино и Сызрани, где гулял, купался, дышал воздухом родины, слаще которого нет, а еще в свободное время рисовал птиц.

Меня уже тогда с neodолимой силой влекло к себе Поволжье...

Публикация Татьяны Жылкиной на основании материалов из семейного архива Карамзиных.

Сан-Франциско — Москва

Людмила Сапова

Засохшее дерево

О благотворительности в России

*“...Низложи сильныя со престол,
и вознесе смиренныя...”
Песнь Пресвятой Богородицы¹*

“Во всех веках и у всех народов бедные люди, не имеющие способов к пропитанию, болезнями удрученные и от многочисленности семейств своих бедствующие, обращали на себя предусмотрительную внимательность государей и возбуждали сострадание избыточествующих граждан...”² — так считал граф Николай Петрович Шереметев.

...Прошло почти двести лет с тех пор, как были написаны эти слова, трогаящие сердце каждого человека. Но в “наш жестокий век”, с болью возвращаясь к этим дивным словам, мы с удивлением обнаруживаем, что они не являлись личным мнением частного лица. Это — норма поведения целого общества. Замечательные высказывания о благотворительности не оставались просто словами на бумаге. Люди тех времен согласно своим убеждениям совершали поступки.

Одним из таких поступков и явился Странноприимный Дом графа Шереметева. Этот дом стал олицетворением всего доброго, светлого и христианского, что есть в человеке. Идея добра и справедливости, воплотившись в Странноприимном Доме, стала привлекать туда все больше и больше светлых и бескорыстных людей. В 1810 году в Москве образовался как бы целый “остров спасения”, где проявили себя лучшие человеческие чувства, “остров” самых несчастных. Был он, конечно, не

¹ Лк. I, 52.

² Покровский А. *Летопись церкви Живоначальной Троицы*. М., 1897, с. 43.

единственным. Мы знаем и о Куракинских богадельнях, и Голицынскую больницу, и многое, многое другое. Но Странноприимный Дом графа Шереметева был и остается одним из лучших примеров того, что может человек, когда он становится существом милосердным, каковым и был изначально задуман Богом.

*“История — это воскрешение”
Ж. Мишле*

...Сама идея создания Странноприимного Дома в Москве принадлежит графу Николаю Петровичу Шереметеву.

Род Шереметевых по древности происхождения и по своему историческому значению — один из самых знаменитых русских родов. Существует предание, что родоначальником Шереметевых был знатный прусский вельможа. Приехав в Россию он принял православную веру. Его сын, боярин Андрей Иванович, по прозвищу Кобыла, был родоначальником Шереметевых (XIV в.). Один из праправнуков Кобылы, Андрей Константинович Беззубцев, первый носил прозвище “Шереметь” (XVI в.). Борис Петрович Шереметев был знаменитым сподвижником Петра Великого. Он командовал русской армией в день Полтавской битвы (27 июня 1709 г.) и стал первым русским графом (с 1706 г.). Его сын граф Петр Борисович — обер-камергер при Петре III и Екатерине II. Он жил в селе Кусково, где давал знаменитые праздники. По его инициативе создан Фонтанный дом в Петербурге и “Увеселительный дом” в Кусково. По свидетельству современников, сам граф жил среди такой обстановки и обилия, что в любой день мог без предупреждения принять Екатерину II с ее многочисленной свитой. Женат он был на самой богатой невесте в России — княжне Варваре Алексеевне Черкасской, дочери канцлера. И было у них двое детей: сын Николай и дочь Варвара.

Учредитель Странноприимного Дома — граф Николай Петрович Шереметев родился 28 июня 1751 года. Он начал

службу сержантом Лейб-гвардии Преображенского полка, владел 140.000 душ крестьян. В молодости путешествовал по Европе, занимался науками.

Его супруга — талантливая русская драматическая актриса, бывшая крепостная графа — Прасковья Ивановна Ковалева-Жемчугова. Она родилась в 1768 году в семье кусковского кузнеца. Юные годы ее прошли в доме родственницы графа Шереметева, затем Парашу определили в Кусковский театр.

Первые свои роли она сыграла в возрасте двенадцати лет. Актрис крепостного театра в Кусково учили французскому и итальянскому языкам, а также хорошим манерам. Будущие актрисы проходили обучение у лучших актеров, танцовщиков и музыкантов. По воспоминаниям современников, Прасковья Ивановна была весьма одаренной. Ее утонченное воспитание и манеры сочетались с необыкновенной отзывчивостью и скромностью.

“...Весь род Шереметевых отличался щедростью и благотворительностью... Боярин Шереметев, во времена Иоанна Васильевича, истощил все свое имение для бедных, и когда Государь спросил у него: куда девал ты свое имущество? — он отвечал: “Я отпустил его с неимущими на тот свет”³.

Мысль о благотворительном учреждении возникла еще у графа Петра Борисовича Шереметева. На территории принадлежавшего ему, так называемого “Черкасского огорода” существовала церковь во имя Преподобной Ксении.⁴ К началу 1793 года при этой церкви уже находилось сорок восемь человек. Это были престарелые дворовые люди графа. Ксениевская церковь была летней деревянной шатровой церковью. О ней известно следующее: “Построена она была в память великой старицы

³ Тарасенков А.Т. *Историческая записка о Странноприимном Доме графа Шереметева*. М. 1860, с. 4-5.

⁴ В 1989 г. во время проведения натурных исследований на территории Дома был найден фундамент Ксениевской церкви

Марфы, в миру — Ксении Ивановны Шестовой, матери Михаила Романова...”⁵

“Черкасский огород” был загородным двором, где в летнее время жил его хозяин — князь Черкасский. Такими загородными дворами в первой половине XVII века было занято все пространство, прилегающее к Земляному валу (ныне Садовая улица). Со временем Ксениевская церковь стала настолько ветхой, что служить в ней было опасно, и служение проводилось в Вознесенском приделе. В 1793 году княгиня Мария Юрьевна Черкасская решила построить новую деревянную церковь во имя Живоначальной Троицы, с приделами Св. Архистратига Михаила и Преподобной Ксении.

Жители “Черкасского огорода” — мелкие чиновники, купцы, мещане, военные, крестьяне и дворовые, в частности — портной, кузнец, мясник, гранильщик, живописец, огородник, парикмахер, столяр, садовник и другие.

При домах обывателей цвели сады с фруктовыми деревьями и ягодными кустарниками. В центральной части “Черкасского огорода” находилась церковь Преподобной Ксении с деревянной колокольней. А за Гороховским (Грохольским) переулком находился обширный ров “с прудком и болотцем”.

В таком виде загородный двор графа Петра Борисовича Шереметева за Сухаревой башней перешел после его смерти по наследству его сыну Николаю Петровичу, основателю Странноприимного Дома.

В апреле 1803 года граф Н.П. Шереметев представил Императору Александру I доклад “О дозволении учредить в Москве Странноприимный Дом”. Вот строки из этого доклада:

“На ежегодное содержание Странноприимного Дома взношу я в Сохранную казну пятьсот тысяч рублей, составя сию сумму из доходов моих...”

Многие примеры говорят о том, что отношение к благотворительности в Странноприимном Доме было глубоким, тонким

⁵ РГАДА ф. 1287 ед. 4274 оп. 1 л.39.

и очень осмысленным. Вот что пишет главный доктор больницы Дома А.Т. Тарасенков: “Благотворительность может быть общественная и частная. И та и другая достигают своего истинного назначения только тогда, когда они в такой мере и в таком виде благотворят неимущему, что делают для него ненужным дальнейшее благотворение. Каждый может нуждаться во временной помощи, но никто в благоустроенном государстве не имеет право жить вечно за счет других. Призывать постоянно необходимо только престарелых, увечных, неизлечимо больных, которые при всем желании трудиться, не могут этого делать... Вот почему в наше время так неблагоприятно смотрят многие на благотворительность, состоящую в раздаче мелких пособий без разбора, которая не только не выводит нищего из нищеты, а напротив, поддерживает в ней. Вот почему отдается благотворительности общественной решительное предпочтение перед частной”.⁶

Прежде чем Странноприимный Дом был создан, граф Шереметев тщательно продумал образ жизни будущего Дома и составил об этом подробную записку — “Учреждение”. Оно указывает на благотворение разумное, обнаруживает отличное знание натуры русской, доказывает широкое понимание христианских обязанностей и тонкую “чуткость к человеческим бедствиям”.⁷ В “Учреждении” сказано, что право на получение благодеяния — это бедность и беспомощность. “Учредитель предлагает ”искать несчастных в самом жилище их”, ...чтобы бедный был достоин оказываемого милосердия, чтобы заведение не послужило приютом праздности, чтобы благодеяния не доставались наглým тунеядцам”.⁸ “Больница назначена для бесплатного лечения бедных и беспомощных, но здесь не требуется никакого удостоверения от посторонних лиц... Никто не оставит

⁶ Тарасенков А.Т. *Историческая записка о Странноприимном Доме графа Шереметева. М., 1860, с. 3-4.*

⁷ Там же. с. 60.

⁸ Там же. с. 20.

своего крова... и не поселится в больницу... без крайней нужды”.⁹

Благодеяния Странноприимного Дома не ограничивались только богадельней и больницей, в которой впоследствии появилось отделение для приходящих больных. Кроме этого, благотворительные средства Дома использовались:

- 1) на приданое “неимущим и осиротевшим девицам”;
- 2) “на вспоможение... семействам всякого состояния, претерпевающим скудость”;
- 3) “на восстановление обедневших ремесленников”, снабжение их инструментами и материалами;
- 4) “на вклады в храмы Божии”;
- 5) на создание медицинской кассы (пособия бедным больным, выписывающимся из больницы);
- 6) на создание библиотеки с читальней;
- 7) на сооружение лазарета Российского Общества Красного Креста;
- 8) на выкуп из тюрем в Москве и Петербурге людей, попавших туда за мелкие долги;
- 9) а с 1874 года — на выдачу пособий для воспитания сирот.

При первом известии об учреждении Странноприимного Дома поэт Державин написал:

*“О, если Шереметев к дням
Своим еще прибавил веку;
То не по тем своим пирам,
Что были дивом человеку,
Где тысячи расточены,
Народ, Цари угощены;*

*Где, как в волшебных неких снах
Зимой, в мороз, против природы,
Цветущую весну в садах,*

⁹ Там же. с.23.

*Шумящие с утесов воды
И звезд рассыпав миллион,
Свой дом представил раем он, —*

*Нет, нет! Не роскошью такой
Его днесь в свете прославляют,
Столы прошли, как сон пустой:
Их скоро гости забывают;
Но тем обрел он всех любовь,
Что бедным дал, больным покров.*

(Из Оды "К Скопихину". 1804 г.)

25 апреля 1803 года Император Александр I пожаловал графу Шереметеву орден Св. Владимира I-й степени при следующем рескрипте: "Желая ознаменовать отличное Наше уважение к добродетельному вашему подвигу...".

Первоначальный проект Странноприимного Дома был составлен московским архитектором, бывшим крепостным графа Елевзоем Семеновичем Назаровым. Строительство Дома началось в 1792 году.

6 ноября 1801 года состоялось бракосочетание графа Николая Петровича Шереметева с Прасковьей Ковалевой-Жемчуговой. Они тайно венчались в небольшой церкви Симеона Столпника¹⁰, т.к. российская знать в те времена неблагоприятно относилась к "неравным" бракам. Это событие имело важное значение для дальнейшей судьбы Странноприимного Дома. Благотворное влияние графини Шереметевой было несомненным. Современники в своих воспоминаниях отмечают, что супруги оба стремились найти цель жизни в добрых делах. По-другому не могло и быть, так как Прасковья Ивановна сама была олицетворением любви к ближнему. "Храм добродетели душа ее была..." — такова надгробная надпись на могиле графини Шереметевой в Александро-Невской Лавре...

¹⁰ Эта церковь расположена на улице Поварской, 5.

Граф Шереметев часто бывал в отъезде и необходимо было найти надежного человека для надзора за строительством Дома. Алексей Федорович Малиновский, сын духовника Шереметева — протоиерея Федора Малиновского, добровольно предложил свои услуги. В дальнейшем ему было суждено сыграть важную роль в судьбе Дома. С 1814 года он был его первым главным смотрителем.

Левое крыло Дома было определено для богадельни, правое — для больницы, а центральная часть — для церкви. “Церковь находится в середине главного корпуса и имеет неразрывную связь с... богадельней и больницей... по мысли учредителя вокруг церкви помещаются все благотворительственные, ...получая через Богослужение нравственное утешение и объединение”.¹¹ Церковь имела три престола. Главный престол — во имя Живоначальной Троицы. Его название перешло от Ксениевской церкви. Престол с правой стороны — в честь Святителя Николая (в честь графа Николая Петровича Шереметева), престол слева — во имя Св. Дмитрия Ростовского (в честь графа Дмитрия Николаевича Шереметева).

При Доме с самого начала был задуман английский сад, в связи с этим было дано приказание, чтобы при сломке жилых домов на “Черкасском огороде” “сады не опустошались и деревья не рубились”.

К началу 1803 года левая половина Странноприимного Дома была уже настолько отделана, что в нее можно было поселить людей. Но 23 февраля 1803 года произошла трагедия в жизни Николая Петровича — скончалась Прасковья Ивановна, оставив ему сына Дмитрия. Она “...умерла через несколько дней после родов, и умирающая постоянно опасалась, что у нее похитят ее ребенка...”¹². Теперь для графа

¹¹ Покровский А. *Летопись церкви Живоначальной Троицы М.*, 1897, с. 56.

¹² *Памяти Кузнецихи. — Утро России.* 27 июня 1910 г.

Шереметева Странноприимный Дом становится еще и хранителем памяти о покойной супруге...

Задуманный план улучшения здания заставляет графа отложить открытие Дома еще на несколько лет. К участию в строительстве привлекается известный придворный архитектор Джакомо Кваренги, которому граф поручает переработать планы Назарова, в целях улучшения как внешнего вида здания, так и внутреннего расположения его помещений.

Архитектор Кваренги жил в Петербурге и не мог осуществлять надзор за постройкой, поэтому граф Николай Петрович поручает это А.Ф. Малиновскому, но архитектурный надзор Шереметев все же предполагал оставить в руках Назарова, надеясь, “что по участию и доброму его расположению к пользе человечества... усугубит и он (Назаров) возможную помощь по сему предмету”¹³.

“Постарайтесь ...сделать желаемую переделку... Вы же столь искусны и честны, что всем строением одолжить меня не помедлите и добрым намерением приведете сие в деятельность, чем истинно меня одолжите не отвратите мое прошение и тем утешьте всего доброго от Вас ожидаю”¹⁴.

Для внутренней отделки здания Шереметев приглашает самых лучших в то время мастеров. Для живописных работ выбор остановился на Доминике Скотти. Известно, что он был преподавателем Московского Архитектурного училища и имел в Москве широкую известность. Кисти этого художника принадлежит роспись купола храма. Купольная композиция называется “Триипостасное Божество во Славе”. По сохранившемуся преданию, лик одного из херувимов (с пальмовой ветвью) был написан Скотти с портрета малолетнего Дмитрия —

¹³ *Виноградов А.И. История Странноприимного Дома графа Шереметева. Странноприимный Дом графа Шереметева в Москве 1810-1910 гг. Юбилейное издание. М., 1910, с.38-43.*

¹⁴ *Шереметев — Назарову 19.УІ.1803 г. (РГИА ф. 1088 оп. 14 ед. хр. 3, л. 9.)*

сына Николая Петровича. Интересен ангел с бубном. Он имеет женское обличье. Существует предположение о том, что это изображение Прасковьи Ивановны Ковалевой-Жемчужовой, т.к. этот ангел имеет с ней явное портретное сходство.

Для скульптурных работ был приглашен лучший в то время в Москве скульптор Гавриил Тимофеевич Замараев¹⁵. Он окончил Академию Художеств и был учеником известного русского скульптора II половины XVIII в. — Ф. Гордеева.

Выполнение мраморных работ по рисункам Кваренги поручается выдающемуся скульптору по орнаменту Сантино Пьетро Кампиони. Для выполнения резьбы по дереву был приглашен иностранный мастер Иван Мартинович Эрке.

“По обширности и внутреннему благолепию церковь Странноприимного Дома не имеет равных себе в Москве из домовых церквей. Не видно в церкви особенного богатства, но богомолец видит во всем изящество, симметрию и искусство. Стиль ее строго итальянский”¹⁶.

Останкинскому садовнику Маннерсу Николай Петрович дает поручение составить план для регулярного и английского садов при Странноприимном Доме. Жившие на “Черкасском огороде” люди были переселены в другие владения графа Шереметева.

“28 октября 1807 года А.Ф. Малиновский извещает графа Николая Петровича, что “все работы генерально приведены к окончанию”, прибавляя, что “красивость и прочность во всем строении такова, что для самой зависти трудно снизить хулу”¹⁷.

¹⁵ Литературные и архивные источники, как правило, указывают на то, что все скульптурное убранство Странноприимного Дома выполнено Г.Т. Замараевым. Но в картотеке ГНИМА им. Щусева есть упоминание, что скульпторов было два. Это Г.Т. Замараев и И.Т. Тимофеев (?-1830 г.)

¹⁶ Покровский А. Летопись церкви Живоначальной Троицы. М., 1897, с. 55.

¹⁷ Виноградов А.И. История Странноприимного Дома графа Шереметева. — В кн.: Странноприимный Дом графа Шереметева в Москве 1810-1910 г. Юбилейное издание. М., 1910, с. 54.

Величие и торжественность Дома не подавляют зрителя. Пропорции здания удивительно добрые и человеческие. Создается впечатление, что этот Дом излучает мягкий свет и тепло, и несчастных, попавших сюда, покидает чувство одиночества и тоски...

Строительство Дома было закончено, но графу Н.П. Шереметеву не суждено было увидеть его открытие. 2 января 1809 года Николая Петровича не стало. “Пышность и тщеславные виды в обряде знатного погребения всегда казались мне ненужными и неприличными сему печальному происшествию, знаменующему ничтожность человека; хотя таковой обряд от глубочайшей древности, через множество веков, донныне повсюду в употреблении...”, — писал Н.П. Шереметев в своем духовном завещании. Своему малолетнему сыну он оставляет завет: “Иметь неусыпное наблюдение и попечение о Странноприимном Доме, мною учрежденном...”.

24 июня 1810 года собрался Совет Дома, чтобы рассмотреть прошения бедных невест о назначении пособий на приданое. Эти пособия были определены по завещанию графини Шереметевой. Советом были выбраны девять девиц. Они тянули жребий. Одной из них выпал жребий в тысячу рублей, двум — по пятьсот, шести — по триста. Кроме того, Советом было назначено без жеребьевки приданое шести девицам по двести рублей и десяти — по сто. Приданое можно было получить после предъявления свидетельства венчавшего священника. Если девица в течение пяти лет не выходила замуж, то она лишалась права на приданое.

Впоследствии Совет стал допускать к новой жеребьевке девиц, не вышедших замуж в течение пяти лет, в том случае, если они оказывались “по бедности и хорошему поведению достойными уважения, а летами еще молоды”. Последующие распределения жребиев происходили 23 февраля — в день кончины графини Шереметевой. Браки этих девиц стали совершаться в церкви Дома.

Открытие Странноприимного Дома состоялось 28 июня 1810 года, в день рождения его учредителя — Николая Петровича Шереметева. “Торжество открытия Странноприимного Дома было выдающимся событием в Московской жизни того времени. Об нем всюду говорили, писались восторженные статьи в газетах и стихотворения, посвященные памяти Учредителя”¹⁸.

Дом стал выполнять свое благородное предназначение. Началась его жизнь. Больница и богадельня первоначально были рассчитаны каждая на сто человек обоего пола. Для богадельни существовали определенные правила поведения. Ее обитателям предписывалось “жизнь вести смиренную, миролюбивую и не праздную, удаляясь от всякого порока”¹⁹. Замеченные в нетрезвом виде исключались из богадельни. Те, которые вели благопристойный образ жизни, — поощрялись. Они могли отлучаться в отпуск. “Доставлялось удовольствие старичкам и старушкам в виде некоторых лакомств: так 9 марта им купались к столу ”жаворонки”, 1 августа — мед, 6 — яблоки, на маслянице делались блины с икрой...”²⁰. Только за шестьдесят шесть лет существования Дома (1822-1888) в нем было шестнадцать долгожителей — людей, умерших в возрасте ста лет и более...

Но вскоре тревожные слухи о неприятельском нашествии начали волновать жителей Москвы. Наступал 1812 год. 2 сентября 1812 года французы были уже в Странноприимном Доме. Приняв Дом за господский, они начали его грабить, но когда им объяснили, что это благотворительное заведение, то они прекратили грабеж. По словам А. Покровского — “Нравственная сила добродетели пресекла жадность и злобу врага”²¹.

¹⁸ Там же. С. 90-91.

¹⁹ Там же. С. 105.

²⁰ Там же. С. 280.

²¹ Покровский А. *Летопись церкви Живоначальной Троицы. М., 1897, с. 74.*

Французы превратили Дом в госпиталь. Французские доктора лечили как своих, так и русских больных. На картузах русских служащих Дома имелись значки. Французы понимали эти значки и никого не обижали. “Служащим в Доме жилось сносно: их кормили в день два раза и поили водкой. Но русским общество с заклятыми врагами не нравилось”²². Святыня храма была осквернена, в церковном коридоре стояли лошади. Наконец неприятели вышли из Странноприимного Дома и туда стали возвращаться его жители. После погрома церковь особенно не пострадала и в 1813 году уже была готова к освящению...

Графом Шереметевым в Тверской губернии было определено село Молодой Туд, которое кормило и содержало Странноприимный Дом. Но, начиная с 1820 года, несколько лет подряд в Молодотудской волости были неурожаи, и она не могла содержать Дом. Тогда Дмитрий Николаевич Шереметев стал давать пособия Дому из своих личных средств. Кроме того, он помогал и обедневшим от неурожая молодотудским крестьянам — пожертвовал им шестьдесят тысяч рублей, тем самым давая возможность поправить хозяйство. А с 1824 года Молодотудская волость снова стала содержать Странноприимный Дом.

В связи с появлением в Москве в 1830 году эпидемии холеры, Совет Странноприимного Дома принял энергичные меры для предупреждения занесения этой болезни в Дом. И не было ни одного холерного случая. В 1858 году в жизни больницы наступает оживление.

Главным доктором назначается А.Т. Тарасенков. “Больные намверяются вполне: мы, врачи, для них должны заменить отца, мать, брата, сестру, всех и все...” — так писал этот честнейший человек в “Воспоминаниях о Шереметевской больнице”.

12 сентября 1871 года от разрыва сердца скончался граф Дмитрий Николаевич Шереметев. С первого октября того же

²² Там же. С. 75.

года новым попечителем Странноприимного Дома становится его старший сын — Сергей Дмитриевич. А 29 февраля 1876 года, в день своего семнадцатилетия, младший сын — Александр Дмитриевич пожертвовал тридцать тысяч рублей в пользу Странноприимного Дома.

В этот период все здание начинает капитально перестраиваться согласно техническим достижениям того времени. Здесь сооружаются водопровод, канализация, центральное отопление, при больнице появляется водолечебница, проводится электрическое освещение. Для производства всех строительных работ был приглашен гражданский инженер Н.В. Султанов. Так как прежняя покойницкая была расположена в подвале главного здания, то это производило тяжелое впечатление на людей, находящихся в Доме. Поэтому в 1882 году была совершена закладка часовни-покойницкой по плану инженера Н.В. Султанова.

Как известно, Странноприимный Дом активно принимал участие в помощи раненым. При Доме создавались лазареты, пострадавшие на войне принимались в богадельню. Во время русско-турецкой войны 1877-78 годов существовал санитарный отряд в театре военных действий. Он был создан на средства графа Алексея Дмитриевича Шереметева.

О положении раненых в Доме во время русско-японской войны Виноградов пишет: “Пользовались всеми удобствами, чаем, вином, почтовой бумагой, марками, табаком, книгами и даже граммофоном, который был пожертвован для доставления им удовольствия”²³.

12 сентября 1873 года было открыто отделение для приходящих больных. Но доктору Тарасенкову, так много сделавшему для этого, не удалось дожить до дня открытия. Он умер 12 мая 1873 года.

²³ Виноградов А.И. *История Странноприимного Дома графа Шереметева*. — В кн.: *Странноприимный Дом графа Шереметева в Москве 1810-1910 г. Юбилейное издание*. М., 1910, с. 464.

После переустройства больницы (1882-83 гг.) в Странноприимном Доме появляется самостоятельная лаборатория для клинических исследований. Больница Дома в первой половине XIX века сыграла немалую роль в деле высшего медицинского образования. Медико-хирургическая Академия и Московский Императорский университет посылали студентов в больницу Дома для практических занятий. Связь между больницей и академическим миром Москвы устанавливалась также и в силу того, что врачи, работавшие в больнице Дома, являлись в то же время преподавателями Медико-хирургической академии или медицинского факультета Университета. Многие преподаватели медицины в больнице Дома открыли свои курсы.

В 1859 году по инициативе А.Т. Тарасенкова при больнице была основана медицинская библиотека. Другая библиотека, для пациентов больницы и жителей богадельни, была создана в 1872. Помимо этого, с 1904 года при Доме была открыта библиотека Общества ревнителей исторического просвещения.

28 июня 1910 года был отпразднован 100-летний юбилей Странноприимного Дома. Так заканчивается столетие существования этого благотворительного учреждения, "...в течение целого века сохранившего отличительные черты от других подобного рода заведений и послужившего образцом для многих из них"²⁴.

После революции Странноприимный Дом был целиком превращен в больницу. В дальнейшем в здании разместился Институт неотложной помощи им. Склифосовского. Церковь была закрыта и ее помещение использовано для нужд больницы.

В настоящее время в помещении Странноприимного Дома находится Музей медицины.

Живопись в куполе долгое время была закрыта побелкой. Лишь в 1954-55 годах произведена полная реставрация уцелевшей живописи, лепнины и горельефов. Убранство фасадов и

²⁴ Там же. С.485.

прилегающей территории не сохранилось. Основная часть внутреннего убранства, видимо, исчезла в конце двадцатых, так как на фотографиях этих лет иконостас с иконами был еще на месте. В 1971 году был составлен проект реставрации всего здания, но к сегодняшнему дню отреставрирована только церковь, и то без алтарей. Остальное здание с шереметевских времен так по-настоящему и не было отреставрировано, несмотря на то, что деревянные перекрытия сгнили, а стены Дома поражены грибом, который день за днем продолжает свою разрушительную работу...

“Есть ли зло только естественный недостаток, несовершенство, само собой исчезающее с ростом добра, или оно есть действительная сила..., владеющая нашим миром...”²⁵

Итак, прошло почти два века с того удивительного времени, когда совесть, честь, бескорыстие, доброта — были неотъемлемой частью бытия. Но время шло, и эти, казалось бы, вечные и прекрасные свойства человеческой души были заменены другими. Сейчас многое стало известно о том, как в России, в начале двадцатого века происходила эта “замена”. Замена царства Божия — царством сатаны. Страшное нашествие порока и порочных душ.

“Формирование порочной души покрыто тайной. Интересна мысль К. Юнга об архетипах, конденсирующих опыт примитивной души, из которых складывается коллективное бессознательное начало человечества...”²⁶ — пишет Д.М. Панин. Примитивная душа... Не отсюда ли начинается “сошествие во ад”? В “Записках из Мертвого дома” Ф.М. Достоевский размышляет о природе “сатанинских” поступков. “Эти люди так и рождаются об одной идее, всю жизнь бессознательно двигающей

²⁵ Соловьев В.С. Три разговора.

²⁶ Панин Д.М. В человеках благоволение. М., 1991, с. 137.

их туда и сюда; так они и мечутся всю жизнь, пока не найдут себе дела вполне по желанию; тут уж им и голова нипочем”²⁷.

Но бывало и по-другому, “На время человек вдруг выскакивает из мерки. Первого он зарезал притеснителя, врага, ...но потом уж он режет первого встречного поперечного...”²⁸. Но это уже просто прообраз будущего революционера, которому вскоре потребуется и новая мораль, разрешающая все это. “Тиранство есть привычка; оно одарено развитием...”²⁹, — делает Достоевский сей страшный вывод.

“Я не видал между этими людьми ни малейшего признака раскаяния, ни малейшей тягостной думы о своем преступлении и... большая часть из них внутренне считает себя совершенно правыми”³⁰. Это тоже характерная черта “нового” человека. Отсутствие раскаяния просто необходимо при установлении “дьявольских” порядков. Примитивное существо довольно просто становится разрушителем, совершая аморальный поступок, затем преступление. На то оно и примитивное существо. “Некоторые разрушители патологически ненавидят Бога и верующих, остальные просто не воспринимают религиозных истин...”³¹. У порочных душ своя система ценностей. Если такие существа начинают преобладать, одерживают верх, то на смену теплomu и добромu Странноприимному Дому приходит “Мертвый дом”. Приходит надолго...

Дотянутся ли свет и доброта из тех далеких времен до дней сегодняшних, до наших сердец? Прорастут ли в них? Ведь, кажется, нас разделяет бездна. Бездна бед. Возможно ли теперь это “воскресение из мертвых”? И сколько нам еще вопрошать, как измученная жена протопopa Аввакума: “Долго ли мука сея,

²⁷ Достоевский Ф.М. *Записки из Мертвого дома. Собр. Соч. в 12 томах.* М., 1982, т. 3, с. 109.

²⁸ Там же. С. 112.

²⁹ Там же. С. 200.

³⁰ Там же. С. 15.

³¹ Панин Д.М. *В человеках благоволение.* М., 1991, с. 137.

протопоп, будет?” И каждый раз слышать ответ: “До самых могилы...”? Но ведь расцвело же сухое дерево, которое упорно поливал монах много дней подряд.

Значит, Воскресение возможно. И дай Бог, чтобы оно состоялось. И вновь появится человек милосердный, живой, творящий, а не разрушающий. “В нашем понимании созидатели не только творцы, но и люди средних способностей... Их отличает здравый смысл и любовь к порядку, дающие им возможность смотреть на мир, как на большую мастерскую для честного труда каждого на своем поприще. Большинство из них руководствуются вечной моралью; поэтому они стремятся к торжеству добра и восстают против зла во всех его проявлениях”³².

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ И АРХИВНЫХ ИСТОЧНИКОВ

1. Березовский С.Е. Больница при Странноприимном Доме графа Шереметева. — В кн.: Странноприимный Дом графа Шереметева в Москве 1810-1910 г. Юбилейное издание, составленное ко дню столетия учреждения по поручению попечителя его графа Сергея Дмитриевича. М., 1910.
2. Виноградов А.И. История Странноприимного Дома графа Шереметева в Москве. — Там же. М., 1910.
3. Гра М.А. Большая Колхозная площадь, 3. М., 1984.
4. Домшлак М.И. Назаров. М., 1956.
5. Достоевский Ф.М. Записки из Мертвого дома. Собр. Соч. в 12 томах. М., 1982, т. 3.
6. Панин Д.М. В человеках благоволение. М., 1991.
7. Покровский А. Летопись церкви Живоначальной Троицы в Странноприимном Доме графа Шереметева в Москве. М., 1897.
8. Тарасенков А.Т. Историческое описание больницы Странноприимного Дома графа Шереметева в Москве. М., 1859.
9. Тарасенков А.Т. Историческая записка о Странноприимном Доме графа Шереметева. Составлена по поручению попечителя графа Дмитрия Николаевича Шереметева к пятидесятилетнему юбилею этого заведения. М., 1860.
10. Тарасенков А.Т. Воспоминания о Шереметевской больнице. М., 1899.
11. РГАДА, фонд 1287.
12. РГИА, фонд 1088.

³² Там же. С. 136.

Татьяна Кандаурова-Чернышева

“Леониду — спутнику первых странствий...”*

Первую поездку по Европе Максимилиан Волошин совершил во второй половине 1899 года, тогда он вместе с матерью продолжительное время жил в Париже и Берлине. Там и возникла мысль о самостоятельном путешествии по Италии, к которому он начал готовиться в Москве весной 1900 года, продолжая обучение в Московском университете. Изучали путеводители и итальянский язык, для приобретения денег сотрудничал в “Русской мысли” и искал спутников...

Первым откликнулся на предложенное путешествие студент юридического факультета Федор Арнольд, который был знаком Волошину по работе в газете. Видимо, Федор и познакомил Макса со своими друзьями — Леонидом Кандауровым и Василием Ишеевым. Все трое окончили в 1896 году Третью мужскую гимназию в Москве, в мае 1900 года заканчивали университет, “любили собратся, да потолковать всласть напролет всю ночь”.¹ Окончательно, в путешествии с Волошиным приняли участие Леонид Кандауров (Леонид), Василий Ишеев (Князь), Алексей Смирнов (Алексис).

Позже Кандауров записал: “Живой интерес к западной культуре, истории культуры и природе. Интерес к искусству на рубеже двух веков. Сходство в бытовом отношении: никто не пил, ни курил, были стойки перед соблазнами больших городов. Единство в стремлении — ценой лишений охватить возможно больший маршрут. Сознательное предпочтение программы путешествия посещению Парижской

* Из незабытого и неопубликованного.

¹ Письмо Ф. Арнольда к Л. Кандаурову.

выставки...”.² Такое сходство интересов, по его мнению, зависело от “судьбы спутников путешествия”.

Сам Леонид Васильевич Кандауров (1877–1962) принадлежал к семье потомственных военных — в 1524 году в русской истории упомянут воевода Юрий Кандауров. Дед Леонида, подполковник А.И. Кандауров, участвовал в войне 1812 года, воевал на Кавказе и умер в 1830 году, будучи комендантом крепости в Баку.

По линии матери родословная уходит в Польшу. Известно, что художник О.Ф. Каминский был выслан после раздела Польши из Варшавы в Уфу. В своей автобиографии Леонид Кандауров записал: “Я родился 16 августа 1877 года в Кишиневе, где мой отец Василий Алексеевич Кандауров (1830–1888) отставной морской офицер, принимавший участие в Севастопольской войне 1853–56 годов, служил чиновником по управлению казенным имуществом. Отец интересовался литературой и театром. Сам писал пьесы и романы, был членом Общества русских драматургов. Его роман “Поменьше опеки”, вышедший первым изданием в 1864 году, имел успех у молодежи 60-х годов, как отстаивавший ее права на образование.

В 1879 году отец перешел на службу в Управление Императорскими театрами Москвы — Большого и Малого, где заведовал постановочной частью. Высокий, плотный, с вьющимися волосами, широким лицом, серыми смеющимися глазами, он был веселый человек, любил свое дело, не жалел для него сил и денег”.

В Москве Кандауровы жили на Большой Дмитровке и почти каждый вечер отец вел младшего, любимого сына Леонида в Большой театр, где мальчик проводил время за кулисами. Он запомнил на всю жизнь не только блеск театра, но и его будни с изнурительным трудом балерин.

² *Воспоминания Л. Кандаурова.*

После смерти отца, в 1888 году, семья Канадунова осталась без средств. Старшие братья начали службу в театрах: Константин Васильевич (1865–1930 гг.) — художник, был осветителем в Малом театре, Павел Васильевич (1870–1919 гг.) — танцовщик, а затем режиссер Большого театра.

Леонид учился в гимназии. Дальнейшее его воспитание и обучение производилось на средства художника В.Д. Поленова. “Супруги Поленовы пожелали считать меня своим стипендиатом в память их умершего первенца и платили за меня в гимназию и первые годы университета. Еще будучи мальчиком, дома, я слышал об эпохе 60-х годов, увлечении науками о природе. Когда я был в последних классах классической гимназии, вышли в свет сочинения Писарева. Я увлекся ими и поступил для пополнения образования на естественное отделение физико-математического факультета Московского университета, которое окончил с дипломом I степени у профессора К.А. Тимирязева по кафедре “Физиология растений”, причем работал по его указанию в физической и химической лабораториях”.³

Летом 1895 года Поленовы пригласили Леонида в свою усадьбу для личного знакомства. “Мне в восемнадцать лет выпало счастье познакомиться и войти в замечательную семью Василия Дмитриевича. Его мировоззрение оказало на меня большое влияние. Он делился со мной своими обширными знаниями в области истории, литературы и искусства. Вскоре обнаружилось сходство вкусов — оба любили природу, науку о природе, театр. Стала налаживаться дружба...”,⁴ которая сохранилась на долгие годы. “Лучший друг последних лет жизни В.Д. Поленова”⁵, так записала в своей книге дочь художника.

³ Автобиография Л.В. Кандаурова.

⁴ Воспоминания Л. Кандаурова о художнике В.Д. Поленове, Музей В.Д. Поленова.

⁵ Е.В. Сахарова: В.Д. Поленов, Москва, “Искусство”, 1948, стр. 518.

Весной 1899 года В.Д. Поленов предпринял путешествие по сбору материала для главного труда своей жизни — “Изображения Евангельской истории в последовательном ряде картин”.⁶ В качестве помощника и фотографа был приглашен Леонид Кандауров. Путь лежал из Константинополя в Египет, затем через Мертвое море в Палестину и Сирию, где, караваном на лошадях, были пройдены места пребывания Христа, обследованы старинные, вырубленные в скалах, гробницы. “Леонид изучает и философствует”⁷, — написал В.Д. Поленов своей жене. В своей автобиографии Кандауров записал: “заинтересовался археологией, появилось желание овладеть культурой древнего и западного мира, начать изучение современного искусства”.

Зимой 1899–1900 годов Л. Кандауров штудировал монографию Р. Мутера “История живописи в XIX веке”, где его заинтересовало искусство неоидеалистов: М. Швинда, А. Беклина, М. Клингера, Р. Сегантили. Предложение Макса Волошина посетить Австрию, Баварию, Италию давало возможность увидеть подлинники художественных произведений.

...Перед отъездом были составлены “Узаконения” путешествия, содержащие восемнадцать пунктов, где оговаривалось: равноправие спутников — “в пути и остановках право всегда большинство, в случае равенства голосов права слабая сторона”; экономия — “вносится на общие расходы путешествия по сто пятьдесят рублей. Посещение галерей и учреждений записывать на счет каждого”; обязывалось “ежедневно по алфавитной очереди вписать в журнал до двенадцати ночи... Кроме того, каждый может вписывать что угодно”; вводились должностные лица: гид — Макс де Коктебель, хранитель печати и главный казначей Leon Comte d'Aouroff”

⁶ В.Д. Поленов. “Мое художественное завещание”, опубликовано в каталоге выставки: В.Д. Поленов, Москва, Галарт, 1994, стр. 25.

⁷ Е.В. Сахарова: В.Д. Поленов, Москва, “Искусство”, 1948, стр. 389.

(Л. Кандауров, где фамилия имеет скорее татарское происхождение — Хан Даурии). Дневник путешествия назывался “Журнал путешествия или сколько стран можно увидеть на полтора рубля”.⁸

В предисловии М. Волошин записал: “...Для того, чтобы вполне узнать страну, необходимо ощупать ее вдоль и поперек подошвами своих сапог. В путешествии количество виденного всегда обратно пропорционально количеству истраченного и съеденного.”

Странствия начались 26 мая 1900 года и продолжались шестьдесят один день. Они подробно описаны в “Дневнике путешествия”, в очерках Максимилиана Волошина “Листки из записной книжки”.⁹ Сохранились письма Леонида Кандаурова, позволяющие проследить взаимоотношения достаточно различных молодых людей. Макс — источник жизнерадостности, волшебник, дарил окружающим красоту через созданные им живые картины, которые воплотил затем в стихотворения и очерки. “Князь” отдавал должное увиденному, но относился к путешествию и спутникам с некоторой иронией. Леонид хотел как можно больше увидеть и узнать, однако, ему часто мешал врожденный скептицизм.

В начале путешествия “железный Макс, переносящий с гордым и презрительным спокойствием голод и холод”¹⁰ обескураживал своих спутников — “я иногда изнемогаю от бессилия поспевать за Максом и первый требую остановки и еды. Макс страшно бесхарактерный, ему приходится уступать, хотя и тяжело из опасения за будущее”.¹¹

⁸ М. Волошин. “Автобиографическая проза, дневники”. Москва, “Книга”, 1991, стр. 8-88.

⁹ М. Волошин. “Путник по вселенным”, Москва, “Советская Россия”, 1990, стр. 29-53.

¹⁰ М. Волошин. “Автобиографическая проза, дневники”, Москва, “Книга”, стр. 53.

¹¹ Письмо Л. Кандаурова 31 мая — 13 июня, 1900, Линц.

Впоследствии Волошин писал, — “я всегда считаюсь с тем, что подумают. Я всегда все делаю для какого-нибудь третьего лица”.¹²

После прибытия в Мюнхен противоречия юношей были забыты. Они попали в мир красоты и красок города — “картинных галерей, пива, германской старины и греческих колоннад”.¹³ В Новой Пинакотеке “видели чудные вещи Сегантини, интересные картины Фейербаха и Швинда, не все у Беклина оправдывало ожидания — лицо его “Мадонны” больше подходит для вакханки. Мы много смеялись по этому поводу”, — написал в письме Л. Кандауров, где далее сообщил: — “Князь оказался простым юношей... Макс также очень прост и не играет роли. Смирнова мы страшно преследуем. Он своей тупостью изводит нас”.¹⁴

В это время, вблизи Мюнхена, в деревне Обер-Аммергау давали средневековую мистерию “Страсти Христа”, которая согласно обету, данному жителями во время чумы XVI века, повторялась раз в десять лет. Из-за толпы европейских туристов молодые люди с большим трудом попали на представление, которое вызвало двоякое чувство — “в наивную средневековую народную драму” были введены “ложно классические формы и греческие хоры”, что лишило ее “первобытной свежести”.¹⁵

Затем началось богатое сменой впечатлений пешее путешествие через Альпы в Италию. Был выбран маршрут по горным тропинкам, как “ходили в Италию германские паломники с мешком за спиной и палкою в руках”.¹⁶

Из местечка Эрвальд спутники направились к перевалу Хох-Йох: “Мы в ясное солнечное утро перешли через снега

¹² М. Волошин. “Автобиографическая проза, дневники”, Москва, “Книга”, стр. 96.

¹³ М. Волошин. “Путник по вселенным”, М., “Советская Россия”, 1990, стр. 20.

¹⁴ Письмо Л. Кандаурова, от 3–15 июня, 1900, Мюнхен.

¹⁵ М. Волошин. “Путник по вселенным”, М., “Советская Россия”, 1990, стр. 28.

¹⁶ М. Волошин. “Путник по вселенным”, М., “Советская Россия”, 1990, стр. 44.

Хох-Йох и испытали громадное наслаждение... Наше состояние на высоте трех тысяч метров Макс так удачно определил: “Мы находились как будто на другой планете с особым воздухом и особым пейзажем”. Далее спуск вел в долину реки Эч, где шли по шоссе. “Из проезжих omnibusов на нас с любопытством смотрели. И не мудрено. С ледника до долины Эч мы совершенно изжарились, лица и шеи колет как иголками. Я для спасения надел башкирскую шляпу”.¹⁷

Вторым наиболее утомительным, где дорога выписывала китайские письмена, был перевал Стилзер-Йох, пересекающий горный массив Ортлер. На перевале сходились границы трех государств — Швейцарии, Австрии, — откуда шли спутники, — и Италии, куда они спускались. “Исполнить наше намерение, стать на четвереньки таким образом, чтобы различные наши части тела находились в различных государствах, нам не удалось, было грязно, мокро и холодно”.¹⁸

Остановка была сделана в первом итальянском городке Бормио, откуда Леонид писал: “У меня громадная энергия, я не уступаю Максиму в стремлении вперед, но наших спутников надо тормозить. Макс относится ко мне хорошо. Он как-то читал свои стихотворения и восхитил Князя”.

Покинув Бормио, Волошин поехал в Милан, а остальные через Швейцарские земли направились к перевалу Бернина (2333 м). “День громадного перехода с шести утра до девяти вечера стоил нам большого труда. Сначала по отвесным скалам восемь часов без остановки, затем предстояло взобраться на массив Бернина. Шел дождь, через перевал шли в облаках... Отсюда мы пошли к г. Понтрезино... Было решено, что переходов через снега довольно... Теперь на юг, в Италию, к морю!”¹⁹

¹⁷ Письмо Л. Кандаурова от 11-24 июня, 1900.

¹⁸ М. Волошин. “Автобиографическая проза, дневники”, М., “Книга”, стр. 33.

¹⁹ Письмо Л. Кандаурова от 16-29 июня, 1900 г. Понтрезино.

Возможно благополучный переход через все альпийские цепи в “несезон”, когда небо серое и идет дождь, или красота Милана с его многочисленными шедеврами, создали радостную обстановку: “Вечером мы были в общественном саду. Мимозы спали, магнолии пахли лимонами. Макс сел под деревья и начал читать стихи”.²⁰

В Милане Макс и Леонид восхищались Леонардо да Винчи “Тайная вечеря”, где “каждый поворот головы и изгиб пальца составляет целую поэму и подробный психологический трактат”,²¹ посетили готический собор Диомо, крыша которого представляла целый город из мрамора. По легкости и ажурности это напоминало китайскую вещицу из слоновой кости в размерах Храма Христа Спасителя. Все чаще в письмах Леонида встречаются слова: “я и Макс”, “мы с Максом”. Так и в письме из Флоренции он пишет: “Мы чудно провели день в Пизе с Максом. Заросшая травой площадь на краю города, здесь находятся собор, кристилище, Падающая башня, с которой открывается вид на горы Тосканы и море”.

Волошин умел создавать легенды о происшедших ранее событиях. Здесь, в Пизанском соборе, он ощутил шаги Галилея, идущего под звуки органа и наблюдающего качание люстры, после чего были выведены законы маятника. На берегу моря, в Пизе, он рассказывал о трупe Шелли, который был выкинут волнами, затем сожжен. Отмечая свой интерес к истории, Волошин записал в дневнике: “Старые квартиры доставляют мне больше исторического удовольствия, чем эстетического. Поэтому я люблю и римские бюсты с их фотографической портретностью. Это страницы Тацита, запечатленные в мраморе. Каждый из них дает полную законченную характеристику целого типа”.²²

²⁰ Письмо Л. Кандаурова от 21 июня — 4 июля, 1900г., Милан.

²¹ М. Волошин. “Путник по вселенным”, М., “Советская Россия”, 1990, стр. 27.

²² М. Волошин. “Автобиографическая проза, дневники” М., “Книга”, 1991, стр. 49-50.

Живописная фигура самого Макса также представляла неординарный тип путешественника, вызывающего эмоции. “Макс пользуется успехом, он смущен и доволен. Его никто не принимает за русского, чаще за богатого оригинальничавшего иностранца. Дети останавливаются и спрашивают родителей, что это за человек, но те затрудняются ответить”²³. Или “Вечером мы приехали во Флоренцию. На улицах большое оживление. Нас все осматривали с любопытством. Иностранцы с мешками бегут по городу. Самый большой и толстый в синей рубашке впереди”²⁴.

Три дня было отведено на изучение Флорентийских музеев: “Макс нервно ищет фрески Джотто. Князь обнаружил рвение в изучении картин”²⁵.

Затем путь лежал в Рим, знакомству с коллекциями которого отводилось центральное место в путешествии. Первые дни ушли на осмотр города, — холм Monte Pincio, откуда самый полный вид на Рим, Ватикан, Форум, Колизей. “Мы провели в Колизее и на Форуме очень приятно время до захода солнца. Лазили везде, приводя в смущение сторожей... Когда стемнело, вернулись на арену Колизея. Было темно. Мы сели и стали слушать тишину. Макс рассказывал сказки”²⁶.

В этот вечер появились два стихотворения Волошина “На Форуме” и “Ночь в Колизее”. Длительное пребывание в Риме — двенадцать дней, способствовало укреплению дружбы молодых людей. Видимо, было много интересных бесед об искусстве, нравственности, где затрагивался вопрос о Боксерском восстании в Китае. Говорили о положении студентов в России, о своих будущих планах, Макс мечтал о новых путешествиях, а Леонид больше рассчитывал на свою “счастливую

²³ Письма Л. Кандаурова из Флоренции.

²⁴ Там же.

²⁵ Там же.

²⁶ Письмо Л. Кандаурова из Рима от 2–15 июля 1900 г.

звезду”. У “старейшего фотографа Италии” была сделана 17 июля 1900 года совместная фотография, после чего “Максу пришла идея выпить на брудершафт”.

Благодаря письму Н.В. Поленовой (жена художника В.Д. Поленова), путешественники несколько раз посетили гостеприимную семью Н.Д. Хельбиг (урожденная княгиня Надежда Дмитриевна Шаховская 1845–1924 гг.). Будучи пианисткой, она в Риме занялась врачебной практикой. Ее муж — археолог Вольфганг Хельбиг, дочь — художница, сын кончил Римский университет и собирался в Москву для изучения русского языка. Семья проживала в старинной вилле, описанной у Вазири. В вилле жили приведения, окна открывали вид на Рим, где внизу протекал Тибр.

“Вечный город! Я впервые ощутил его веянье только теперь в этом старинном дворце”, — записал в дневнике Волошин.

Семейство, действительно, было интересным. Хозяйка очаровала молодых людей оригинальностью и осведомленностью — она знала Льва Толстого, Де‘Аннунцио, Марию Башкирцеву и других знаменитостей со всего света. Нашлись общие знакомые с Максом, а именно доктор П.П. Теш, друг матери Волошина.

Окрестности Рима поразили юношей роскошью и живописностью своей природы. Как всегда, Макс сумел дать точные характеристики — вилла д’Эсте (XVI в.) напомнила ему наивные и простые сказки о старых замках, застывшие в реальных формах, а вилла Андриана (II в.) — “прекрасные фигуры Императорского Рима”.²⁷

Противившись с Римом, спутники направились в Неаполь, посетили Помпеи, поднялись на Везувий. “Взгляни на Неаполь и постарайся никогда не умирать”²⁸, — записал Волошин

²⁷ М. Волошин “Автобиографическая проза, дневники”, М., “Книга”, 1991, стр. 69.

²⁸ Там же, стр. 76.

про этот, неутомный своей уличной жизнью, город. В музее его покорила помпейская живопись, — “она была для меня целым откровением. Она более близка мне, чем христианская живопись Возрождения”.²⁹

После Италии спутники отплыли в Грецию мимо острова Корфу, посетить который не удалось из-за отсутствия денег. Природа Греции напоминала Восточный Крым и ее красота казалась слишком простой по сравнению с прекрасной Италией. Самое характерное для Акрополя — “это стройный белый профиль тонкой ионийской колонны на темно-синем небе... белый хрупкий мрамор, местами облитый бронзовым оттенком, точно загорелый от солнца...”.³⁰

Последняя остановка и последняя запись в дневнике была сделана в Константинополе 24 июля 1900 года. Далее из записей Л. Кандаурова следует:

7 августа – 25 июля. Новые знакомые, посещение Софии, Галатской башни, базары, кофейни.

8 августа – 26 июля. Музей, фотограф Торсиан, Скутари, Веношная.

9 августа – 27 июля. Выехали в Севастополь на пароходе “Олег”.

28 июля 1900 года. Севастополь. Купанье. Прощальный обед. Расставание с Максом...

...В Судаке, 21 августа 1900 года Макс Волошин был арестован и доставлен в Басманскую часть города Москвы, откуда выслан до особого распоряжения. Еще в Риме Макс сообщили о возможной поездке в Ташкент³¹ для изыскания трассы железной дороги. Отъезд в Среднюю Азию заменял ссылку. Волошин воспользовался этим и вместе с инженером В.О. Вяземским вые-

²⁹ Там же, стр. 77.

³⁰ Там же, стр. 86-87.

³¹ Там же, стр. 61.

хал в сентябре 1900 года к месту назначения. После двух месяцев работы в степи вернулся в Ташкент, где узнал о прекращении судебного дела. Из Средней Азии Л. Кандаурову было послано пять писем, очерки — “Листки из записной книжки” и фельетон “Эпилог XIX века”.³²

В марте Макс приезжает в Москву, где встречается с друзьями по путешествию.

“Петровско-Разумовское, 11 марта 1901 г., собравшись по указанию судеб и тяготеющего рока, все три участника путешествия постановили дневник сей передать в полную собственность Леонида”.³³

Затем Кандауров выполняет просьбу Макса и знакомит его с художниками В.Д. Поленовым и А.А. Киселевым, которого знал из путешествия по Палестине в 1899 году. Киселев мог оказать помощь Волошину, он знал многих русских, живущих в Париже.

Затем пути Волошина и Кандаурова расходятся. В то время они не подозревали, что расстались надолго. Волошин уезжает в Европу, где вступает в совершенно новую жизнь, названную им годами блужданий (1905–1912 гг.) — “этапы блуждания духа: буддизм, католичество, магия, масонство, оккультизм, теософия, Р. Штайнер”, — запишет он в своей автобиографии.

А для Кандаурова наступил тяжелый период жизни. В 1905 году его выслали из Москвы за сочувствие к революции, он лишен права работать в казенных учебных заведениях. Только в 1908 году он находит место в Тверской Земской женской учительской школе им. П.П. Максимовича. Здесь он начинает научную и творческую педагогическую деятельность, много сил уделяет культурной жизни

³² Опубликовано в газете “Русский Туркестан”; январь 1901 г., №№ 1, 2.

³³ В августе 1937 г. Л. Кандауров передал оригинал дневника путешествия М.С. Волошиной — жене поэта.

города; устраивает художественно-промышленные выставки, любительские спектакли, создает метеорологическую станцию государственного значения, оборудует физический кабинет и астрономическую вышку. В эти годы он все больше сближается с художником В.Д. Поленовым.

Встречи Максимилиана Волошина и Леонида Кандаурова происходят редко, но носят теплый характер. Видимо, чувство юношеской дружбы сохранилось у них на всю жизнь. Об этом говорит последнее письмо, а также дарственные надписи М. Волошина. При встрече в Москве, в марте 1911 года, Волошин дарит свой первый сборник стихотворений,³⁴ сопровождая его надписью: “Леониду — спутнику первых странствий эту книгу на память дарит Максимилиан Волошин, 1915. III. 11, Москва”. Здесь к стихотворению “Акрополь” стоит посвящение Леониду Кандаурову.

В 1925 году была подарена акварель: “Милому Леониду памяти двадцатипятилетия наших скитаний по Италии и Греции на стыке двух веков”, Макс, 1925. VIII. 10, Коктебель.

В 1927 году акварель с надписью: “1927. IV. 22. Милому Леониду этот постоянный билет на въезд в Коктебель дарит Максимилиан Волошин”.

В заключении надо сказать, что всю жизнь Леонид Кандауров следил за успехами Максимилиана Волошина, собирал его письма, вырезки из газет с его статьями, сборники стихотворений, прозу.

“К вашему дедушке и всей семье большая нежность, для меня — это частичка далекого-далекого прошлого...”, — написала Мария Степановна Волошина в мае 1974 года автору данной публикации.

³⁴ М. Волошин. Стихотворения 1900–1910 гг., фронтиспис и рисунки К.Ф. Богаевского. К-во ГРИФ, М., 1910.

Письма Максимилиана Волошина Леониду Кандаурову

ПИСЬМО ПЕРВОЕ

*Около Сыр-Дарья
8 октября 1900 г.*

Спешу Вам наскоро ответить, дорогой Леонид, потому что сейчас есть оказия послать письмо в Туркестан.¹ Я нахожусь в степи или, точнее сказать, в пустыне, идем параллельно течению Сыр-дарьи, но еще не подошли к ней. Относительно Семенцова² вот что: сейчас производятся изыскания дороги³ и все места возможные и невозможные, как, например, мое, т.к. я зачислен фельдшером, числюсь техником, а фактически заведую лагерем и караваном, так что под моим начальством состоит двадцать верблюдов, четыре палатки, одна юрта и пятнадцать баранов. Изыскание закончится к апрелю будущего года, и тогда в случае, если постройка дороги будет решена окончательно, раскроется масса всевозможных мест и тогда мне Вяземский⁴ обещал непременно его устроить, так что по всей вероятности в апреле это окажется вполне возможно.

В степи мы пробудем до конца ноября, а после останемся в Ташкенте, тогда я может смогу устроить и какое-нибудь другое занятие для него до постройки дороги, но это далеко не наверно и сможет определиться только в ноябре. Я очень доволен всем происшедшим: сидение в одиночестве в Басманской части⁵ после Константинопольских участков⁶ и Сыр-дарьинские степи после Рима⁷, — это все очень ярко и хорошо и поучительно. Юрта мне напоминает купол Пантеона⁸ в миниатюре по своему освещению, а длинные вереницы верблюдов на фоне синеющих гор Кара-тау⁹ очень напоминают издали разорванные арки Римских водопроводов.

Картины в степи поразительные, особенно по вечерам. Особенно когда мы ехали с Валерианом (Вяземским) на

лошадях из Ташкента. На границе бесконечной степи гигантской ледяной стеной вздымается Александровский хребет¹⁰, (один из отрогов Гинду-куша¹¹ высотой с Тиро́льские Альпы¹²). По вечерам вся степь пылала красным пламенем, а горы принимали сине-розовые оттенки. Летом мы собираемся прогуляться на Памир. Странно кажется, что в этих местах Альпы уже представляются горами средней высоты, т.к. только отроги Гинду-куша, подходящие к Ташкенту не выше их, а на Памире самые удобные доступные проходы достигают высоты Монблана¹³. Лошади там не переносят разряженного воздуха и можно ездить только на яках. В ста верстах от Ташкента уже есть такие места, где еще нога европейская не бывала. Сам Ташкент удивительно хорош и оригинален. Это город, построенный в лесу. Домов совершенно не видно на улицах за зеленью. Всюду на улицах текут речки и городская дума тщетно изыскивает средства на вырубание деревьев на улицах “для свежего воздуха” и прорубание просеки.

Теперь целые дни провожу в степи или верхом или пешком, купаюсь в степных речках. Днями жара страшная, но ночью уже бывают морозы и в юрте холодно.

Пишите мне, пожалуйста, чаще, я буду очень благодарен. Напишите мне адрес Карлыча¹⁴. Князю¹⁵ поклон. Немного мне пожалуй и жалко, что я не в Москве и Ваше положение филолога первого курса¹⁶ не кажется мне уже настолько незавидным. Только, пожалуйста, не заключите из этого, что я недоволен своим теперешним положением. Напротив, я каждое утро по пяти минут прыгаю от радости (вечером не могу так засыпаю от усталости). Отбыв здесь свой срок изгнания, который еще не определен, я моментально уеду в Париж года на четыре в *ecole des chartes*¹⁷, по всей вероятности. Жаль, что со мной нет нашего дневника, я бы его с удовольствием перечитал. Пишу здесь в одной Ташкентской газете и хочу написать здесь ряд итальянских очерков, которые мне послужат потом материалом для стихотворений.

Очень жаль, что мне не придется познакомиться с г. Поленовым¹⁸, а мне бы страшно хотелось. М-me Helbig¹⁹ так и не написал, кажется потому, что забыл ее имя. Напишите мне, приехал ли ее сын? Ну, до свидания, пишите же пожалуйста, потому что Вы себе представить не можете, какое удовольствие доставляет всякое письмо из “Европы” — я только теперь начал сознавать, что Москва находится в Европе. Потом я Вам напишу толковее и более четко, а теперь страшно спешу, так как сейчас скачет джигит в Туркестан.

Поклон всем, Макс

ПИСЬМО ВТОРОЕ

Ташкент

(письмо не датировано, видимо написано в начале января 1901 г.)

Увидя почерк мой, Вы верно удивитесь: я так давно Вам не писал...

В конце концов, я начал находить какое-то своеобразное удовольствие в мучениях совести и в том, что ежедневно, придя с занятий в конторе, я открывал Ваши письма, раскладывал перед собой лист бумаги, брал в руки перо... и начинал читать какую-нибудь книжку. Как видите, я уже даже в конторе работаю, что не особенно интересно. Но прежде всего дело: о Семенцове я несколько раз говорил с Валерианом Вяземским и он мне каждый раз говорил: “Конечно, место ему можно будет дать, если постройка будет, то мест будет масса. Пусть он тебе напишет, что ему, собственно, хочется”. От себя я могу высказать также соображения: прежде всего ему верно смогут дать место только на линии — в степи, где он не будет видеть ничего кроме киргизов и верблюдов. Хочет ли он этого? Жалованье он будет получать верно не больше пятидесяти рублей. Я сам теперь получаю семьдесят пять, но предупрежден, что если останусь на постройку, то буду получать пятьдесят рублей.

Поэтому напишите мне минимум, за который он поехал бы, а я ему постараюсь выторговать максимум. Сам я думаю скоро уезжать отсюда, т.е. не раньше конца марта и не позже июня: все будет зависеть от того, сколько денег успею я скопить, т.к. я заехавши в Крым на несколько недель, поеду прямо в Париж года на четыре, чтобы там поступить на *Fakulte des lettres* или *ecole des chartres*. Ведь Вы знаете, что я оправдан и получил полную свободу передвижения. Но еще в феврале, как только закончится спешная работа по составлению проекта, я думаю вместе с Валерианом поехать за границу, именно в Китай. Это очень близко. От Андижана, города Ферганской области, до которого доходит Среднеазиатская железная дорога, до Кашгара (большой китайский город) всего пять дней туда на почтовых с перевалом через Тянь-Шань.

Эта поездка мне заменит путешествие на Памир, от которого мне придется отказаться, т.к. отправляться туда можно не раньше, чем в июле или конце июня, а я так долго здесь не останусь. Да и Китай меня еще больше теперь интересует, чем Памир, т.к. за это время еще больше утвердился в том, из-за чего мы спорили в начале июля в Риме, но особенно под влиянием рассказов Валериана, который долго жил на Востоке, бывал раньше в Китае и хорошо знает китайцев. По правде сказать, ведь это самый приличный и порядочный народ на земном шаре в настоящую минуту. Впрочем, и Вы, может быть, переменили уже с того времени свои взгляды на китайскую войну²⁰. Кстати, посылаю Вам свой фельетон, помещенный в местной газете и касающийся в корне этих вопросов²¹.

Не знаете ли, отвечал Федор²² на мое письмо? Я от него еще ничего не имел и боюсь не пропало ли его письмо. Поклон Вашей жене²³. (Увы, только в новом столетии приходится мне поздравлять Вас с этим). Что подельывает Князь? Поклон и улыбки всем моим знакомым.

Макс

Мой адрес теперь: г. Ташкент, Шахризьбская ул., дом Павлова, кв. Яхонтова.

ПИСЬМО ТРЕТЬЕ

Ташкент

24 января 1901 г.

Я только что перечитал Ваши три письма, дорогой Леонид, писанные мне в Ташкент и мне снова стало совестно, что я так долго Вам тогда не ответил. Может Вы поэтому и не пишете теперь? Ну, не сердитесь, пожалуйста.

Я сам верно уже скоро буду в Москве, проездом в Париж, и остановлюсь там дней на десять.

Жизнь моя теперь идет очень однообразно, т.к. я с десяти часов утра до девяти часов вечера занят в конторе, а потом вплоть до трех ночи заготавливаю впрок фельетоны для "Русского Туркестана". Между прочим, начал писать и очерки нашего путешествия, т.е. путешествия там нет, а только очерки и картины. В общем, слабо.

Ни на Памир, ни в Кашгар я, очевидно, не поеду, т.к. слишком меня сразу потянуло в Париж. А осенью на время каникул (тамошних) думаю в Пиренеи и в Испанию.

Что это Карлыч мне не пишет?

Да – вот просьба: узнайте, пожалуйста, у Карандеева²⁴ адрес нашего константинопольского знакомого Эдуарда Тарсиана²⁵ в Париже. У меня адрес был записан, но пропал во время ареста, а у Карандеева может сохранился. А мне бы хотелось найти Тарсиана в Париже. Он — милый.

До двадцатого февраля я буду во всяком случае в Ташкенте, а письма идут сюда из Москвы девять дней.

Я никак не могу понять из Ваших писем: продолжаете ли Вы быть филологом или бросили университет?

Что подельывает Князь?

Слышали ли что-нибудь о незабвенном Алексисе²⁶? Общй поклон.

Макс

Ташкент, Шахризьябская ул., д. Павлова, кв. Яхонтова.

ПИСЬМО ЧЕТВЕРТОЕ

Ташкент

25 января 1901 г.

Сегодня только утром я отправил тебе письмо и сейчас же получил ответ. Я очень рад, что, наконец, наш римский брудершафт подействовал, хоть и через шесть месяцев²⁷. Где мы бишь его пили? Кажется, в каком-то из переулков около св. Петра? Помню только, что за какие-то печенья с нас лиру взяли тогда (ужасная сумма!). Ужасно медленно действующее вино было. Представь себе, меня даже князевы штаны²⁸ перестали возмущать, а ведь полтора месяца назад я вспоминал и возмущался. Ужасно мне будет интересно прочесть теперь наш дневник. Какое впечатление производит он на наших знакомых?

Относительно знакомства с Поленовым я очень мечтаю, после твоего первого письма и думаю быть в Москве именно как раз в начале марта. В Кашгар я уже верно не попаду: теперь страшные снега на Тянь-Шане и Валериан отказывается. Поэтому я и приеду раньше. Не можешь ли ты мне как-нибудь устроить через Поленовых знакомство с какими-нибудь русскими художниками в Париже. Я буду об этом просить г-жу Юнге²⁹, но едва ли у ней остались какие-нибудь знакомые теперь в Париже. Кроме занятий историей литературы и искусства, я думаю попробовать учиться и рисованию-гравированию собственно. Я теперь снова начал рисовать пером и это мне очень улыбается. Только это, конечно, одни бесчисленные проекты, т.к. кроме того, я еще думаю учиться какому-нибудь ремеслу, чтобы иметь возможность путешествовать совсем без денег. Думаю после окончания курса в Париже идти пешком в Индию через Памир и Гималаи, думаю еще поехать в Японию. Это последнее, между прочим, страшно дешево, если поехать из Европы на японском пароходе и немного научиться языку. Двухсот пятидесяти

рублей вполне достаточно. Не желаешь ли в новое “сверхчеловеческое путешествие” в Японию?

Поздравляю Константина Васильевича³⁰. Господи! Кажется с моего отъезда из Москвы все пережились: ты, Федор, Блюм³¹, Озеров, Константин Васильевич, Климентьев. И все сразу. Прямо поветрие какое-то.

Учиться у китайцев я советую совсем не в ироническом смысле: во-первых, мы их совсем не знали, во-вторых, это единственная цивилизация, не основанная на рабстве, потом они умудрились избежать милитаризма и капитализма, наконец, полная равноправность, отсутствие аристократии и в основе вместо лозунга “прогресс есть увеличение потребностей” диаметрально противоположное стремление. Это все может не понравиться и мы найдем, что в Европе все-таки истина, но поучиться этому следует. “Быть как можно меньше европейцем”³² для настоящего (но не для другого) времени — это необходимый нравственный принцип.

Поклон Лидии... (а дальше вот не помню как), Федору, Блюму, Князю, Константину Васильевичу и т.д.

Макс

ПИСЬМО ПЯТОЕ

Когда ты получишь это письмо, то я буду уже на пути к Москве и недели через полторы после него явлюсь к тебе сам лично. Совет относительно отсылки “Эпилога” в Рим³³ приму и исполню непременно. Относительно же председателя Симферопольской Казенной Палаты, я, право, не могу сказать. Его я не знаю и кто он не знаю. Не знаю, есть ли у нас с ними общие знакомые. Ну да это мы уже при свидании перетолкуем и подумаем. Знаю, что раньше был им. Крым-Гирей, потомок крымских ханов, а теперь не он. По этому поводу, в нашей совместной поэме с Мишелем “Сон в Шулю”, “Покойный мулла из Албара” предсказывал былому хану:

*“Сынам твоим много придется терпеть,
Властитель Сарая богатый,
Твой правнук не будет Сараем владеть,
А только Казенной Палатой!”*

На этом мои сведения исчерпываются. Вообще в Симферополе знакомых у меня мало.

Мне очень приятно, что мой фельетон Поленовым понравился, и я иду с надеждой, что Вы меня непременно с ними познакомите.

Посылаю Вам начало описания нашего путешествия³⁴. Имейте в виду то, что это, во-первых, писано для Ташкента, а во-вторых, писано в попытке для приобретения средств на Париж. В Москве я думаю пробыть около двух недель, а потом в Париж. Вот если бы Вы мне через Поленовых какие-нибудь художественные знакомства там устроили, я бы Вам был очень благодарен³⁵.

Макс

ПИСЬМО ШЕСТОЕ

Генуя

19 июня

Дорогой Леонид! Я не могу ответить тебе на твое письмо, потому что на меня обрушилась масса событий и вот, в результате, я снова в Италии и посылаю эту открытку из Генуи.

Целый день шел дождь, как тогда, и как тогда я целый день бродил по городу и вспоминал тебя и Князя, но тому уже ровно два года³⁶. И в Генуе ничего не изменилось. И то же море, и те же купальни, и те же узкие переулки. Только я теперь не просто хожу, а ношу подмышкой ящик с красками и иногда поэтому останавливаюсь. Поклон Лидии Тимофеевне.

Макс

ПИСЬМО СЕДЬМОЕ

Коктебель

18 декабря, 1925 г.

Дорогой Леонид, отвечаю тебе с большим опозданием³⁷. Коктебель окончательно опустел только к ноябрю. А пока у нас гости — ритм зимней жизни не налаживается³⁸. А теперь жизнь наладилась и вошла в свою колею.

Большое спасибо тебе за твое письмо и за внимание к моим болезням³⁹. Ты совершенно прав — я все это знаю, потому что у меня с подагры — т.е., вернее, полиартрита — и началось. Но и артриты имели свои первопричины — это задержка пищеварения (*Nutrition retardee*), которая вызывает подагру и все ее последствия. У меня они ярко выражены — отсюда и моя астма и склонность к ожирению и т.д. Поэтому для меня самое важное — это уменьшение ожирения. И когда я осенью посадил себя на голодовку десятидневную (молочная диета), то сразу стало лучше и отеки ног уменьшились. А *atrophant* я знаю и принимаю его, но его тогда очень трудно было достать, а врачи очень предупреждают против русского атофана, от которого бывали случаи смертельных отравлений. Сейчас я чувствую себя недурно и дни переполненные работой, книгами и молчанием скользят с быстротой необыкновенной. Работаю я все-таки больше по части акварели. Хожу в горы. Делаю зарисовки. А стихи не пишутся. Напротив, как только за стихи берешься, такая “гражданская тоска” охватывает, а я терпеть не могу гражданской тоски. Сегодня получил известие из Одессы, что на тамошней выставке — единственная проданная вещь — моя акварель. Редкий случай. Думаю, что только за дешевизну (два червонца).

Приехал ли Константин из Бухары⁴⁰?

Как идет жизнь в Твери? Как твое самочувствие и здоровье? Приедешь ли в будущем году в Коктебель? Тогда приезжай пораньше, в мае.

Привет всем твоим, кто меня знает.

Крепко обнимаю тебя. Мария Степановна шлет тебе свой привет.

Макс

ПРИМЕЧАНИЯ

- 1 Туркестан — город Средней Азии, стоящий на реке Сыр-Дарья, севернее Ташкента.
- 2 Семенов Алексей Васильевич — студент, проводивший административную высылку в усадьбе “Борок” художника В.Д. Поленова.
- 3 “Изыскание дороги” — трассы для Оренбург-Ташкентской железной дороги.
- 4 Вяземский Валериан Орестович — инженер, брат Валентины Орестовны Вяземской — подруги и спутницы детства М. Волошина.
- 5 “Басманская часть” — полицейский участок в Москве, где несколько дней (конец августа 1900) пробыл М. Волошин после ареста в Судаке.
- 6 “Константинопольские участки” — полицейские участки г. Константинополя, по которым водили М. Волошина, Л. Кандаурова, В. Ишеева после их прибытия 24 июля 1900 года в Константинополь. Были задержаны местной полицией, т.к. не имели соответствующих виз.
- 7 Имеется в виду пребывание в Риме во время путешествия по Европе в 1900 году.
- 8 Пантеон — храм, посвященный “всем Богам”, имеется в виду Римский пантеон, купол которого имеет в диаметре 43,2 м.
- 9 Кара-тау — горный хребет Средней Азии, идущий параллельно реке Сыр-Дарья.
- 10 Александровский хребет, сейчас Киргизский, находится между Кара-тау и озером Иссык-Куль.
- 11 Гинду-куш — один из самых высоких хребтов Азии, находится на границе с Афганистаном.
- 12 Тирольские Альпы — часть Альпийской горной системы, расположенной на территории Австрии, вдоль которой путешествовали М. Волошин и его спутники.
- 13 Монблан — наивысшая горная вершина Альп, 4810 м.
- 14 “Карлыч” — имеется в виду Федор Карлович Арнольд (1877–1954), друг М. Волошина по университету. Служил юристом, сотрудничал в газетах “Курьер”, “Педагогический листок”, после революции преподавал древние языки в МГУ. В июне 1901 года путешествовал по Европе: “Хочу выехать в Париж — Макс внезапно оттуда удрал. Меняю маршрут — Вена, Венеция. Восемь дней проходил пешком весь Тироль. Мюнхен, два дня спустя перед Беклингом. Честное слово, плакал... Вообще в заграничном путешествии я вступил в новый мир красоты”. Вел переписку с Л. Кандауровым.

- 15 Князь Василий Петрович Ишеев (1878–1920) окончил юридический факультет, служил в Тамбове. Зверски убит в своей усадьбе.
- 16 “Филолога первого курса” — в сентябре 1900 года Леонид Кандауров, по инициативе и материальной поддержке художника В.Д. Поленова, поступил на первый курс филологического факультета с целью стать искусствоведем. Весной 1901 года оставил университет, поступил на службу.
- 17 Имеется в виду Школа Изящных Искусств в Париже.
- 18 Василий Дмитриевич Поленов (1844–1927) — народный художник, профессор.
- 19 Хельбиг Надежда Дмитриевна, урожденная княгиня Шаховская (1845–1924). Ее сын окончил Римский университет и собирался приехать в Москву для изучения русского языка.
- 20 Спор шел по поводу войны в Китае. В 1895 году Япония, после победы над Китаем, должна была оставить за собой значительные территории. Европейские державы не допустили этого и в 1898 году под видом аренды сами заняли часть китайских областей. Этот натиск европейцев вызвал народное недовольство, разразившееся весной и летом 1900 года Боксерским восстанием. В результате были уничтожены многие европейские ценности, избиты и убиты представители иностранных держав. После этого, без объявления войны, иностранные войска ввели соединенные войска, заняли Пекин и заставили китайцев в 1901 году заключить тяжелый для них мир, подтвердивший привилегии и территориальные уступки в пользу иностранцев. В споре Л. Кандауров защищал европейцев, М. Волошин — китайцев.
- 21 Фельетон “Эпilog XIX века” был опубликован в газете “Русский Туркестан”, 1901, январь, №№ 1,2.
- 22 Федор — Ф.К. Арнольд.
- 23 Имеется в виду жена Л. Кандаурова — Лидия Тимофеевна Кандаурова (урожденная Струнникова, 1873–1943).
- 24 Карандеев Валериан Александрович — московский студент, с которым М. Волошин познакомился в 1900 году в Греции во время путешествия.
- 25 Эдуард Тарсиан — фотограф, с которым путешественники познакомились в Константинополе.
- 26 Алексис — Алексей Васильевич Смирнов — спутник М. Волошина в путешествии 1900 года.
- 27 Имеется в виду предложение Макса “выпить на брудершафт” 3 (16) июля в Риме.
- 28 “Князевы штаны” — в Риме В. Ишеев купил себе новые брюки, чем вызвал недовольство своих спутников: “Только тот сможет себе представить наше настоящее экономическое положение и то чувство, с которым приходится проезжать мимо интереснейших местностей, о которых столько мечталось,

- не имея возможности увидеть их, поймет всю возмутительность подобного поступка”, — записал М. Волошин в дневнике 11 (24) июля, Рим.
- 29 Екатерина Федоровна Юнге (1843–1913) — младшая дочь художника Ф.П. Толстого, жена врача-окулиста Э.А. Юнге (1833–1898). “Первая благосклонная слушательница детских стихов” М. Волошина.
- 30 Константин Васильевич Кандауров (1865–1930) — брат Л. Кандаурова. Художник, близкий друг, первый советчик и менеджер художника К.Ф. Богаевского. Впоследствии был другом Волошина. К. Кандауров известен как организатор выставок творческих объединений: Московское тов-во художников, Новое об-во художников, “Мир искусства”. После революции заведовал выставочным отделом Наркомпроса, в 1924 году организовал общество “Жар-цвет”.
- 31 Блюм Владимир — друг Ф. Арнольда и Л. Кандаурова по гимназии.
- 32 Понятие “европейца” — “истинного европейца сверхнационального и номадного человека” заимствовано из произведения Ф. Ницше “По ту сторону добра и зла”.
- 33 Имеется в виду — послать “Эпилог” г-же Хельбиг.
- 34 “Листки из записной книжки”, опубликованные в газете “Русский Туркестан”, 1901 год.
- 35 Л.В. Кандауров познакомил М. Волошина с художником Александром Алексеевичем Киселевым (род. 1855), который был другом семьи Мамонтовых, Поленовых, знал Е.С. Кругликову, а также художника В.Д. Поленова.
- 36 В письме М. Волошин вспоминает, как 6 и 7 июля 1900 года молодые люди жили в Генуе.
- 37 В 1925 году Л. Кандауров в первый раз после революции приезжает в Коктебель. Затем он был в Коктебеле в 1926, 1927 годах. В 1937 году он передал “Дневник путешествия” М.С. Волошиной, отмечались пять лет со дня смерти Максимилиана Александровича, и Л. Кандауров со своими внуками участвовал в факельном шествии к могиле поэта. В 1953 году Кандауров был последний раз в Коктебеле, прощался с Домом Поэта.
- 38 Летом в доме Волошина жили писатели и художники. “Согласно моему принципу, что корень всех социальных зол лежит в институте заработной платы, — все, что я произвожу, я раздаю безвозмездно. Свой дом я превратил в приют для писателей и художников”, — записал М. Волошин в своей автобиографии.
- 39 Л.В. Кандауров, учась на естественном отделении университета, посещал лекции медицинского факультета, позже все время пополнял свои знания по медицине и лечил родных и знакомых.
- 40 Имеется в виду К.В. Кандауров, которые в течение последних десяти лет был близким другом М. Волошина. В 1922–25 гг. К.В. Кандауров вместе с художницей Ю.Л. Оболенской выезжали для работы в Среднюю Азию.

Священник Дионисий Поздняев

К истории о церковном расколе в Шанхае

Ход церковной жизни в Китае по окончании Второй Мировой войны, ее внутренние коллизии и перипетии и поныне мало известны.

В Послании православной пастве от 2 августа 1946 года святитель Иоанн Шанхайский писал:

“Ввиду перерыва сообщений с иными странами, мы в то время в течение нескольких лет были оторваны от Высшего Церковного Управления Заграницей и временами на значительные промежутки бывали отрезаны от епархиального центра, вынужденные тогда самостоятельно руководить местной церковной жизнью, но принимая все возможности к восстановлению сношений.

Во время войны была сделана попытка создать церковное Управление Восточной Азии под главенством митрополита Мелетия. Тогдашние власти в Харбине весьма настаивали на том, чтобы было прекращено поминовение митрополита Анастасия, которого они считали своим недоброжелателем. Однако, обосновав многими ссылками на каноны, дальневосточные иерархи воспротивились тому и продолжали считать митрополита Анастасия главою Зарубежной Церкви. После разгрома Германии о судьбе Заграничного Синода не было никаких сообщений, и о том ходили разные слухи. В конце июля прошлого года мы получили известие, что харбинские иерархи постановили просить Святейшего Патриарха Московского о принятии их в свое ведение. Мы немедленно написали архиепископу Виктору, что, не имея сведений о судьбе Заграничного Синода и не будучи вправе оставаться вне подчинения высшей Церков-

ной власти, мы должны также войти в сношение со Святейшим Патриархом Московским и при отсутствии препятствий подчиниться ему”¹.

...С 1941 года православная Церковь в Китае оказалась в изоляции от всего православного мира: связь с Заграничным Синодом была прервана в результате военных действий в Европе и Азии и освободительной борьбы Китая против Японии. Представителем Заграничного Синода в Китае являлся Высокопреосвященнейший митрополит Мелетий, живший в Харбине. Титул епископа Пекинского и Китайского принадлежал архиепископу Виктору, Начальнику 20 Миссии. Харбинская епархия была вполне самостоятельна в своем управлении. Кроме того, после создания Японией марионеточного государства Маньчжоу-Го со столицей в Синьцзине, эта епархия, как находящаяся за пределами Китайской Республики, с трудом могла совещаться по вопросам церковной жизни с Начальником Духовной Миссии в Пекине. Православные испытывали гонение — японская администрация требовала от всех граждан символического поклонения богине Аматерасу — родоначальнице императорского дома Японии. Убиты были священники Александр Жуч и Феодор Боголюбов, иеромонах Павел, некоторые священнослужители были в принудительном порядке переведены из Харбинской епархии в Пекин.

В рапорте от 24 марта 1945 года священника Богородско-Казанской Табынской женской обители Какагаши близ Дайрена (Дальний) прот. Иннокентия Петелина на имя Патриарха Московского и Всея Руси Алексия I есть следующее описание ситуации, сложившейся в Китае:

“...Японской администрацией края парализована вся хозяйственная жизнь эмиграции, исковерканы и больше чем наполо-

¹ *Архиепископ Иоанн Шанхайский. Послание православной пастве Шанхайской, 2 августа 1946 г., Шанхай.*

вину уничтожены русские школы..., некоторые из священников подверглись тяжелым репрессиям, избиениям и даже смерти. Наличные иерархи, а именно Высокопреосвященнейший митрополит Мелетий, Высокопреосвященнейший архиепископ Нестор, Высокопреосвященнейший архиепископ Виктор, Высокопреосвященнейший архиепископ Димитрий, Преосвященнейший епископ Иоанн и Преосвященнейший епископ Ювеналий не находятся между собой в дружеском согласии...”².

Прот. Иннокентий далее сообщает и о том, что Епископское Совещание Харбинской Епархии по воле митрополита Мелетия возвело Преосвященного Димитрия в сан архиепископа — это явный знак автономии епархии, вернее, ее оторванности от церковного центра — Заграничного Синода. Далее в этом рапорте говорится о готовности многих эмигрантов принять юрисдикцию Московского Патриарха. Прот. Иоанн обращается к Патриарху с предложением направить в Харбин дальневосточным архиереям воззвание о присоединении к Матери Церкви и о подчинении Патриаршей власти.

В июле 1945 года состоялось Епископское Совещание в Харбине по вопросу о принятии новой юрисдикции. Решено было просить Патриарха Алексия о переходе в Московский Патриархат.

Однако, Пекинская епархия должна была самостоятельно решить этот вопрос. Святитель Иоанн, епископ Шанхайский, — юрист по образованию, канонист и юрисконсульт Миссии — убедил архиепископа Виктора, своего правящего архиерея, принять новую юрисдикцию. 31 июля 1945 года он писал Начальнику Миссии:

“...После решения Харбинской епархии и ввиду отсутствия сведений о Заграничном Синоде в течение ряда лет, иное решение нашей епархии сделало бы ее совершенно независи-

² Прот. Иоанн Петелин. Письмо Патриарху Московскому и Всея Руси Алексию I от 24 марта 1945 года. Архив ОВЦС МП, Дело № 39.

мой, автокефальной епархией. Канонических условий для такой независимости не имеется, так как сомнений в законности... признанного Патриарха не имеется. Отношения с той (московской — Свящ. Д. П.) церковной властью также делаются возможными, так что неприменим Указ от 7 ноября 1920 года. В настоящее время пока нет никаких оснований оставаться на положении самоуправляющейся епархии, нам надлежит поступить как Харбинская епархия. Возношение имени Председателя Заграничного Синода пока должно быть сохранено, т.к. по 14 прав. Двукратного Поместного Собора нельзя самовольно прекращать поминовение своего митрополита. Возношение же имени Патриарха... необходимо Вашим Указом ввести безотлагательно во всей епархии”³.

Эта абсолютно четкая и безупречная, с канонической точки зрения, позиция была разделена архиепископом Виктором, который в августе 1945 года телеграммой просил Патриарха Алексия принять его и Вл. Иоанна в свою юрисдикцию. Младшая сестра Вл. Виктора, О.В. Кепинг, вспоминала:

“В конце 1944 года, еще во время японской оккупации, архиепископ Виктор отправил в Советское посольство в Пекине своего родственника, мужа своей сестры Бориса Михайловича Кепинга, который отнес туда официальный рапорт на имя Патриарха Московского и Всея Руси с просьбой о воссоединении с Патриаршей Церковью. Ответа не было”⁴.

1 октября 1945 года делегации в составе епископа Ростовского и Таганрогского Елевферия и священника Григория Разумовского был выдан мандат № 1263 за подписью Патриарха с поручением посетить Харбин и “воссоединить находящихся в

³ *Епископ Иоанн Шанхайский. Письмо архиепископу Пекинскому Виктору от 31 июля 1945 года. Архив ОВЦС МП, Дело № 24.*

⁴ *Кепинг О.В. Последний Начальник Российской Духовной Миссии в Китае — архиепископ Виктор: жизненный путь. В сб. Православие на Дальнем Востоке: 275-летие Российской Духовной Миссии в Китае. Спб, 1993, с.95.*

расколе” на территории Маньчжурии архиереев. Сделать это было несложно, ибо империя Маньчжоу-Го оказалась к этому времени оккупирована советскими войсками.

Собственно Китай посетить не удалось в связи с военной обстановкой. Все иерархи и почти весь клир на территории Маньчжурии с радостью приняли юрисдикцию Московского Патриарха, однако советскими властями это обстоятельство стало использоваться для принуждения принять и советское гражданство (из числа видных церковных деятелей не принял юрисдикцию Патриарха сын архиепископа Димитрия Хайларского — архимандрит Филарет. Он впоследствии возглавил Зарубежный Синод).

7 декабря 1945 года Патриарх отправил следующую телеграмму в Харбин митрополиту Мелетию: “Наша делегация благополучно вернулась в Москву. С отеческой радостью и любовью принимаем возвращение в лоно Матери-Церкви архипастырей, клира и мирян Харбинской, Камчатско-Петропавловской и Китайско-Пекинской епархий...”⁵.

27 декабря 1945 года Синодом был издан Указ № 39 о присоединении Дальневосточных епархий.

Регулярное почтовое и телеграфное сообщение внутри Китая было затруднено по причинам военных действий, поэтому телеграмма Патриарха, отправленная 11 января 1946 года о принятии под свой омофор Пекинской епархии, получена в Пекине не была, соответственно, и в Шанхае не знали ничего о решении Патриарха. Вопрос о подчинении законной церковной власти в Шанхае, да и в Пекине оставался открытым, однако Вл. Иоанн, еще до получения известий из Москвы, сам начал поминать Патриарха. Так же поступил и Вл. Виктор в Пекине.

Тем временем, 28 сентября 1945 года Преосвященный Иоанн Шанхайский получил телеграмму из Женевы от

⁵ Патриарх Московский Алексий I. Телеграмма митрополиту Харбинскому Мелетию от 7 декабря 1945 г. Архив ОВЦС МП, дело № 39.

митрополита Анастасия — Первоиерарха Зарубежной Церкви — с уведомлением о том, что Зарубежный Синод действует (телеграмму было бы невозможно послать Вл. Виктору в Пекин из Женевы, потому она и была направлена его викарию в Шанхай). Из Шанхая 29 сентября 1945 года Вл. Иоанн передал в Пекин телеграфное сообщение о запросе митрополита Анастасия — возможно, это телеграмма и не дошла. Естественным и самым разумным в такой ситуации было решение, принятое Вл. Иоанном — сознавая необходимость подчинения высшей церковной власти, епископ Иоанн возобновил свои прежние отношения к Заграничному Синоду, получая от него отдельные распоряжения и приводя их в исполнение.

В октябре Вл. Виктор смог сообщить в Шанхай, что им сделано заявление Святейшему Патриарху о подчинении Московской Патриархии. Точное содержание заявления Вл. Виктор сообщил Вл. Иоанну лично по приезде в Шанхай в январе 1946 года. В рапорте Святейшему Патриарху от 21 июля 1946 года Вл. Виктор пишет, что прибыл в Шанхай в феврале 1946 года, уже имея ответ от Патриарха из Москвы.

Однако известно, что первая телеграмма Патриарха так и не была получена Вл. Виктором, поэтому он не мог знать о решении патриарха ко времени приезда в Шанхай. В Шанхае Вл. Иоанн заявил Начальнику Миссии, так как восстановлено сообщение с Заграничной церковной властью, перейти в ведение иной церковной власти можно только лишь по распоряжению митрополита Анастасия, иначе это было бы каноническим нарушением, особенно если принять во внимание, что епископская кафедра в Шанхае, да и в Пекине, была учреждена Зарубежным Синодом.

Начальник Миссии, принципиально не возражал против этого, так как имелось решение представителя Синода — митрополита Мелетия — о переходе в подчинение Московской Патриархии. Однако оставалась надежда на то,

что удастся решить вопрос без нарушения канонов. Все надеялись на положительное решение со стороны митрополита Анастасия, к тому же зимой 1946 года еще не было известно решение Патриарха по Пекинской епархии — повторная телеграмма была получена только в апреле, в Великую Субботу 1946 года. В цитированном выше обращении к пастве Шанхая, епископ Иоанн писал: “Зарубежное церковное управление признало полезным для Церкви продолжать и дальше иметь о нас духовное попечение, о чем и известило нас, а нами о том был поставлен в известность Высокопреосвященный Начальник Миссии. В силу того мы не считаем возможным принять какие-либо решения по сему вопросу без указания и одобрения Русской Зарубежной церковной власти. Еще на Соборе 1938 года, в котором мы принимали участие, было постановлено, что когда настанет час возвращения на Родину, иерархи Зарубежья не должны действовать разрозненно, и вся Зарубежная Церковь должна представить Всероссийскому Собору свои деяния, совершенные во время вынужденного разъединения... Сообщения о беспрепятственном восстановлении канонически-молитвенного общения с Московской Патриархией, полученное архиепископом Виктором в Великую Субботу в ответ на обращение его к Святейшему Патриарху Алексию в августе прошлого 1945 года, искренно нас порадовало, ибо в том мы узрели начало взаимного понимания между двумя частями Русской Церкви, разделенными границей, и возможность взаимной поддержки двух объединяющих русских людей центров, внутри и вне нашего Отечества. Стремясь к единой общей цели и действуя отдельно в зависимости от условий, в которых каждая из них находится, Церкви внутри России и за рубежом, успешнее смогут достигать как общую, так и свои особые задачи, имеющиеся у каждой из них, пока не настанет возможность полного их объединения. В настоящее время Церковь внутри России должна залечивать раны, нанесенные ей

воинствующим безбожием и освободиться от уз, препятствующих внутренней и внешней полноте ее деятельности. Задачей Зарубежной Церкви является предохранение от распыления чад Православной Русской Церкви и сохранение духовных ценностей, принесенных ими с Родины, а также распространение Православия в странах, в которых они проживают. К сему были направлены и деяния Собора Зарубежных иерархов, состоявшегося в годовщину поражения Германии в занятом союзниками городе Мюнхене”⁶.

Однако, уже к этому времени наметилось разделение, приведшее позднее к расколу.

...31 мая 1946 года из Пекина в Шанхай на американском самолете по делам Миссии прибыл Начальник Миссии, архиепископ Пекинский и Китайский Виктор. Его сопровождали протоиерей Валентин Синайский и игумен Никодим. О приезде Вл. Виктора было заранее напечатано в русских газетах. Вл. Иоанн и шанхайское духовенство было извещено о приезде Вл. Виктора. Адвокат Пенкоци, через которого было получено известие о приезде Вл. Виктора, 30 мая был у Вл. Иоанна и долго беседовал лично с ним о предстоящем визите Начальника Миссии.

Получив это известие, епископ Иоанн созвал все духовенство и на совещании сказал, что не будет встречать Вл. Виктора. Протопресвитер Илия Вэнь вспоминал впоследствии:

“По прибытию из Пекина в Шанхай, архиепископ Виктор в сопровождении восьми комсомольцев направился к Собору”⁷. В 6 часов вечера Вл. Виктор прибыл к Собору, где его ждали члены Совета Миссии. В Соборе Владыку встретил со св. Крестом Настоятель Собора протопресвитер Михаил Рогожин. Большая часть духовенства во главе в Вл. Иоанном не пришла на встречу. Со

⁶ *Архиепископ Иоанн Шанхайский. Послание православной пастве Шанхайской, 2 августа 1946 г., Шанхай.*

⁷ *Сб. статей. Архиепископ Иоанн. Архипастырь, молитвенник, подвижник. Сан-Франциско, 1991, с. 59.*

времени приезда в Шанхай Вл. Виктор передвигался в сопровождении охраны — группы сотрудников из Генконсульства СССР в Шанхае.

В субботу 1 июня, перед всенощным бдением, Вл. Иоанн посетил Вл. Виктора: необходимо было решить вопрос о совместном служении. Проблема была в том, что Вл. Иоанн благословил служить запрещенных Вл. Виктором священников. Всенощную служил протопресвитер Михаил Рогожин, оба архиерея молились в алтаре. В воскресенье 2 июня раннюю литургию в Соборе с запрещенными священниками служил Вл. Иоанн, позднюю — Вл. Виктор.

Накануне Троицы, 8 июня, всенощную в Соборе архиереи совершали совместно. После полиелея протоиерей Илия Вэнь, угрожая кулаком в алтаре Вл. Виктору, называл его обманщиком и упрекал в том, что он унижает китайское духовенство. Его поддержал протодиакон Елисей Чжао. Позднюю литургию на Троицу оба Владыки также служили вместе. 11 июня Вл. Виктор с сотрудниками Генконсульства СССР в Шанхае отправился в Нанкин для представления начальствующим лицам китайского правительства.

За время пребывания Вл. Виктора в Нанкине, епископ Иоанн обнародовал телеграмму Зарубежного Синода о возведении его в сан архиепископа и предоставлении ему прав самостоятельного епископа (Указ № 108 от 9 июня 1946 г.). 10 июня Вл. Иоанн издал Указ № 109, в котором призвал Божие благословение на клир и паству своей епархии. Этими Указами было положено начало бытию самостоятельной Шанхайской епархии — по времени прежде, нежели приняты были иные решения в Москве. На вопрос протопресвитера Михаила Рогожина о том, подчиняется ли Вл. Иоанн Начальнику Миссии и Патриарху, он ответил, что не подчиняется юридически, но признает Патриарха. 14 июня Вл. Иоанн в беседе с прибывшим из Нанкина Вл. Виктором, подчеркнул, что он самостоятельный епископ Шанхайской епархии.

Тем временем 11 июня 1946 года Святейший Патриарх Алексей I издал Указ № 665, которым постановил преобразовать Восточно-Азиатский¹ Митрополичий округ в Восточно-Азиатский Экзархат Московского Патриархата. Экзархом был назначен высокопреосвященный Нестор с присвоением титула митрополита Харбинского и Маньчжурского (в виду кончины митрополита Мелетия). Этим же указом викарием Харбинской епархии определено быть по пострижении в монашество протоиерею Леониду Викторову с титулом Епископа Цицикарского.

15 июня Вл. Виктор объявил указ об освобождении Вл. Иоанна от управления викариатством и назначении викарием Вл. Ювеналия — Вл. Виктор еще 2 июня послал о том просьбу Патриарху в Москву. 16 июня Вл. Иоанн после поучения на поздней Литургии объявил молящимся, что он получил указ об освобождении от управления Шанхайским викариатством, но этому указу он не подчинится: “Я подчинюсь этому указу, лишь в том случае, если мне докажут священным писанием и законом любой страны, что клятвopеступление есть добродетель, а верность клятве есть тяжкий грех”⁸.

20 июня Вл. Иоанн объявил Указ от 19 июня 1946 года, где говорится, что радиограммой из Архиерейского Заграничного Синода, собравшегося 20 мая 1946 года в Мюнхене, решено выделить Шанхайский округ в самостоятельную епархию во главе в Вл. Иоанном, а архиепископа Виктора разрешить от управления Шанхайской епархией. Важно заметить, что Заграничный Синод на территории Пекинской епархии без согласия и ведома правящего архиерея открыл самостоятельную Шанхайскую кафедру в нарушение церковных канонов.

С этого момента совместное служение двух архиереев стало невозможным. Вопрос о Шанхайской епархии не являлся прин-

⁸ “Русский Паломник”, 1994, № 9, с. 16.

ципиально новым вопросом. Еще в 1938 году архиепископом Нестором был представлен Зарубежному Синоду подробный проект распределения епархий на Дальнем Востоке — в нем определялись границы Шанхайской епархии. Вл. Иоанн, в то время представитель Начальника Миссии в Синоде, не считал возможным согласиться на этот проект, и он был отослан на отзыв Вл. Виктора и Вл. Мелетия, вскоре лично прибывшего на Собор. Телеграфное известие из Мюнхена, объявлявшее Шанхайское викариатство самостоятельной епархией, было неожиданностью для Вл. Иоанна, но он воспринял свое назначение на эту кафедру как церковное послушание и не отказался от него.

7 июля, в день 25-летия служения Вл. Виктора, Вл. Иоанн первоначально согласился на то, чтобы Вл. Виктор служил в кафедральном Соборе. Узнав, однако, что на богослужение придут 10000 советских граждан, проживавших в Шанхае (они уже приняли советское гражданство), из опасения возможных беспорядков и волнений в папстве, Вл. Иоанн при поддержке мэра Шанхая отказался от своего согласия. Вл. Виктору пришлось служить и литургию, и благодарственный молебен в Свято-Николаевском храме, а не в кафедральном Соборе, чем был обижен.

20 июня Вл. Иоанн издал указ об освобождении от обязанностей настоятеля Свято-Богородицкого Собора Шанхая протопресвитера Михаила Рогожина и о назначении временно исполняющего обязанности настоятеля протоиерея Илии Вэня. О. Михаил сообщил об этом указе Вл. Виктору и заявил, что не подчиняется ему, так как служит в Пекинской епархии, а решение отстраненного от управления викарного епископа силы не имеет.

22 июня протоиерей Илия Вэнь и протодиакон Елисей Чжао не допустили протопресвитера Михаила ко служению Всенощного бдения в Соборе.

29 июня по распоряжению Вл. Иоанна церковным старостой Богомоловым и протоиереем Илиею была изъята касса Собора.

Указом № 715 от 28 июня 1946 года Вл. Иоанн протопресвитеру Михаилу Рогожину поручал возглавить Совет по епархиальным делам, Указом № 727 от 2 августа ему предложено было представить свои соображения по Указу № 715.

О. Михаил никак не отвечал на эти указы, следствием чего стал Указ № 728 от 2 августа об освобождении о. Михаила “от всех обязанностей по Шанхаю” с предложением передать все дела, документы и имущество протоиерею Илие Вэню. На все эти указы о. Михаил объявил, что не может подчиниться указам отстраненного от управления викариатством Вл. Иоанна.

В июле Вл. Иоанн принял китайское гражданство (паспорт № 91).

16 августа Вл. Иоанн обратился к министру внутренних дел Китайской Республики с просьбой утвердить его в должности Начальника православных церквей Шанхая, на что власти дали свое согласие.

18 августа 1946 года по просьбе православных жителей Вэйсайда (заречный район Шанхая) в арендованном на имя Вл. Виктора помещении, был освящен храм в честь Казанской иконы Божией Матери, где служили впоследствии Вл. Виктор и духовенство, не подчинившееся Вл. Иоанну. По благословению Вл. Виктора при этом храме были открыты пастырские курсы. Их впоследствии окончили шесть человек, из которых двое были рукоположены в священники, двое в диаконы и двое в иподиаконы. Вл. Иоанн и верное ему духовенство служили в Свято-Богородицком соборе, четырех домовых храмах при учреждениях Миссии, а именно: церкви при убежище для престарелых женщин, церкви в здании коммерческого училища и храме в здании приюта им. свт. Тихона Задонского, и церкви в женской гимназии. В состав новой шанхайской епархии вошли добровольно подворье Харбинской женской обители в Шанхае с храмом и часть прихода на Вэйсайте (три последних храма находились в наемных помещениях).

Из одиннадцати священников Шанхая верными Вл. Виктору оставались протопресвитер Михаил Рогожин, протоиерей Алексей Филимонов (настоятель Свято-Николаевского храма), протоиерей Сергей Бородин и иеромонах Герман. В епархии владыки Иоанна состояли в клире двенадцать священников и три протодиакона. С объявлением о новой епархии православное население Шанхая разделилось на две юрисдикции: Патриаршую — до 10000 и Вл. Иоанна — до 5000 человек. Первые все состояли в гражданстве СССР, последние оставались эмигрантами...

25 августа Вл. Иоанн объявил, что он совершает Литургию в Свято-Николаевском храме, в котором до сего времени служил Вл. Виктор. Храм этот был построен на арендованном участке и срок аренды ко времени церковной смуты в Шанхае уже истек. По договору участок мог быть выкуплен, но это невозможно было сделать в годы японской оккупации Шанхая, и владелица участка стала требовать через суд передачу ей храма. В это время часть членов приходского совета этого храма заключила с владелицей участка новый арендный договор, признав, таким образом, ее право на владение храмом. При поддержке полиции этот храм был присоединен к группе сторонников Вл. Иоанна.

Вл. Иоанн издал и обнародовал в иностранных газетах Шанхая указ о том, что он является единственным законным начальником православных церквей в Шанхае, а потому аннулирует все распоряжения архиепископа Виктора, за вновь издаваемые распоряжения будет преследовать его по закону.

Завершая рапорт Патриарху Алексию по поводу этих событий, Вл. Виктор писал: «Раскол этот есть ничто иное, как стремление епископа Иоанна выйти из подчинения... Путем обещаний разных преимуществ по службе, он через китайское духовенство города Шанхая стал добиваться отобрания от Пекинской епархии и Миссии церковного и Миссийского имущества. О всех этих самочинных действиях епископа Иоанна... мною сообщено Генеральному Консулу СССР в Шанхае и

Чрезвычайному Послу в Китае с просьбой защитить мои права как Начальника Миссии, имущество Миссии и церковное, как имущество Русской Православной Церкви в Китае, состоящее в ведении Русского Государства, т.е. СССР... 80% верной мне паствы из граждан СССР в Шанхае и верность Вашему Святейшеству и мне как Начальнику Миссии, хотя и немногочисленного, но весьма авторитетного духовенства, являются залогом благополучного изжития церковного раскола. Восстановление же моих прав, как Начальника Миссии в Китае, положит конец еще не сформировавшейся новой шанхайской "епархии"⁹.

Вл. Иоанн по этому же поводу со следующими словами обращался к шанхайской пастве: "Мы будем повиноваться тем архиереям, которым наша Высшая Церковная власть признает за благо нас подчинить или удалимся от всех дел церковных, если преемники рукополагавших нас епископов, снимут с нас ответственность за здешнюю паству, хотя и тогда не перестанем молиться за тех, которых сии годы духовно опекали. Мы молим Господа, да ускорит Он наступление того вождя и чаемого часа, когда Первосвятитель Всея Руси, взойдя на свое Патриаршее место в Первопрестольном Успенском Соборе, соберет вокруг себя всех русских архиереев, от всех Русской и чужих земель спешившихся"¹⁰.

Часть русского духовенства, не желавшая ехать в СССР (это вполне объяснимое нежелание), считала, что, оставаясь за пределами России, она будет находиться в юрисдикции митрополита Анастасия. Однако причиной церковной смуты было не только стремление Вл. Иоанна сохранить жизнь шанхайской паствы, но и стремление советских дипломатов убедить Начальника Миссии и большинство верующих в Китае в том, что

⁹ *Архиепископ Виктор. Рапорт Патриарху Московскому Алексию I от 21 июля 1946 г. Архив ОВЦС МП, дело № 39.*

¹⁰ *Архиепископ Иоанн Шанхайский. Послание православной пастве Шанхайской, 2 августа 1946 г., Шанхай.*

в СССР существует полная свобода совести. Китайское духовенство рассчитывало занять освободившиеся в Шанхае приходы и приблизиться к управлению епархией, а при возможности и овладеть всей Российской Духовной Миссией.

Китайское духовенство, имевшее доступ к властям, пользовалось этим обстоятельством. Известно, что еще при архиепископе Симоне все китайское православное духовенство во главе с протоиереем Сергием Чан, при поддержке правительства, принимало меры к захвату Миссии в Пекине. Вл. Виктор в одном из рапортов Патриарху писал:

“По смерти Архиепископа Симона я вступил в должность Начальника Миссии и мне в первые же дни управления пришлось встретиться с крайней агрессией православного китайского духовенства. Борьба за Миссию причинила мне много тяжких и “терпких” тревожений так, что у меня даже отнялись ноги и мне пришлось лечиться в Пекинском Рокфеллеровском институте. При помощи добрых людей я и на этот раз сумел защитить Миссию от захвата... теперь православные китайцы и маньчжуры снова восстали против меня”¹¹.

В рапорте Святейшему Патриарху Алексию протоиерей Валентин Синайский из Пекина писал:

“...Отдельная группа китайцев в Шанхае... самая малочисленная, но и самая опасная и сильная, ибо она ставит своей целью захватить имущество Миссии и имеет возможность широко пользоваться своим национальным судом и носителями власти. Епископ Иоанн им нужен только временно, т.к. они понимают, что церковь без епископа немыслима... китайцы идут стадо за своими священниками. Если Миссия будет захвачена китайцами, то миссионерское дело в Китае быстро придет к концу, т.к. старые китайские священнослужители дряхлы, а молодые, не в осуждение им будет сказано, недостаточно проникнуты христианским

¹¹ *Архиепископ Виктор. Рапорт Патриарху Московскому Алексию I от 15 января 1946 г. Архив ОВЦС МП, дело № 39.*

духом и смотрят на свое служение, как на заработок. Миссия делается их вотчиной и источником дохода. Смены старому духовенству, да и вообще китайскому духовенству нет”¹².

Рапорт этот написан был по поводу беспрецедентного события. Утром 19 октября 1946 года Начальник Миссии архиепископ Виктор в своих покоях в Архиерейском доме в Шанхае был арестован китайскими властями и препровожден в тюрьму на Вард Род в общую камеру с китайскими преступниками, на его рясю был поставлен арестантский номер. Случилось это по наветам китайского духовенства Шанхая. На следующий день об этом подробно сообщили все газеты.

Тогда же было опубликовано распоряжение Заступающего место Председателя Совета Российской Духовной Миссии в Китае протопресвитера Михаила Рогожина о том, что все распоряжения в отношении Миссии, ее имущества и приходов, исходящие не от его лица, недействительны. Таким образом, Миссия обрела временного возглавителя. Своим заместителем в Пекине о. Михаил назначил архимандрита Гавриила, а в Шанхае — протоиерея А. Филимонова.

Китайские власти инкриминировали Вл. Виктору участие в Антикоминтерновском союзе Северного Китая и русских фашистских организациях, а также сотрудничество с японскими оккупационными властями. Предъявлено было около 15 пунктов обвинения.

На вопрос об организации Вл. Виктором антикоммунистических комитетов в Северном Китае Начальник Миссии отвечал, что его пути совпадали с путями антикоммунистических комитетов и японских военных лишь в вопросах идеологии. Как бывшему царскому офицеру Вл. Виктору после коммунистической революции 1917 года, конечно, больно было видеть позор России при подписании Брестского мира и разложение армии. Во время революции Вл. Виктор потерял родного и двух

¹² Прот. В. Синайский. Рапорт Патриарху Московскому Алексию I. № 248. Архив ОБЦС МП, дело № 39.

двоюродных братьев. Все годы эмиграции он жил памятью о смутном революционном времени. Несомненно, он был антикоммунистом, но — идейным, т.к. его церковный сан не позволял ему участвовать в действиях практического организационного характера.

Он, конечно, не был начальником антикоммунистического комитета, а только его почетным членом, что, впрочем, доставляло немало хлопот Миссии. Японцы и члены антикоммунистического комитета желали подчинить Начальника Миссии и миссийских священников себе, завладеть церковным имуществом. Да и вообще они часто действовали против Церкви: оккупационными войсками Японии был разрушен храм-памятник в Тяньцзине, убит в Чжалайноре иеромонах Павел, замучен до смерти настоятель храма в Калгане о. Александр Жуч. Захватили японцы и часть миссийского имущества: в Тяньцзине у Церкви были отобраны школа, больница, дом милосердия и библиотека. В период оккупации Маньчжурии Вл. Виктор был принудительно вызван японскими военными властями в Харбин, где ему под страхом объявления военным преступником, предложили временно, до окончания войны, передать священнослужителей церквей и подворий Миссии, находящихся в Маньчжурии, под юрисдикцию Харбинской епархии. Доверенность на управление имуществом получил митрополит Мелетий, проживавший на миссийском подворье в Харбине. Во всяком случае, Начальник Миссии не пользовался ни доверием, ни уважением оккупационных властей.

Далее Вл. Виктору было предъявлено обвинение в формировании и возглавлении вооруженного казачьего отряда в станице близ Тяньцзиня. Начальник Миссии опять же отвечал, что был лишь ее почетным членом из-за своих родовых казачьих корней, но далее почетного членства деятельность его не простиралась. На вопрос, почему Владыка заснят на многих фотографиях с японскими военными, он заметил, что как официальное лицо, занимающее определенное положение, обязан был присутствовать на

всех официальных торжествах, представляя всю русскую колонию. Владыка не допускал возможности, чтобы были официально приглашены на торжества Антиккоминтерновского комитета православные священнослужители-китайцы. Однако он не отказался от авторства речи, произнесенной его подчиненным во время первой годовщины Антиккоминтерновского комитета в Тяньцзине (она носила явно коллаборационистский характер), и весьма сожалел об этом событии: в результате этого собрания пострадал настоятель Тяньцзиньского Свято-Покровского храма архимандрит Гавриил, который срочно в административном порядке был выслан в Шанхай...

Владыку также обвиняли и в формировании отрядов в Шанхае для охраны железных дорог в Северном Китае, на что он ответил:

“...Они формировались другими советскими людьми. Эти набранные здесь люди двинулись на север со своими семьями. Им обещали все блага земли и кров, а когда они прибыли на север, их надули, отказали им в помещении, а однажды привезли массу женщин и детей к воротам Миссии и оставили. Администрация Миссии вошла в бедственное положение несчастных и разместила их в зданиях и под библиотекой”¹³.

По поводу награды — ордена Антиккоминтерновского комитета — Владыка объяснил, что получил его в самом начале деятельности комитета, “за официальное положение”, а не за заслуги. Владыка отверг обвинения в издании шанхайской прояпонской газеты Савинцева, сказав, что никогда не был газетным работником, что всем хорошо известно.

На вопрос о том, почему было сдано в аренду японцам здание бывшей миссийской мельницы в Пекине, архиепископ Виктор ответил, что сделано это было в принудительном порядке, причем военные отобрали сданное здание у гражданского лица, который ранее арендовал мельницу.

¹³ *Архиепископ Виктор. Письмо архимандриту Гавриилу от 31 октября 1946 г. Архив ОВЦС МП, дело № 29.*

Один из вопросов коснулся случая с избивением на территории Миссии детей китайских священнослужителей, обвиненных русскими в воровстве, но Владыка в тот день находился в Бэйдайхэ. Вернувшись, он выяснил, что пострадавшие не виновны. Отвечать за чужие драки он, конечно не мог.

После допроса прокурор взял с Вл. Виктора слово священнослужителя, которым обязал его оставаться в Шанхае до суда. Вл. Виктор должен был оставить свой паспорт прокурору и представить денежное поручительство двух торговых учреждений.

24 октября при активном вмешательстве советских дипломатов и помощи сына Чан Кайши — Цзян Цзинго¹⁴, Вл. Виктор был отпущен без паспорта на свободу под залог в 5000\$ без права выезда из Шанхая до военного суда.

Журнал Российской Духовной Миссии в Китае сообщал: “На примере с арестом Архиепископа Виктора всем гражданам Советского Союза пришлось еще раз убедиться в жизненности Великой Сталинской Конституции — Основном Законе, Законе, которым живет наша Родина. Несмотря на то, что Церковь и отделена от государства, но все граждане Советского Союза, независимо от их положения и деятельности, всегда и везде имеют поддержку и защиту своего Правительства”¹⁵.

По выходе из тюрьмы Владыка некоторое время находился в больнице (последствия микроинсульта), а по выходе из нее — под прокурорским надзором. 15 января 1947 года Вл. Виктор писал Патриарху:

“Против нас, как Российской Духовной Миссии в Китае и как советских граждан, восстал узкий, фанатический шовинизм местных шанхайских китайских православных священнослужителей. Этот шовинизм культивируется и крепко поддерживается Правительством Китая”¹⁶.

¹⁴ Катцица М.С. *На разных параллелях. Записки дипломата*. М., 1996, с. 16.

¹⁵ “Китайский благовестник”, 1947, январь, с. 9.

¹⁶ Архиепископ Виктор. *Рапорт Патриарху Московскому Алексию I от 15 января 1947 г.*

Только лишь к середине апреля 1947 года архиепископ Виктор был официально уведомлен прокурором Шанхайского суда о том, что следственные органы не нашли возможным возбуждать судебное дело за отсутствием каких-либо материалов, могущих подтвердить виновность Владыки в сотрудничестве с японцами. Для предотвращения возможного перехода паствы Пекина в юрисдикцию Вл. Иоанна архиепископ Виктор в июне 1947 года прибыл в свою резиденцию в Пекине — Бэйгуань.

Указом Святейшего Патриарха Московского и Всея Руси Алексия I за № 1424 от 22 октября 1946 г. архиепископ Пекинский и Китайский Виктор был утвержден в должности Начальника Российской Духовной Миссии в Китае. Аналогичного содержания Указ за № 2544, поручающий исполнять обязанности Начальника Миссии архиепископу Шанхайскому Иоанну, был издан Архиерейским Синодом Русской Православной Церкви Заграницей 26 ноября 1947 г. Китайское правительство в Нанкине признало законным Начальником Миссии Вл. Иоанна.

Вл. Иоанн открыто говорил, что он, как признанный Китайским Правительством законный Начальник Миссии, мало думает о захвате церковного имущества: миссийское и епархиальное имущество должны были бы перейти к нему по праву, т.к. правовое положение его точно определено и санкционировано. Шанхайским церковным имуществом Вл. Иоанн уже владел. Целью Вл. Иоанна было сохранение церковного имущества для того, чтобы впоследствии вывезти его за пределы Китая. В связи со сложной политической ситуацией в Китае и приближающейся победой коммунистической революции, эмигранты бежали из городов Северного Китая. Они мало что могли с собою взять или сохранить. Можно было предвидеть, что с приходом атеистической власти многие церковные святыни будут отобраны или просто уничтожены. Так впоследствии и случилось. Атеистическая

же советская власть попустительствовала разрушению храмов Миссии и разграблению ее имущества и библиотеки.

Стремясь сохранить церковное имущество, в августе 1948 года Вл. Иоанн прибыл в курортный город Циндао и как признанный Министерством внутренних дел гоминьдановского правительства Начальник Миссии поселился в священническом доме Свято-Софийского прихода в Циндао. Около половины прихожан этого храма отказались от советского гражданства и собирались в ближайшее время покинуть Китай, другая же половина решила принять советское гражданство. Тем не менее, обстановка в приходе была мирной во многом благодаря выдержанному и миролюбивому характеру настоятеля прихода о. Садока. Он своим епархиальным архиереем признавал Вл. Виктора, но не отказывал в гостеприимстве и Вл. Иоанну. Между прихожанами, весьма уважавшими Вл. Иоанна за его поистине подвижнические труды, аскетизм и многие другие удивительные и редкие в наше время черты духовного облика, и священниками этого храма возник спор о каноническом подчинении Свято-Софийского прихода.

Спор, однако, решен был с помощью полиции — ключи от храма оказались в полицейском участке и выдавались для службы Вл. Иоанну или назначенному им новому настоятелю храма о. Кириллу Зайцеву. Особым указом архиепископ Иоанн объявил о роспуске Свято-Софийского церковного братства в Циндао и восстановил старую церковную организацию: “Русское Христианское Эмигрантское Общество в Циндао”.

Ее члены не признавали Начальником Миссии архиепископа Виктора и подчинялись Вл. Иоанну. Имущество было перерегистрировано. Это спасло впоследствии имущество храма от уничтожения. Богослужения в Свято-Софийском храме Циндао совершались поочередно священниками, подчиненными Вл. Иоанну и Вл. Виктору.

Так продолжалось до отъезда эмигрантов из Циндао на Филиппины в 1949 году. При этом большая часть имущества и архивов храма была вывезена эмигрантами в Америку и Австралию. То же случилось и с большей частью шанхайского церковного имущества, вывезенного Вл. Иоанном из Китая.

Что же послужило причиной такого разделения среди духовенства и мирян Шанхая, Циндао и Тяньцзиня?

Одним из неперенных условий принятия омофора Патриарха являлась необходимость того, чтобы решение церковных вопросов не зависело от политических веяний в России. Призывая Вл. Виктора подчиниться Московской Патриархии, Вл. Иоанн 31 июля 1945 года писал:

“В данное время нам не поставлены условия идеологического порядка, послужившие причиной нашего изменения в церковном управлении за границей. Если вновь будут поставлены неприемлемые условия, сохранение теперешнего порядка церковного управления станет задачей той церковной власти, которую удастся создать в зависимости от внешних условий”¹⁷. К несчастью, советские власти постарались эти условия создать.

Сотни тысяч эмигрантов в Китае, оторванные от Родины в течение тридцати лет, совсем не представляли, что там происходит. Они продолжали жить памятью о разгроме Церкви и убийстве Царя, политике властей, приведшей к подписанию Брестского мира, в результате которого Россия так и не смогла воспользоваться плодами победы в Первой Мировой войне, атеистической идеологии и многом другом, что заставило людей покинуть Родину. О Сталине мало кто знал что-то определенное. Знали лишь, что Германия повержена, новые земли присоединены, восстановлено Патриаршество, открыты семинарии. В газетах и кинофильмах, которые усиленно распрост-

¹⁷ *Епископ Иоанн. Письмо архиепископу Виктору от 31 июля 1945 г. Архив ОВЦС МП, дело № 39.*

раняли советские консульства, говорились слова о счастливом советском народе, который имеет все свободы. Эмигранты намеренно вводились в заблуждение для того, чтобы склонить их к принятию советского гражданства. Многие наивно полагали, что, как и в прежней Царской Империи, Церковь охраняется и защищается государством. Им казалось естественным, подчинившись Патриарху, принять и советское гражданство.

Какова была судьба тех, кто вернулся в Россию до 1956 года? Митрополит Нестор, арестованный в 1948 году китайскими коммунистами в Харбине по обвинению в сотрудничестве с японскими оккупантами, как военный преступник был депортирован в СССР, где, как сообщают его биографы, восемь лет находился на “покое” в поселке Явас Мордовской АССР. На самом деле его осудили на этот срок, обвинив в написании книги “Расстрел Московского Кремля”, а также вменили в вину совершение им заупокойных служб в 1920 году в Харбине над телами алапаевских мучеников — Великих Князей Дома Романовых.

Иные, ими особенно часто становились миряне, были расстреляны, сосланы. Пострадали в лагерях.

Был введен в заблуждение и Начальник Миссии, Вл. Виктор. В одном из писем в Москву Патриарху он писал, что пора бы заявить китайским властям, что Православная Церковь — не маленькая община, а двести двадцать миллионов человек. Он, видимо, предполагал, что в СССР свободно ходят в храмы.

Вл. Виктор получил советский паспорт в феврале 1946 года в Шанхайском Генконсульстве. Начальник Миссии после ареста в Шанхае на вопрос китайского прокурора о том, почему он, антикоммунист, стал теперь гражданином СССР, вполне искренне отвечал: “Человек честный не может признавать две власти, взаимно исключаящие одна другую. В СССР в настоящее время восстанавливаются православные епархии, открываются повсюду храмы, монастыри, духовные школы. Духовенство активно участ-

вует в общем государственном строительстве после Великой Отечественной войны. Общественный строй СССР никак не противоречит учению Св. Православной Церкви. Власти СССР после всех ужасов войны только и думают о том, чтобы наша Родина была великой и славной”¹⁸.

...Но правды Вл. Виктор, пожалуй, не знал. Как не знали ее и многие, убеждавшие эмигрантов принимать советское гражданство и возвращаться на Родину. Паства шла за своими архиереями — не зная того, что шла часто на смерть. Но не вся.

Вл. Иоанн во многом был прозорлив — поминая Святейшего Патриарха за богослужением (а также служба благодарственные молебны о победе русского оружия во Второй Мировой войне и собирая пожертвования для России), он вовсе не намерен был принимать советское гражданство, заявляя во всеуслышанье о том, что подобный шаг еще не свидетельство патриотизма.

Шанхайское духовенство было на стороне своего Владыки, миряне разделились во взглядах. Пять тысяч шанхайцев впоследствии эмигрировали в Америку и остались живы, о судьбе десяти тысяч, выехавших в СССР, можно только гадать — лишь некоторые вышли живыми из сталинских лагерей... Для Вл. Иоанна советское гражданство было как раз тем неприемлемым идеологическим условием, о котором он предупреждал Вл. Виктора.

...Попытка советских властей оказать давление на иерархов, а также недостоверные сведения о свободе совести в СССР, стали основной причиной церковного раскола в Шанхае — так и бывает при вмешательстве светской власти в дела церковные.

¹⁸ *Архиепископ Виктор. Репорт Патриарху Алексию I от 15 января 1947 г.*

ЛИТЕРАТУРНАЯ КРИТИКА

Борис Соколов

Сергей Бабаян — последний реалист?

Сергей Бабаян стал известен читателям всего несколько лет назад. В 1994 году он дебютировал романом “Господа офицеры”, по недоразумению разделенным издательством “Вагриус” как бы на два романа — собственно “Господа офицеры” и “Ротмистр Неженцев”.

Как дебют — это произведение уникально. Представьте, что Достоевский дебютировал “Братьями Карамазовыми”, Толстой — “Войной и миром”, Шолохов — “Тихим Доном”, а Солженицын — “Архипелагом ГУЛАГ”. Тогда вы сможете оценить подлинное значение “Господ офицеров”.

Подобно “Войне и миру” и “Тихому Дону” — это роман эпический. Толстой выбрал эпоху войны 1812 года, чтобы частную жизнь людей рассмотреть в свете грозного исторического события — войны с Наполеоном, а ход истории спроецировать на повседневные человеческие переживания и страсти. Бабаян описывает эпоху революции и начала гражданской войны в России, знаменитого “ледяного похода” генерала Корнилова. Ему удивительным образом удается передать психологию русского офицера — рядового участника Белого движения. Образ главного героя — командира эскадрона ротмистра Виктора Неженцева воссоздан так, будто автор “Господ офицеров” всю жизнь прослужил в кавалерии, хотя он — обычный инженер, никогда на лошади не сидевший. В “Войне и мире” основные персонажи подхвачены ветром истории и переносятся то к Шенграбену и Аустерлицу, то к Смоленску и Москве. Их взаимоотношения друг с другом на ход исторических событий практически не влияют, ибо отдельная человеческая личность, будь то Наполеон или простой смертный, по

Толстому, не в состоянии оказать самостоятельного и решающего воздействия на развитие и результаты исторического процесса. История только создает условия для жизни героев, которые имеют лишь возможность угадывать ее поступь и двигаться в том же направлении, что и она. У Шолохова в “Тихом Доне” главный герой, Григорий Мелехов, представляет ту основную часть народа, что составляла большинство в воюющих армиях и не видела правды ни на одной из сторон гражданской войны. Однако по причине жестокой идеологической цензуры, собственной философии истории, в отличие от “Войны и мира”, в шолоховском романе не было и быть не могло — единственно возможной философией истории признавался марксизм.

Бабаян писал роман “Господа офицеры” в начале девяностых, в обстановке интеллектуальной свободы, имея в своем распоряжении опыт развития человечества в XX веке. Он использовал возможность в осмыслении хода истории пойти дальше Толстого.

Главная проблема, поставленная в “Господах офицерах”, это проблема насилия, квинтэссенцией которого стала вызванная революцией гражданская война. Неженцев — рыцарь без страха и упрека. Он вполне оправдывает свое имя, выходя победителем из всех нелегких схваток со своими противниками. Оригинальность авторской позиции, в частности, в том, что ни красных, ни белых, ни эпизодически появляющихся на страницах романа бандитов “зеленых” Бабаян не рассматривает, как сражающихся за правое или неправое дело. В романе правы или неправы все.

Писатель выступает как сторонник абсолютного ненасилия и одновременно наглядно демонстрирует его принципиальную неустрашимость в современном мире. В эпилоге главный герой, потерявший руку, и после крымской эвакуации воссоединившийся с семьей в Париже, приходит к выводу о тщетности сопротивления злу насилием.

“Он... думал о том, что все оказалось напрасным. Что после объявления мобилизации патриотическая война превратилась в

гладиаторскую бойню; что целые полки, захваченные в плен с той и другой стороны, ставились в строй и дрались по месяцам то на одной, то на другой стороне; что сотни тысяч обезумевших, ничего не понимающих, парализованных страхом подрастательной мобилизации и распаленных вселенской злобой людей, бессмысленно уничтожали друг друга; что и на той, и на другой стороне пленных десятками тысяч рубили, стреляли, сжигали, топили, вешали; что контрразведка ВСЮРа соперничала в жестокости с большевистской ЧК; что ложь ОСВАГа была столь же чудовищной, как и измышления РОСТА; что отношение мирного населения и к той, и к другой стороне было одним — ненавистью. Не Авель и Каин сражаются на Руси, а два Каина; что... всегда самое главное — не убий: что бы ни говорил потерявший войска Деникин, но если бы в самом начале они смирились с приходом большевиков и просто ушли, большевики при всем своем преступном усердии не смогли бы пролить столько крови, сколько ее пролилось за эти окаянные годы и сколько прольется еще? — в расколовшейся на победителей и побежденных, зараженной памятью ненависти, надолго привыкшей к крови стране; что кто бы ни победил после этих трех лет войны — белые или красные, — все было бы то же самое: Россия была погублена и потеряна, России было уже не вернуть...”

Столь длинный период, заставляющий вспомнить Толстого, имеет сущностное отличие от философии “Войны и мира”. В толстовском романе войны явно подразделяются на справедливые и несправедливые. При этом в войне 1812 года авторское сочувствие, безусловно, на стороне русских: Кутузова, солдат, народа, которые выступают вершителями исторического приговора над Наполеоном. У Бабаяна взята война иная, гражданская, где правы и виноваты всегда обе стороны. Однако, писатель с тех же позиций рассматривает и войны между государствами. Но, в отличие от Толстого, после “Войны и мира” уверовавшего, что проповедью ненасилия в конце концов удастся исправить челове-

чество, Бабаян прекрасно осознает, что насилие неизбежно порождается различно понятыми интересами людей, групп, классов, государств и устранено не будет, как бы нам этого не хотелось. Даже понимая гибельность войны, насилия, симпатичные герои романа не в силах отказаться от него. Они убивают, либо защищая собственную жизнь или жизнь своих товарищей и близких, либо добывая себе средства к существованию, либо потому, что уже привыкли убивать и убийство стало для них профессией, либо потому, что насилие кажется им вернейшим средством к собственному благополучию.

Трагедия в том, что насилие в равной мере порождается как самыми низменными, так и самыми благородными мотивами, а результатом всегда становится умножение людского горя. Шолохов своего Григория Мелехова писал с осязаемой симпатией, как олицетворение трагедии народа, вынужденного выступать в качестве воина, а не хлебопашца. У Бабаяна есть герои похожие на Григория Мелехова, но куда менее симпатичные, хотя написанные вполне достоверно. Казак Григорий позарился на несколько золотых монет Неженцева и пытался его убить, а в результате погиб сам. Его смерть сделала сиротами четверых детей, судьба которых разрывает сердце ротмистра, бессильного против нерасчетливой крестьянской жадности: “Почему этот человек не сказал, что ему мало десять рублей? Почему он не сказал, что хочет пятьдесят? Виктор отдал бы ему все свои деньги: деньги были ему уже не нужны, провизии хватило бы на неделю, а чтобы доехать до Новочеркасска — или умереть — хватило бы пары дней...”. Другой персонаж — удалой рубака вахмистр Гусев, для которого война стала единственным смыслом жизни, среди участников “ледяного похода” оказался потому, что желает воевать на стороне тех, кто делает это наиболее профессионально. Оттого и вступил в отборный офицерский эскадрон, которым командует Неженцев. Бабаян считает более естественным для человека с удалью Григория Мелехова и привычкой к войне воевать ради того, чтобы воевать, а не ради торжества народной прав-

ды, носителем которой шолоховский герой попеременно признает то одну, то другую сторону.

Практически всю вторую книгу романа (ту, что вышла под названием “Ротмистр Неженцев”) главный герой в одиночку пытается пробраться к своим. Человек, стремящийся на войне придерживаться правил чести (по отношению и к противнику, и к мирному населению), неизбежно остается одиноким. Поэтому вынужденное одиночество Неженцева — его эскадрон был уничтожен в неравном бою — оказывается для этого персонажа естественным, органичным.

Как “великие люди”, так и самые обычные участники исторического процесса действуют с целью достижения какого-либо благоприятного для себя результата. Парадокс, однако, заключается в том, что даже непосредственные результаты тех или иных действий нередко оказываются прямо противоположными ожидаемым. О долгосрочных же последствиях и говорить нечего. Толстой признавал фатализм истории, оставляя человеку лишь право угадывать ее ход и действовать в соответствии с ним.

Бабаян отрицает фатализм, считая исторический процесс результатом не предопределения свыше, а людских деяний на земле. Но при этом последствий человеку знать не дано. Единственное, что ему остается — это действовать в соответствии с христианскими (коим привержен автор романа), или какими-то иными, моральными ценностями, получая удовлетворение от сознания, что живешь по совести, и мучаясь тягостными и непредвиденными следствиями своих же, вполне обдуманных, поступков.

У романа “Господа офицеры” есть потенциал для продолжения. Заманчиво было бы провести Виктора Неженцева и через другие события гражданской войны, вплоть до Галлиполи. Интересно, в частности, показать его отношение к последнему периоду Белой борьбы под руководством Врангеля, провозгласившего идею возрождения чести Белой армии. Дай Бог, чтобы

Бабаяну довелось написать второй, заключительный том своей эпопеи, которая в таком случае обрела бы завершенность исторической фабулы, свойственную “Войне и миру” и “Тихому Дону”.

Несмотря на всю любовь к истории, Сергей Бабаян те же этические проблемы пытается разрешить и на современном материале. Эти произведения собраны в его новой книге “Моя вина”, не так давно вышедшей в том же “Вагриусе”. Хотя и “Господа офицеры”, если приглядеться, имеют, пусть и не столь очевидную, но несомненную связь с нашими днями. Тут сходство прежде всего, в ситуации смуты, раскола, озлобления, падения старого порядка, еще не замененного в полной мере новым, кровопролитных локальных войн на постсоветском пространстве. В романе есть ряд сознательных анахронизмов, вроде термина “полевые командиры”, в восемнадцатом году еще не применявшегося. Уже после завершения “Господ офицеров” грянула преступная Чеченская война, бессмысленная и беспощадная. Термин замелькал на газетных страницах, а с болью нарисованные в романе ужасы гражданской междоусобицы вошли в наши дома похоронками, замелькали на экранах телевизоров.

И в повестях, и рассказах современной тематики Бабаян не избегает эпического начала. В самом значительном, на мой взгляд, произведении сборника — повести “Свадьба” — показана народная масса, толпа, в момент всеобщего праздника — свадьбы в небольшом подмосковном поселке, где жених — студент москвич, а невеста — местная, продавщица ГУМа. Преобладающий цвет лиц праздничной толпы — красно-коричневый (впрочем, и в будни у них цвет лица, благодаря неумеренному потреблению алкоголя, абсолютно такой же), а людей, ее составляющих, автор, подобно О’Генри, называет краснолицыми. Эта толпа кажется враждебной ко всякому чужаку: “Была не просто опасность — война, катастрофа, стихийное бедствие... — была опасность, настолько утонувшая в обыденной,

житейской грязи (аборт за месяц до свадьбы, откровенная шлюха, идущая под венец, уголовник отец, на людях взасос расцелованный шлюхой же матерью — и изгнанный за спиной у людей; хладнокровное избиение вчерашним сожителем сегодняшнего жениха, вообще избиение сильнейшим слабейшего; самый жених — потерявший от сладострастия и совесть, и разум, обрешивший на жестокую пытку своих стариков, ударивший в день свадьбы невесту; даже гармонист Афанасий, подаривший людям так много светлых минут (смягчивших, согревших их естество) — и брошенный за ненадобностью спать во дворе, как наскучившая детям собака), была опасность, настолько утонувшая во всей этой душевной и телесной нечистоте, что в первую очередь до тошноты уже было — противно... Самый воздух казался нечист, заражен — и хотелось единственно бегства”.

В процитированном отрывке заключены почти все сюжетные коллизии “Свадьбы”. Но только почти. Ибо в финале Бабаян трансформирует банальный сюжетный ход: “потом поймали жениха и долго били” — в истинную трагедию любви. Побитый и униженный Тузов, мечтавший лишь о том, чтобы вырваться, бежать с собственной свадьбы, в конце возвращается к грешной, но, действительно любимой, жене. Завершает повесть одна короткая, но емкая фраза: “Тузов... ехал обратно...”. И подобный ход читатель начинает подсознательно ощущать задолго до финала по некоторым мелким деталям, а главное — по резкой, взрывной реакции героя на известие об измене возлюбленной: если бы не любил, бить бы не стал. И толпа, еще секунду назад выглядевшая злой и опасной, превращается вдруг в силу, способную воссоединить двоих, порвавших, казалось бы, бесповоротно. И выясняется, что автор краснолицых-то любит, любит всех этих вечно пьяных, грубых, туповатых, но не лишенных доброго чувства, людей.

В рассказе “Сто семьдесят третий” толпа тоже выступает, как враждебное герою, многоликое, многоголовое общество, а

обыкновенный московский автобус превращается в подобие дантова ада. В почти детективной повести “Моя вина”, — хотя детектив этот того же рода, что и “Преступление и наказание”, — продолжена на современном материале тема ответственности человека за свои поступки.

Главный герой, электромонтер, мучается вопросом, не способствовал ли он, пусть невольно, гибели своего сменщика (хотя к финалу выясняется, что никакой его вины в этом нет). Пережитый “момент истины” заставляет переоценить всю предшествующую жизнь, по-другому взглянуть на собственное семейное благополучие, увидеть ранее не замечаемые недостатки в себе самом.

А вот в “Одиночной командировке” автор поставлен перед выбором — сообщать или нет своему начальнику, что у того в далеком уральском городе уже двадцать лет растет сын. В “Кучук-Ламбате” одиночество старушки скрашивают молодые постояльцы — мальчик и девочка, и жизнь для нее кончается, когда они однажды выбирают себе более удобное место для постоя: молодые вовсе не хотят делать больно своей доброй хозяйке, но в конечном счете лишают ее смысла существования. В рассказе “Электрон неисчерпаем” ученый — один из творцов атомной бомбы, впадает в депрессию от сознания того, что разрушительная мощь, сосредоточенная в руках человечества, растет гораздо быстрее, чем его нравственный уровень, и это, кажущееся неустрашимым, противоречие неизбежно ведет к глобальной катастрофе.

В еще одном, наряду с “Моей виной”, “детективном” рассказе, “Человек, который убил”, милиционер, убивший в целях самообороны беглеца, в финале спивается, не столько из-за осознания вины, сколько из-за той стены отчуждения, что возникла между ним и окружающими. Петровичу же, герою одноименного рассказа, обрести покой на старости лет после не слишком-то задавшейся жизни мешает гибель сына милиционера, с которым он так и не успел встретиться.

Насилие разрушительно действует на наше бытие, равно как и угроза гибели человечества в возможной войне будущего. Однако, Бабаян отнюдь не сводит нашу жизнь к отражению мировых катаклизмов и вечных философских вопросов. В его повестях и рассказах, помимо общеполитического, присутствует вполне обыденное, бытовое объяснение. Так, метания героя “Моей вины” вызваны не только несчастным случаем со сменщиком, но и, как становится ясно по ходу повествования, нарастающим отчуждением от жены. А депрессия Ивана Ильича, подобно одноименному герою Толстого, на самом деле больше вызвана тем, что его оставила жена, благополучно возвращающаяся в финале.

Персонажи Бабаяна — это главным образом интеллигенты, вступающие в контакт с неинтеллигентной средой. Даже когда главный герой — рабочий, как Николай в “Моей вине”, наделён вполне интеллигентской рефлексией. Кстати сказать, именно ему принадлежит оригинальная оценка Григория Мелехова, в чем-то близкая авторской: “Гришка из “Тихого Дона”... — вообще дебильный какой-то. Когда по школьной программе читал, половину его поступков не понял: то он красных рубит, то белых, то любит Аксинью, то наплевать на нее... похож на Витьку из лакокрасочного, так тот на учете”.

Разумеется, Бабаян не вполне разделяет такой “народный взгляд” на шолоховского героя, но явно не приемлет жестокости Григория. Интеллигенция и народ у писателя — два соприкасающихся мира, очень разных по многим пунктам, кроме одного — морального. Нравственного превосходства Бабаян не находит ни у кого, не идеализирует ни более близких себе образованных граждан, ни пролетариев, ни подмосковных сельских жителей. Все равно добродетельны и греховны. Любовь и искусство могут дарить людям светлые минуты, но редко могут изменить человеческую натуру.

Для Бабаяна характерны длинные толстовские периоды, осложненные еще неведомым автору “Войны и мира” потоком

сознания. Это обстоятельство роднит Бабаяна с Фолкнером. Его язык чрезвычайно метафоричен, чем отличается от куда более экономного языка большинства современных писателей. Бабаян — мастер пейзажных описаний, одухотворенных и осмысленных.

Вот только один пример из “Господ офицеров”: “Все было тихо — вечерняя тишина прозрачно шуршала засыпающими шорохами. Большая ленивая рыба медленно, раз за разом плескала по застывшей воде хвостом. На окутанных молочным туманом берегах неуверенно воркотали еще не спевшиеся лягушки. Водяной бык угрожающе заревел вдалеке — и все испуганно смолкло...” Не говорю уже о мастерстве в воссоздании конных сабельных схваток и вообще всякой профессиональной деятельности людей. Создается полная иллюзия, что автору довелось быть и офицером-кавалеристом, и ученым физиком, и рабочим электриком — столь достоверно он пишет обо всем.

Бабаян привержен реалистической манере письма. Его проза очень целомудренна, почти лишена столь распространенных в модернистской и постмодернистской литературе (да и в массовой реалистической продукции) эротических описаний и ненормативной лексики. Отказываясь от этих сильнодействующих средств возбуждения читательского интереса, автор “Господ офицеров” и “Свадьбы” сосредотачивается на “последних вопросах” философии истории и человеческого бытия. Бабаян доходит до предела в раскрытии тем и проблем, поставленных классической реалистической литературой, своим творчеством доказывая, что на этом пути еще возможны выдающиеся художественные достижения. Только время покажет, станет ли он завершителем традиции, последним реалистом в русской литературе, реалистом, уже использующим модернистские средства, вроде потока сознания или избыточного, по сравнению с живым разговорным языком, метафоризма, но остающимся в то же время на позициях реалистического мировосприятия.

Совсем недавно в 92-м номере журнала “Континент” опубликована новая повесть Бабаяна “Мамаево побоище”. Писатель по-своему взглянул на Куликовскую битву, традиционно считавшуюся в русской историографии и художественной литературе величайшей победой, на столетия вперед определившей ход истории Руси-России.

Бабаян же убежден совсем в ином: “Говорить о каком-то значении Куликовской битвы в деле освобождения русских земель... не приходится: иго продержалось еще сто лет. Методология, по которой событие столетней давности признается решающим для наступления нынешнего, недоступна здравому смыслу. Конечно, если признавать объективность и детерминистскую однозначность причинно-следственных связей, то ”стояние на реке Угре”, действительно, с необходимостью вытекало из Мамаева побоища, но с таким же успехом и значимостью можно сказать, что оно вытекало из Батыева нашествия; если же не абсолютизировать причинно-следственных связей (например, признавая их вероятный характер или свободу человеческой воли), то вообще не о чем говорить. Во всяком случае, Русь освободилась от татарской зависимости не потому, что была выиграна Куликовская или какая иная битва... а потому, что в силу многосложного комплекса взаимосвязанных географических, этнологических, экономических, социальных, духовных и прочих причин Русь к концу XV века стала во всех значимых отношениях сильнее Орды”.

Куликовская битва, не без основания считает писатель, только укрепила Орду, сплотив все ее силы под знаменами Тохтамыша, вызвав последующее сожжение Москвы и разорение русской земли ратью нового хана. По мнению Бабаяна: “Военные столкновения на достаточно протяженном отрезке времени вообще ничего не решают; к определенному соотношению сил (одно государство сильнее или слабее другого) приводят не куликовские битвы — соотношение это уже задано перед войной и определено предшествующей жизнью народов”.

Отсюда следует вывод о бессмысленности по большому счету всех войн и битв на земле — справедливых и несправедливых, если брать марксистскую терминологию; оборонительных и превентивных, если использовать терминологию немарксистскую. Кровавой бессмыслицей показано в повести и сражение, приключившееся на Куликовом поле. Это, прежде всего, — трагедия простого народа, смердов, чьими жизнями и была куплена княжеская победа над татарами. Трагедия главных героев, горячо любящих друг друга Ивана и Олеси, трагедия тысяч и тысяч вдов и сирот. Недаром один князь после битвы говорит другому: “Ништо, братка, Бог спас. Зри: се лежит смерд, се — татарин, а дружина наша цела...”

Бабаян писал про Мамаево побоище, а видел перед глазами последнюю войну в Чечне, столь же безумную и кровавую. И ощутимой становится вечная трагедия “маленького человека”, вынужденного жертвовать здоровьем и жизнью по принуждению князей, царей или президентов. Бабаян обильно оснащает текст старинными и редкими диалектными словами, создающими необходимый “древний” колорит (они вынесены в отдельный толковый словарь). Но по своему строению авторская речь, да и речь персонажей вполне понятна современному читателю, отвечает сегодняшним грамматическим нормам.

И у нас создается впечатление, что все люди в повести — наши современники, что их беды и радости — это наши беды и радости, что воюют они не с мусульманами-татарами, а с мусульманами-чеченцами, что война идет не с ханом Мамаем, а с генералом Дудаевым, что мы все только что пережили то же самое, что Иван и его товарищи.

Сила Бабаяна — в соединении эпического повествования с российской повседневностью. Дай Бог, чтобы довелось ему написать еще и роман-эпопею о современной России, да такой, чтобы охватывал несколько десятилетий, и читался как самое злободневное произведение.

КНИЖНОЕ ОБОЗРЕНИЕ

Елена Дубровина

“Грусть мира поручена стихам...”*

Произведения многих поэтов, являясь формально произведениями поэтическими, по своему творческому воплощению часто к настоящему искусству не причастны. Есть стихи — призраки, почти незамеченные и неосязаемые, не оставляющие следа ни на бумаге, ни в сердце читателя. Чем же отличаются они от тех, которые мы ставим в раздел настоящей поэзии?

Наверно, прежде всего — талантом. Талантом, овеянным вдохновением. Только тогда, когда человек находится в состоянии, выходящим за рамки обыденных переживаний, он получает как бы толчок, творческий заряд, необходимость “выплеснуться”, уйти от обыденного в “исключительное” состояние, как бы вознестись над “поверхностью бытия” в “небытие”, в духовное. И на этом пике возвышения мысли и чувства происходит творчество, рождаются настоящие стихи:

*...Во всей своей лучезарности,
Во всем своем откровении
Родится стихотворение.*

Так пишет о своем творчестве Марина Гарбер.

У поэта отсутствует сознательное стремление к оригинальности и сложности, порой исключаящее или подменяющее высокое, вдохновенное поэтическое чувство. Рукой водит не только разум, но и максимальная творческая эмоция, основан-

* Гарбер, Марина. “Дом Дождя”. Стихи. Филадельфия. Изд-во Побережье, 1996, 130 с.

ная на интуитивном чувстве поэзии. Вот что пишет она опять о рождении стиха:

*На ощупь, как идут слепые,
Он поднимается из тьмы..
Когда все зрители седьмые
Уже досматривают сны*

Настоящие стихи, рожденные поэтическим мастерством, несут в себе элемент мистицизма, поэтической интуиции, которая является частью вдохновения. Марина Гарбер умеет удержаться в рамках поэтической формы и донести до конца стихотворения первоначальную мысль, не расплескав ее, а усилив в последних строках. Ее поэзия — это результат работы творческого духа, творческой интуиции.

*А за столом — опять средневековье,
Все той же темы сгорбленные плечи,
И отсекая восковою кровью,
В мои ладони оплывают свечи.
Цифр на часах горбатые кривизны
Я то рукой, то взглядом расправляю.
И если мы не доживем до жизни,
Мы дорастем до смерти, обещаю.*

Для ее творчества характерно сочетание мысли и поэтического чувства. Композитор Метнер в одной из своих статей писал, что “мысль и чувство нераздельны в искусстве, а вдохновение является как бы молнией, озаряющей и то и другое”...

*Пусть ночи уже не течь —
Испита. Листы, окурки..
Из воска застывших свеч
Уже не слепить фигурки.
Пусть тяжелеет груз,
Пусть утро лучом прорежет..
И только дыханье Муз
Меня на земле удержит.*

Гарбер серьезно относится к слову. Поэт умеет находить необходимые слова, легко пользоваться ими. Они сцеплены между собой и неразделимы по своей музыкальной фактуре, красочности и переходам, а сочетаясь, создают необычные образы — емкие и монолитные, неожиданные и многогранные:

*Как в море, свободнейшую из стихий
 Меня выплескивает в стихи.
 Где камень с камнем сложили круг —
 Цепь из цепей необнявших рук.*

И дальше:

*И Солнце дрему стряхнет в кусты
 И расстреляет из холостых, —
 Я цепь окружности разомкну,
 Незло и просто, — когда умру.*

Стихи Гарбер сплетены из сверхчувствительных тончайших поэтических нитей. Настроения — хрупки и ломки, чувства — сильны и искренни. Они как бы абстрагированы от реальности, у поэта свой лунно-звездный мир, в котором он живет со своей Музой печали:

*И я, Луна, как ты, неотделим
 От сумрака. На облачном рояле
 Ты мне сыграешь незабвенный гимн,
 А я тебе — поэзию печали.*

У каждого поэта есть свой символ: у Поплавского — снег, у Елагина и Мандельштама — звезды. Над бессонными Мариниными поэтическими ночами светят те же ледяные голубые звезды. Тогда приходит ее печальная Муза, чтобы обнять плечи, успокоить взбунтовавшиеся чувства, чтобы вместе с изломанными поэтическими строками пережить уход, отречение: “Твое отречение — мое бескрылье,/ Стальное сцепление букв: ”уход”. И дальше, находит она слова, особые, гордые, которые мы все, прошедшие в жизни через разлуки, так часто не можем найти:

*Я о тебе говорю в прошедшем:
Бросивший все, от меня ушедший,
Вернись! Чтобы меня вернуть.*

Отторжение любимого, разлука, прощание — сколько поэтов пытались сказать об этом! Марина Гарбер находит свой путь:

*Потом нам вспомнится едва ли,
Как на трясущемся перроне
Тюльпаны головы роняли
В свои зеленые ладони
И только этим красным чашам
Известно было в этот вечер,
Что после, за прощаньем нашим,
Уже не сбыться новой встрече.
Но мы не верили приметам
Уже назначенной разлуки,
Когда запекимся букетом
Мне приговор вложили в руки..
И друг за дружкою в погоне
Другие поезда чернеют,
А в окнах — в сумрачном поклоне
Тюльпаны сгорбленные рдеют.*

Поэт использует символ: букет запекшихся тюльпанов, и находит другой, как бы косвенный, подход к выражению своих чувств.

Есть такие строки в ее стихах, которые нельзя забыть. Мы видим в них неожиданные поэтические решения, идущие наперекор общепринятому:

*А если страсти просится гроза,
Боль из груди выскальзывает в руки,
То наклонись и поцелуй в глаза:
Мой знак любви — знамение разлуки.*

И тут же приходят на ум строки из стихотворения Ивана Елагина: “Из всех небесных, всех земных сокровищ/ Я только глаз твоих не целовал”.

Стихи Гарбер чаще всего бессюжетны. Это зарисовки ее внутреннего состояния “А мне от бессилия хочется плакать. / О том, что я плакать давно разучилась”. Спектр чувств у поэта направлен не в ширь, а в глубину. Ее поэзия не созерцательная, все созданные ею образы проходят через внутреннее восприятие и в то же время она, как всеподмечающий художник, наносит на полотно разноцветные мазки, из которых вырисовываются картины — Весны — “Тепла мохнатые волокна плетутся в дерзкой вышине”, Осени — “И вчера где-то осень упала в овраге, / Словно зверь, укрываясь в берлоге своей”, Лета — “Окно — ладонь, а на ладони — лето”.

В стихах образы переплетаются с чувствами и, наслаиваясь, создают незабываемые картины взаимоотношений лирической героини и того мира, в котором она живет. Поэтическая наблюдательность, умение впитать в себя не только события, но и явления, их окружающие, увидеть сквозь непроницаемую оболочку ту жизнь, которая недостижима видению других, характерна для поэзии Марины Гарбер.

Стихи не затрагивают никаких внешних событий, их можно назвать “вневременными”. Темы творчества — вечны. Это переживания лирической героини, ее размышления о существовании, о человеческих отношениях, о творчестве, стихии, о любви. Рисунок стиха четок и лаконичен, женственен, эмоционален, красочен:

*Я кисть возьму из белых ворсинок
И нарисую старую мечту,
Живую связь тонов и паутинок
Отдам сырому бледному холсту.
Но кисть моя еще играет хвоей
И в ней лесная не смолкает грусть...
О, как жестоко! Я живым живое
На неживом нарисовать берусь*

В одной из статей русский философ Федор Степун писал: “Путь, пройденный Цветаевой, как поэтом, еще никем не

измерен и никем по достоинству не оценен. В будущем по нему будут изучать не только эволюцию русской поэтики и поэзию русской революции, но также и социологию парижской эмиграции”. Это был 1951 год, когда имя Марины Цветаевой было еще в забвении, а стихи ее, непонятые и непрочитанные, ждали “свой черед”.

Когда-нибудь литературоведы будут изучать и поэзию третьей эмиграции, рыться в архивах бумажных, в архивах наших чувств и биографий. Новая эмиграция богата поэтами, она разбросала их, как и первую, по разным городам мира, но русский поэтический центр, смею утверждать, в этот раз не во Франции, а в Америке.

Стихи Марины Гарбер полны накалом чувств и драматической цветаевской эмоции:

*Когда придет, травой пропахшая,
Несчастная — чтоб сердце крикнуло,
То знай, что это я, пропащая,
Из-за морей тебя окликнула.*

Невольно вспоминаются цветаевские строки с такой же накаленной эмоцией:

*О, по каким морям и городам
Тебя искать? (Незримого — незрячей).
Я проводы зверяю проводам,
Я в телеграфный столб уткнувшись — плачу.*

Поэзия Гарбер глубинна — это биография ее души — чистой, чуткой, остро переживающей и всепонимающей.

*Быть может, лучше ставить точку
На взлете, не закончив прений,
И рвать словесную цепочку
Летящих фраз в ответ и мнений.
На полушаге путь закончить,
Остановившись у порога,
Чтобы потом мечтать, пророчить,
Надеяться еще немного.*

*И полуявному предавшись,
Не зная, хорошо иль плохо,
Так умереть: не отдышавшись,
На ноте начатого вздоха.*

Стержень поэзии Гарбер — драматический накал, захватывающий каждую строку и умело соединяющий ее с последующей не только рифмой или ритмом, но и эмоциональной напряженностью:

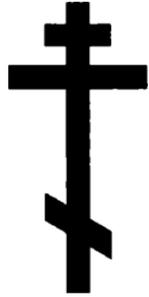
*...Может, напрасно живу-грущу,
Может, спасенье в страданьи светит?
Горе, как пулю, в себя впищу,
Чтобы привыкнуть и... не заметить.*

Георгий Адамович писал в своей книге “Комментарии”: “Какие должны быть стихи? Чтобы как аэроплан, тянулись, тянулись по земле, и вдруг взлетели... Чтобы входило, как игла, и не видно раны... и вообще, чтобы человек как будто пил горький, ледяной напиток, последний ключ, от которого уже не оторвется. Грусть мира поручена стихам. Не будем же изменниками”.

Марина Гарбер не изменила этой традиции поэтического творчества. Она еще молода, но уже достаточно сложившийся поэт со своим драматическим голосом. Подчиняясь творческой интуиции, поэт пророчит:

*Но тот, кто знал меня и помнил,
Среди бесчисленных пустот
В печатном строчечном изломе,
Узная, имя назовет.*

Филадельфия
США



Светлой памяти Агнии Ржевской

В Нью-Йорке 26 мая 1998 года скончалась Агния Сергеевна Ржевская, урожденная Шишкова. По отцовской линии Ржевская была родственницей прозаика Вячеслава Шишкова (в эмиграции она писала стихи под именем Аглаи Шишковой).

Агния Сергеевна (Ганя — для близких ее друзей) родилась 1 февраля 1923 года на Смоленщине, в старом городе Рославль, возникшем еще в первой половине XII века. В 1943 году она закончила там педагогический институт и в тот же год вышла замуж за будущего известного прозаика Леонида Денисовича Ржевского (1905–1986). Этот брак оказался самым значительным событием в жизни обоих супругов.

Анна Сергеевна обладала цельной натурой: она была однолюбом — явление не столь частое в нашем современном мире, где многое быстро забывается и нередко рвутся человеческие отношения, включая супружеские.

В самом начале войны Ржевский попал в плен; он вышел из-за колючей проволоки безнадежно больным: туберкулез легких, горловая чахотка и язва желудка. Его чудом разыскала в немецкой больнице жена, ставшая неотлучной сиделкой при умирающем муже. В то страшное время она сумела внушить ему стремление выжить. Можно считать, что Агния Сергеевна вырвала своего мужа из лап смерти. Этот ее подвиг — благодатная

тема для романиста. И он был частично описан в прозе Ржевского: “Между двух звезд”, “... Показавшему нам свет”. Образ жены в художественном преломлении можно не раз встретить в произведениях прозаика второй эмиграции — Ржевского (фамилия, которую он взял на Западе, настоящая — Суражевский).

Всю свою жизнь за рубежом Агния Сергеевна посвятила мужу: она самозабвенно любила его не только как человека, но и как писателя. До 1955 года супруги жили в Германии: под Мюнхеном и в районе Франкфурта-на-Майне. Ржевский сотрудничал с журналом “Грани”, в 1952-1955 годах был его редактором, а Агния Сергеевна некоторое время работала в конторе “Посева”. Затем они переселились в Швецию, а в 1963 эмигрировали в США. В Америке Ржевская преподавала русский язык в нескольких университетах.

В Нью-Йорке просторная, со вкусом обставленная квартира Ржевских на пятнадцатом этаже высотного здания в районе Гренич вилладж, стала своего рода литературным салоном, куда съезжались писатели и художники русского Зарубежья. Здесь гостили парижане: Адамович, Одоевцева, а позже — Владимир Максимов. Приезжали из других городов Игорь Чиннов, близкий друг Ржевских Иван Елагин, бывал Наум Коржавин... И неизменно можно было встретить Сергея Голлербаха, Владимира Шаталова, Геннадия Андреева, Петра Муравьева, Владимира Юрасова... Заезжал редактор “Нового русского слова” Андрей Седых. На этих, ныне навсегда ушедших журфиксах, обсуждались литературные новинки, авторы читали свои новые произведения и затем дружески их критиковали... И над всем этим царила (более подходящего слова и найти невозможно) необычайно умелая, всегда с одной и той же прической (под древнегреческий стиль), одетая в длинное платье, идущее ее высокой и до конца жизни стройной фигуре — гостеприимная хозяйка Агния Сергеевна. Она ненавязчиво угощала, заранее приготовленными ею разнообразными блюдами. Затем несуетливо, но быстро убиралось со стола и столиков все ненужное, уносилось в

крохотную кухоньку, где господствовал завидный порядок: все лежало на месте и было под рукой. Так же кабинет Леонида Денисовича на ночь чудодейственно быстро превращался в удобную спальню. Долгие годы интересно и весело встречали у Ржевских Новый Год близкие их друзья...

...Весь этот для нее привычный и необходимый уклад жизни нарушился, когда внезапно скончался Леонид Денисович. Смерть мужа нанесла ей страшный удар, от которого она по-настоящему никогда не оправилась. Радовало лишь то, что с ее помощью посмертно вышли две книги Ржевского: рассказы и повести “За околицей” (1987) и сборник литературоведческих статей “К вершинам творческого слова” (1990). Да, были верные друзья, не оставившие Агнию Сергеевну в одиночестве. Но любимого человека в ее жизни не стало...

В Америке Аглая Шишкова перестала писать стихи. А впервые ее имя мне встретилось в небольшом сборнике “Стихи”, изданном в Мюнхене в 1947 году (сейчас эта книжечка, в которой приняли участие девять поэтов, живших тогда в американской зоне Германии, включая Ольгу Анстей и Ивана Елагина — большая библиографическая редкость). Шишкова — автор одного поэтического сборника “Чужедаль” (1953), являющегося первым в замечательной серии “Посева” — “Русская зарубежная поэзия”. В основном свои стихи поэтесса публиковала в пятидесятых годах в “Гранях”. Ее поэзия представлена в антологиях: “На Западе” (Н.-Й., 1953), “Муза Диаспоры” (“Посев”, 1960), “Содружество” (Вашингтон, 1966), “Берега” (Филадельфия, 1962), “Вернуться в Россию стихами” (Москва, 1995).

Поэзия Аглаи Шишковой лирична, женственна и вместе с тем жизнерадостна. Это последнее отметил Юрий Большухин: “Напоследок несколько слов об Аглае Шишковой, чье слово необыкновенной свежести, как родниковая вода, бодрит и радует, смывая дорожную пыль скитаний” (“Литературное Зарубежье”, 1958, с. 354). Она нередко пользовалась простона-

родным словарем и неологизмами фольклорного происхождения. Ей удавалась любовная и пейзажная лирика. Но есть у нее много стихотворений с щемящим, ностальгическим настроением.

Самой известной была ее “Грибная баллада”, состоявшая из десяти главок. В конце баллады поэтесса рассказала:

*Про то, как с разлукой в паре,
Которую не избыть,
Чудесно в лесах Баварши
Смоленские брать грибы...*

Думается, что одно из самых удачных стихотворений — поэма “Несоловьиный край”; она всё о той же “чужедали”. Есть в ней главка, описывающая немецкое кладбище:

*...Вот позовут — и лягу в эту тишь,
И звякнет жалостно навстречу колоколец,
Когда пересечет с веселым свистом стриж
Последний путь мой от родных околиц,

Не возропшу тогда, что тишина — не та,
Смирненно буду ждать: вот дождик брызнет...
И, может быть, простит мне эта красота,
Что полюбить ее я не смогла при жизни.*

Агния Сергеевна не любила город в летнее время. Да и нью-йоркский климат, по правде сказать, не располагал к этому.

Лето она неизменно проводила на даче — в живописной избушке на берегу озера в штате Нью Хемпшир. Была там еще в прошлое лето. А затем на нее свалилось несчастье — смертельная болезнь: рак с метастазами в лимфоузлах. После сложной операции она героически выдержала почти семь месяцев химиотерапии. Несколько пала духом лишь в последние недели жизни...

Агния Сергеевна радовалась тому, что в Москве к осени 1998 года предполагался выход первой в России книги Ржевского (с помощью профессора МГУ Владимира Агеносова; он же привез ей из Москвы контракт от издательства). Недели за две

до смерти Агния Сергеевна попросила меня поехать с ней в Москву на презентацию книги. Я, конечно, согласилась.

Во вторник 26 мая ее должен был навестить Сергей Голлербах. Он пришел, как условились накануне, к двум часам, но на звонок никто не отвечал, дверь оказалась запертой изнутри. Когда ее открыли — Агния Сергеевна лежала на постели мертвая: она внезапно скончалась от сердечного приступа.

...В последний путь Агнию Сергеевну провожали близкие друзья. Своего крестника Петра Епифана она назначила душеприказчиком (его мать — Тамара Александровна, знала Ганю еще в Рославле). Прилетел из Нового Орлеана ее второй крестник — Сергей Матвеев, чем-то похожий на своего отца — Ивана Елагина. В хоре пели Мария Мичурина, в доме которой скончался (тоже от сердечного приступа) Леонид Денисович. Дочь Елагина и Анстей — Елена Матвеева, навещавшая больную и помогавшая ей во время болезни, и Марина Ледковская, редактор и составитель справочника о женщинах в русской литературе, в котором есть и статья о поэтессе Аглае Шишковой. Были — Ираида Легкая, (с ней мы, казалось бы, так недавно отметили последний день рождения Гани), верный друг Сергей Голлербах, возможно, интуитивно почувствовавший, что навестить Ганю нужно именно в этот день, Екатерина Брейтбарт, навещавшая ее каждую неделю, чета Муравьевых, в доме которых она праздновала Рождество и Пасху, и другие друзья, не оставившие ее в тяжелую минуту жизни... Обряд отпевания совершил о. Александр Федоровский, настоятель церкви Св. Серафима Саровского в Ново-Дивеевом монастыре в Спринг Валлей, штат Нью-Йорк.

...Агния Сергеевна похоронена рядом с мужем, под их общим памятником, на котором высечена строчка молитвы, словами которой он назвал свой любимый роман: “Слава Тебе, Показавшему нам свет”.

Мир праху твоему, дорогая Ганя!

Валентина Синкевич

Коротко об авторах

Гущина Дарья Германовна. Родилась в 1962 в Подмосковье. Окончила Институт культуры. Сотрудник библиографического отдела Литературного института.

Рассказ "Не путать с Доминиканской республикой" - дебют молодого прозаика.

Живет в Москве.

Дубровина Елена Михайловна (см. № 184).

Священник Дионисий Поздняев (см. № 184).

Кагановский Геннадий Григорьевич. Родился в 1937 в Москве, где проживает и в настоящее время. Окончил филологический факультет Московского государственного университета.

В течение тридцати лет работал в проектно-институте "Гипростанок" и Всесоюзном научно-исследовательском институте лекарственных растений.

В 1988 основал Международный общедоступный клуб "Третье Тысячелетие".

Автор многих повестей, рассказов, пьес, а также философских, литературно-критических и публицистических статей. Печатается с 1959.

В издательствах "Художественная литература", "Прометей", "Третье Тысячелетие" вышли несколько книг его прозы, поэзии, эссеистики.

Член Союза литераторов России.

Кандаурова - Чернышева Татьяна Андреевна. Родилась в Твери в 1929. Принадлежит к древнему дворянскому роду Кандауровых.

В 1951 окончила физико-математический факультет Тверского педагогического института. Кандидат математических наук, доцент кафедры вычислительной математики.

В "Гранях" публикуется впервые.

Киселев Игорь Андреевич. Родился в Дрездене (Германия) в 1947.

Поэт, прозаик, архитектор-реставратор.

Живет и работает в Филадельфии (США), куда эмигрировал в 1994 из Москвы.

Минутко Игорь Александрович (см. № 184).

Нуйкин Андрей Александрович (см. № 185).

Панченко Николай Васильевич. Родился в Калуге в 1924. Окончил в Москве Институт культуры и Высшие литературные курсы.

Автор одиннадцати книг. Среди них: "Остылый уголь", "Белое диво", "Горячий след", "Избранное" и другие.

Член Союза российских писателей.

В "Гранях" публикуется впервые.

Сапова Людмила Владимировна. Родилась в Москве в 1956.

Закончила Московский архитектурный институт. Архитектор-реставратор, художник.

За последние годы опубликовала ряд статей в газетах и журналах по истории и реставрации памятников культуры и архитектуры. В 1992 ею был найден дом П.Я. Чаадаева, который считался утерянным.

Синкевич Валентина Алексеевна (см. № 184).

Соколов Борис Вадимович (см. № 184).

Соложенкина Светлана Львовна. Родилась в Златоусте Челябинской области.

Первое стихотворение опубликовала в газете "Златоустовский рабочий" в четырнадцать лет. Первый поэтический сборник "Мой отчий дом" вышел в 1966.

Окончила Литературный институт.

Кандидат филологических наук. Художник-пейзажист.

Шерешевский Лазарь Вениаминович. Родился в 1926 в Киеве.

Во время службы в армии в 1944 был арестован и осужден по статье 58-10 "за антисоветскую пропаганду", сослан за Полярный круг, в Салехард, на так называемую, "стройку-501".

В год смерти "вождя народов" освобожден и до 1958 года учился на филологическом отделении историко-филологического факультета Горьковского университета.

Автор девяти стихотворных сборников. Среди них: "Дороги дальние", "Доверие", "Созвездие весов" "Предгорье", "Две зоны" и другие.

Член Союза российских писателей.

Живет в Москве.

Учредитель:
ИЗДАТЕЛЬСКИЙ ДОМ «ГРАНИ»
PUBLISHING HOUSE "GRANI"

Зарегистрирован в Московской регистрационной палате.
Свидетельство о регистрации № 069.149 от 27.11.1997 г.

Адрес редакции журнала "Грани"
для оформления подписки, писем и сообщений:
127322, Россия, Москва, ул. Милашенкова, 17-61.
Телефоны: 210—6955, 470—4139.

*Статьи, подписанные фамилией или инициалами
автора, не обязательно выражают мнение редакции.*

*Не принятые к публикации рукописи
не возвращаются.*

Корректор - Анна Лаврова
Макет Веры Согласновой

Подписано в печать 01.07.1998. Формат 84x108 1/32.

Бум. офсет. Печ. офсет. Усл. печ. л. 18.

Усл. кр.-отт. 15. Уч.-изд.л. 16. Тираж 2000 экз.

Заказ № 2413 Отпечатано с оригинал-макета в ДПК:

142040 Моск. обл., г. Домодедово, Пионерская ул., 18

**ИЗДАТЕЛЬСКИЙ ДОМ «ГРАНИ»
PUBLISHING HOUSE "GRANI"**

Журнал «Грани»:

**условия подписки для дальнего зарубежья на
следующие 2 номера (№№ 187-188)**

Америка и Австралия вкл. доставку авиапочтой	ам. \$ 50
Европа вкл. доставку наземной почтой	ам. \$ 40
Доплата за подписку через представительства	ам. \$ 10

В России:

Розничная цена "Граней" при покупке в издательстве	12 р.
Подписка на 4 номера, вкл. почтовые расходы	60 р.

ИЗДАТЕЛЬСТВО «ПОСЕВ»

POSSEV-VERLAG, V. Gorachek KG
Flurscheideweg 15, D-65936 Frankfurt a.M.
Tel.: (069) 341265. Telefax: (069) 343841
Postscheckkonto: 33461 – 608 Frm
Dresdner Bank AG BLZ 500 800 00, Kto 241275500

Ответственный издатель: М. В. Горачек
Директор московского филиала: Ю. К. Амосов
Коммерческий директор: Л. А. Мюллер
Журнал «Посев» (12 выпусков в год)

Америка и Австралия вкл. доставку авиапочтой	ам. \$ 54
Европа вкл. доставку наземной почтой	ам. \$ 47
Доплата за подписку через представительства	ам. \$ 7

Деньги посылать чеком по вышеуказанному почтовому адресу или
дежечным переводом на один из указанных счетов

Торговые представительства издательства «Посев»

АВСТРАЛИЯ S. Sesin, Unification Bookstore

43 Croydon Rd., Surrey Hills, Vic., 3127

БЕЛЬГИЯ B. P. 1094 — Bruxelles 1

ВЕНГРИЯ Bartok Bella, ut. 16. 1. em. H-1111 Budapest

Tel.: (361) 186—2527

США G. Valk, 501 5th Ave. #1612, New York

N.Y. 10017

ШВЕЙЦАРИЯ G. Bruderer, Möslweg 40, CH-3098 Könitz

В России:

Розничная цена "Посева" при покупке в издательстве 3 р.

Прямая подписка в московском филиале издательства на
I полугодие 1998 г. 24 р.

ЖУРНАЛ «ПОСЕВ»

* * *

«Посев» — общественно-политический журнал, выходящий с 1945 года. До 1990 года «Посев» выходил за рубежом и был органом свободной российской оппозиции, трибуной свободного слова из России. Теперь журнал выходит в самой России, следуя своим прежним принципам участия во внутрироссийской политической борьбе за право, свободу и справедливость. Эта задача определяет направленность журнала, который:

- отражает положительные ценности исторической России и 75-летнего сопротивления коммунизму;

- стоит на позициях национально-государственных интересов России;

- участвует в обсуждении современных и будущих проблем российского государства (политических, экономических, социальных, идейных, духовных);

- стремится к выявлению в России конструктивных сил, осознающих необходимость оздоровительных перемен во всех областях жизни страны и готовых к активному участию в их проведении.

* * *

Со II полугодия 1997 г. журнал «Посев» выходит 12 раз в год на 48 страницах.

E-mail: posev@glasnet.ru

WEB-версия журнала на <http://www.glasnet.ru/~posev/>